

# СТОЛИЦА

«16 месяцев полной изоляции на этой даче — без газет, телефона, радио и телевизора — плюс двадцать семь дней отчаянной голодовки изменили Горбачева почти неузнаваемо. Он постарел не на 16 месяцев, а на 16 лет».

(Отрывок из фантастического романа Э.Топля о судьбе арестованного Президента читайте на 5-й стр.)



№ 41-42  
1991 г. 2 руб. 60 коп.

иллюстрированный еженедельник



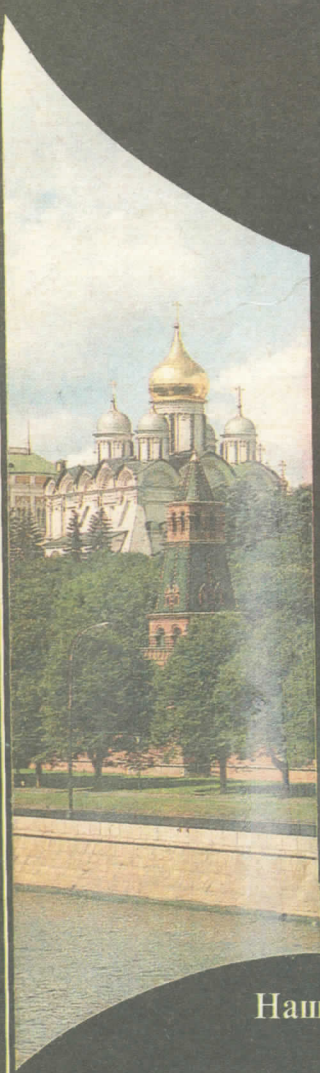
Фирма «Аквилон» предлагает

## Малогабаритный видеопроектор *Аквилон-М.*

- Аквилон-М* незаменим для видеосалонов, дворцов культуры, для просмотра вещательных телевизионных программ и видеофильмов в стандарте PAL/SEKAM.
- Аквилон-М* существенно повышает эффективность процесса обучения в школьных аудиториях, в лекционных залах, как коллективное средство отображения компьютерной информации.
- Аквилон-М* совместим по входу с компьютерами PS XT/AT в формате CGA.

Применение новых объективов позволило существенно повысить светотехнические параметры и улучшить качество изображения на экране с диагональю от 1,5 до 2,2 м.

Фирма гарантирует бесплатное обслуживание видеопроектора в течение года.



Наш адрес: 101000, Москва, ул. Мархлевского, 3, кв. 31  
Научно-производственное объединение «Аквилон»  
при Советском Фонде милосердия и здоровья.

Телефоны: 921-85-14  
921-40-28  
Факс: 292-65-11

Юрий ПОЛЯКОВ

# И СОВА КРИЧАЛА, И САМОВАР ГУДЕЛ...

**ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович** — поэт, прозаик, литературовед.

Родился в 1954 году.

Окончил МОПИ им. Н.К.Крупской, кандидат филологических наук.

Автор повестей «ЧП районного масштаба» (1985), «Работа над ошибками» (1986), «Сто дней до приказа» (1987), «Апофегей» (1990),

сборников стихов «Время прибытия» (1980),

«Разговор с другом» (1981),

«История любви» (1985),

«Личный опыт» (1987).



Фото В. Скокова

**П**редставьте себе, что вы живете на леднике, медленно и не-возвратно сползающем в пропасть. Правда, шаманы, неся какую-то диалектическую чушь, доказывают, будто родной ледник не сползает; а, наоборот, неуклонно движется вперед и выше, но аборигены-то примечают, как с каждым годом жить становится все хуже и грустнее. Они-то слышали, что где-то там, в долинах, у людей жизнь совсем другая... Но вот выдвинут новый вождь, он решительно открывает своему народу глаза на губительное сползание и призывает, уничтожив ледник, зажить, как и весь цивилизованный мир, на естественной почве, а она — старожилы еще помнят — сказочно плодородна. Итак, диалектические шаманы изгнаны,

аборигены долбят лед, а потревоженный глетчер вдруг ускоряет свое скольжение вниз. Плодородной земли пока не видно, а в ушах — свист ветра и слова вождя: «Не волнуйтесь — процесс пошел!» Остается добавить, что ошалевшие аборигены начинают яростно делить свой раскалывающийся ледник, разбиваются по кланам и родам, полагая, будто порознь падать лучше, а может, еще удастся и зацепиться...

Вот такая прозрачная аллегория. Конечно, читатель может спросить: «Выходит, по-вашему, вообще не надо было трогать ледник, занимавший шестую часть суши и лежавший, «касаясь трех великих океанов»?» Я этого не говорил и не скажу никогда, но я считаю, что, разрушив миф о плодородном леднике заодно с са-

мым ледником, не следует тут же творить новый миф — о счастье падения и распада.

Компрачкосам (я и себя считаю таковым) больно, когда им начинают выправлять изуродованные кости, возможно, даже еще больнее, чем раньше, когда их тела медленно, год за годом гнули в бараний рог. Поэтому, отважившись на такую операцию, вряд ли стоит ожидать слез восторга. Но к социальной хирургии я еще вернусь.

Когда сегодня иной выросший на кафедре марксизма-ленинизма реформатор начинает раздражаться косностью и неразворотливостью народной массы, не понимающей своих грядущих выгод, мне хочется в свою очередь спросить: «А что же, вы не знали, в какой парадоксаль-

Общественно-политический  
иллюстрированный  
еженедельник

Москва, 101425, ГСП, К-51,  
Петровка, 22  
Телефон: 928-23-49  
Телекс: 413739  
Телефакс: 921-29-85

Главный редактор  
Андрей МАЛЬГИН

**Редакционная коллегия:**  
Вячеслав БАСКОВ  
Юрий БЫЧКОВ  
Владимир ВОЙНОВИЧ  
Валерий ВЫЖУТОВИЧ  
Илья ЗАСЛАВСКИЙ  
Марк ЗАХАРОВ  
Александр МИНКИН  
Аркадий МУРАШЕВ  
Анатолий ОСТРОУХОВ  
(ответственный секретарь)  
Владимир ПЕТРОВ  
(главный художник)  
Михаил ПОЗДНЯЕВ  
Александр ПОЛЯКОВ  
Анатолий РУБИНОВ  
Петр СМИРНОВ  
(зам. главного редактора)  
Сергей СТАНКЕВИЧ  
Галина СТАРОВОЙТОВА  
Владислав СТАРЧЕВСКИЙ  
(зам. главного редактора)  
Татьяна ТОЛСТАЯ  
Владимир ЦВЕТОВ  
Владимир ЦЫБУЛЬСКИЙ  
(зам. главного редактора)  
Владислав ЯНКУЛИН

Учредитель: Моссовет

Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.  
При перепечатке ссылка на "Столицу" обязательна.  
Редакция в переписку не вступает.

С предложениями о размещении рекламы звоните по телефону: 928-83-40

Эксклюзивный рекламный представитель за рубежом: Esonews, Швейцария.

Подписку за рубежом осуществляет агентство Esonews: box 535 Lausanne 1001 Switzerland.

Fax: 41.21-311.45.11  
Tel.: 41.21-311.45.05

Номер набран и сверстан в фотонаборном центре еженедельника «Столица» на системе «Скантекст-2000», поставленной фирмой «Аутопан» (ФРГ)

Номер подписан в печать 21.10.1991

Тираж 150000. Цена 2 р. 60 к.  
(для подписчиков 1991 — 1 р. 90 к.)

© "Столица", 1991

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Государственной ассоциации предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ»

142300, г. Чехов Московской области. Зак. 1676

Говорят, что литературные журналы погибли: их не читают, перестали выписывать, оставшиеся в живых на полгода опаздывают к читателю, а на страницах их, увы, уже не появляется современной хорошей литературы. Возможно, это и так. И все же мы рискнули выпустить именно литературный журнал. Этот, сдвоенный, номер «Столицы» почти

## ЧИТАЙТЕ В СПЕЦВЫПУСКЕ:

АКЦЕНТ  
1

Писатель Юрий ПОЛЯКОВ: «...есть секреты, которые большие политики не выдают даже на смертном одре и даже в мемуарах. Именно поэтому они — большие, а не сидят в общих камерах одетые во все казенное...»

БЕСТСЕЛЛЕР  
5

Эдуард ТОПОЛЬ  
«Завтра в России»



СИЛУЭТ  
11

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ: «Относительная для русского романа эстетическая новизна «Эдички» глухо игнорировалась его оппонентами, потрясенными моральным обликом Лимонова».

ПОЧТИ ФАНТАСТИКА  
15

«Из «настоящих денег» у него оставалось четыре доллара пятнадцать центов. На «бурбон» должно хватить, а в публичном доме — если выбрать поскромнее — и рубли возьмут. Колька поискал глазами и сразу же нашел павильончик с надписью русскими буквами: «Спиритс».  
(Виталий Бабенко. NEW-МОСКВА)

ПОЗИЦИЯ  
19

Представитель издательства «Посев» в Москве писатель Владимир БАТШЕВ: «Я никогда не любил ни советских писателей, ни советских людей».



Заведующий отделом оформления  
Виктор РЕЗНИКОВ

Директор издательства  
Борис РАБКИН

целиком посвящен литературе. Конечно, мы не забыли о своей специфике, и большинство публикуемых на наших страницах произведений в той или иной степени связано с политикой. Затрагиваем мы и проблемы экономики книжного дела, а также не можем обойти вниманием дела литературного министерства — Союза писателей.

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ  
78



«После третьего круга мы были уже как братик с сестричкой. Кокаин медленно вел нас по своим укромным дорожкам. «Уэт видео», — смеялась она, и поучился каламбур: толстуха-аспирантка оседлала моего Андрюшу, и пот с нее так и лил — в три ручья. «Она в первый раз со мной работает», — заметила моя сестричка, кивая на постель».  
(Николай Климонтович. «Такой Флориды вы не знаете»)

ВЗГЛЯД  
24

Литературный критик Наталья ИВАНОВА: «...на Союзе советских писателей лежит самый страшный грех: отравление сознания людей, коллективное создание идеологических «бомб», культивирование классовой ненависти и яростной враждебности ко всему «инакому».

НЕЗАБЫВАЕМОЕ  
104

ЗЕРКАЛО  
36

Рецензия Василия АКСЕНОВА на книгу Мартина Гилберта «Щаранский».



Елена БОННЭР вспоминает: «Мальчиков звали — правого Сева Багрицкий, левого — Гога Рогачевский, а заднего — Рафка Френкель... Во втором и третьем классе ни с кем, кроме этих трех мальчиков, я почти не общалась».



ВПЕРВЫЕ  
42

«Ремень» — неопубликованный рассказ Юлия ДАНИЭЛЯ, найденный в уголовном деле «изменника Родины».



АРХИВ  
119

МИФЫ  
44

Лев АННИНСКИЙ в защиту Николая Островского: «Коммунизм неизмеримо старше и сталинизма, и большевизма; коммунизм всегда есть всегдашняя мечта человечества».



«Его сердце было крохотным и совсем дряблым» — версия Александра ДЮМА (отца) о гибели императора Петра III.



ПЕРЕПИСКА  
51

«Милостивая государыня, Раиса Максимовна, обращаюсь к вам исключительно как к ближайшему агенту влияния на человека, который может оказать дружескую услугу соотечественнику...» — из письма русского эмигранта жене Президента.  
(Юз Алешковский. «Непонятная»)

ПОДОПЛЕКА  
67

Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ: «В канун нового, 1991 года четырнадцать сотрудников журнала «Огонек» демонстративно заявили о своем уходе с работы».



Над номером работали:

П.Смирнов,  
А.Остроухов,  
И.Мельникова,  
Р.Катеева

ной стране начинаете реформы? Вы что же, Бердяева или Чехова не читали?» «Вишневы сад», например:

ФИРС: Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

ГАЕВ: Перед каким несчастьем?

ФИРС: Перед волей.

Вот и спор тут с почвенниками про наш особый путь, если мы умудрились предложить миру даже свой особенный вид военного путча, являющегося составной частью демократического процесса: черные начинают и сразу проигрывают.

Вспомните, весь минувший год о предстоящем перевороте кругом говорили с той усталой уверенностью, с какой обычно говорят о недалеком очередном ртгуске. Перебирались имена предполагаемых диктаторов, предугадывались сроки, спорили: отменит хунта талоны на водку или, наоборот, введет сухой закон... А слово «ОМОН» стало означать в русском языке примерно то же самое, что «OMEN» в английском. К этому настолько привыкли, что, когда министр иностранных дел отошел от дел, ссылаясь на грядущий путч, многие отнеслись, к его словам, как к не очень удачной шутке, с которой один из гостей покидает поднадоевшее застолье.

При всем моем скорбном сочувствии к участи трех погибших парней не могу не заметить, что и Великая Октябрьская социалистическая революция, и Великая Августовская капиталистическая революция имеют одну общую черту: они почти бескровны. Как известно, во время штурма Зимнего поруганных дам из женского батальона было чуть ли не больше, чем убитых штурмовиков. А бескровность — верный признак того, что интересы людей пока еще не столкнулись по-настоящему. Предприниматель, несущий на баррикаду мешок денег, и владелец кооперативного кафе, доставляющий туда же бутерброды, пока еще не воспринимаются обывателями как классовые противники, да простится мне этот «застоиизм», от которого мы, впрочем, никуда не денемся, ведь вместо бесклассового общества будем строить классовое. Я не подстрекаю, я-то как раз отчетливо сознаю: история доказала, что эксплуатация человека человеком эффективнее, нежели эксплуатация человека государством. Но, возвращаясь в лоно цивилизации, хорошо бы предвидеть, что малоимущие, ненавидевшие партократов, вряд ли, как родных, полюбят тот новый слой общества, который в старину называли — скоробогатыми. Маркс тут ни при чем, это — психология.

Я вообще полагаю, что социализм и капитализм — это не столько экономические системы, сколько типы

мироотношения, гнездящиеся в глубинах человеческого подсознания. На Западе я встречал немало людей с чисто социалистическим типом сознания, предпочитающих непильную — разумеется, в их понимании — службу в госекторе круговерти и надрыву частного бизнеса. «По статистике, среди бизнесменов очень высокая смертность» — так объяснил мне свое нежелание открывать собственное дело один знакомый британец. А теперь помните в уме этот подкорковый социализм на годы насильственной социализации человеческого сознания у нас в стране, и вы получите в уме то, что мы имеем наяву. Нет, я не против рынка, я просто за то, чтобы, отправляясь с сумой на рынок, заранее прикинуть, сколько там будет трудяг, сколько торговцев, сколько празднующихся, сколько карманников... Хотя бы приблизительно!

На мой взгляд, настоящая социальная драма начинается не там, где разгулявшиеся, а то и подгулявшие сограждане рвут обветшалые исторические декорации, а там, где возводятся новенькие, пахнущие свежей краской кущи и начинается распределение ролей. Лепетать «кушать подано», сами понимаете, не хочется никому. Но проблема даже не в том, что две «звезды» из основного состава повздорят из-за главных ролей, а в том, что рабочие сцены посреди спектакля вдруг выбегут на сцену и закричат: «А нам — кушать?»

И вот еще — чтоб закончить про военный путч. Сам для себя я называю его военный пуф. «Пуф», по Далю, — надувательство, нелепая выдумка. Так вот, нынче много пишут о загадочности, даже inferнальности этого события. Скажу больше: это настоящая тайна, и разгадать ее удастся, может быть, только в следующем веке, когда участники действия сойдут с политической сцены. Да, это тайна, ибо есть секреты, которые большие политики не выдают даже на смертном одре и даже в мемуарах. Именно поэтому они — большие, а не сидят в общих камерах одетые во все казенное... Секреты эти тщатся разгадать историки и журналисты по обмолвкам и обрывкам. Но помимо тайн политиков есть еще тайны истории, непонятные до конца даже самим участникам и творцам рассматриваемых событий. И здесь они — творцы — похожи чем-то на фокусника, торжественно достающего из шляпы заранее определенных туда голубей и вдруг обнаруживающего там еще и птеродактиля. А ведь он его в шляпу-то не клал, да и никто вообще не мог положить его туда...

О чем это я? Да все о том же — об ответственности: есть такое почти

выпавшее из нашей речи слово. Ныне часто и с гневным удовольствием пишут про самонадеянных, невежественных ребят, выгнанных за неуспешность из гимназий и решивших до основания разрушить не устраивавший их мир. Как говорится, дурацкое дело нехитрое: в обломках этого мира, наскоро оборудованных под жилье, мы с вами обитаем и по сей день. Ведь и перемены начинались для того, чтобы поскорей выкарабкаться из-под этих коммунальных руин. Ведь радовались, что на смену усады и бровастым сторожам этой исторической свалки пришли новые люди! Почему же сегодня, когда я — уже вплотную — смотрю по телевизору очередное прение на внеочередной сессии, я опять вижу перед собой все те же неуспешных гимназистов. Искренних и лживых, умных и глупых, но — неуспешных! Неужели, влетая в большую политику на волне людской ненависти к подлой жизни, они не понимают, какую ответственность на себя взяли?! Неужели забыли, что выбирают за слова, а убирают за дела!

Знаете, меня очень задел уход из «Огонька» В.Коротича. Не по каким-то личным соображениям я сотрудничаю с другим демократическим журналом. Коротич в данном случае для меня всего лишь символ, знак... Мне за перестройку обидно! Когда ты просто писатель, просто кустарь-одиночка, ты можешь творить и жить где угодно — хоть в Париже, хоть в Марбурге. Твое личное дело. Но если ты стал деятелем, стал одним из тех хирургов, которые вскрыли обескровленное тело большого общества, тогда разговор другой. В конце концов никто в большую политику — а от нее зависят судьбы миллионов — винтовочными прикладами не заталкивает. Оттуда — да, а туда — нет. Так что же это, извиняюсь, за хирург? Мол, вы, мужики, тут без меня дорезывайте, а мне там за СКВ работенку подбросили! Не хочется об этом, а надо: пусть лучше я скажу, чем те «силы», которыми отъезжающие родители стращают в Шереметьево-2 расшумевшихся детей. Меня это задевает еще и потому, что и я сам, смею думать, своими книжками в какой-то мере вострил тот самый скальпель, каковым сделан исторический надрез... А теперь мы стоим над разверстой плотью в недоумении и готовы, как в том анекдоте, замахать руками и закричать: «Ничего не получается, ничего не получается!» И больше всего на свете я боюсь, что какой-нибудь сегодняшней Фирс — миллионы фирсов — скажет:

— Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел...

О злключениях с публикацией этого романа его автор Э.Тополь писал на страницах «Московских новостей» и «Независимой газеты». Досадная суть их в том, что роман, написанный в 1986—1988 гг. и содержащий поразительное предвидение событий минувшего августа, до переворота к широкому читателю не попал (было

выпущено лишь несколько сотен экземпляров). Но, думается, читать его весьма любопытно и сейчас. Хотя бы потому, что интересно сравнить версию писателя с тем, что произошло на самом деле. Предлагаем вам два фрагмента из романа, который будет напечатан в декабре издательством «Информкультура».

Эдуард ТОПОЛЬ

# «Завтра в России»

20 августа 199... года,  
Москва, речной канал имени Москвы.  
10.15 утра по московскому времени.

Сопровождаемый десятками празднично украшенных парусных яхт и лодок, огромный речной лайнер «Кутузов» медленно двигался на север по каналу имени Москвы, вдоль берегов, испещренных алыми флагами, плакатами и портретами Горбачева.

Восьмиметровые японские телевизоры, установленные на всех трех палубах «Кутузова», показывали демонстрацию трудящихся в Москве. Люди несли увитые красными лентами портреты Горбачева, плакаты с надписями «Крепкого здоровья!», «Долой батурицев!», «Живи сто лет!» и — рекламу своих больших и малых бизнесов. «Автосервис» за тебя, Сергеич! «Автосервис» катил на открытом «КРАЗЕ» гигантский портрет Горбачева, а сквозь музыку эстрадных и духовых оркестров пробивалась восторженная скороговорка телевизионных комментаторов:

— Это шагают победители перестройки! Личная инициатива, высокоэффективный и квалифицированный труд доказали, что при отсутствии вульгарной уравниловки...

Палубы «Кутузова» тоже пестрели разноцветными лентами и шарами, а, кроме того, здесь было все, что сопутствует праздничному пикнику на лоне природы: в тени парусиновых тентов стояли столы с легкой закуской и напитками; на эстрадах играли небольшие оркестры; официанты разносили по палубам мороженое и шампанское.

Среди танцующих, загорающих, плавающих, играющих в теннис и просто шляющихся без дела гостей, среди этих 45—50—55-летних ученых-экономистов, социологов, крупных журналистов, писателей и технических гениев, которые и были главной опорой Горбачева в его экономической революции, — то там, то здесь возникала фигурка хозяйки пикника Раисы Горбачевой. Со стороны могло показаться, что она — в простеньком цветном сарафанчике, с короткой прической под соломенной шляпкой и в босоножках на невысоком каблучке — лишь порхает по палубам, собирая комплименты: «Раиса Максимовна, вы потрясающе выглядите!», «Раиса, вам не дашь больше сорока, клянусь!», «Слушайте, а вы слу-

чайно не дочка Раисы Горбачевой?» и так далее... И действительно, трудно было представить, что этой подвижной, с косыми татарскими скулами и круглым свежим личиком женщине — почти шестьдесят, что она бабушка и доктор философских наук и что десятков пять, если не больше, присутствующих здесь докторов наук обязаны своей карьерой именно ей и даже называют себя ее учениками...

Раиса шла меж гостей, шутила, делала ответные комплименты и медленно, не спеша прокладывала себе путь с нижней палубы наверх, к капитанскому мостику «Кутузова». И хотя на лице ее постоянно была мягкая полурастерянная улыбка хозяйки, озабоченной хлопотами пикника, ее глаза и острая женская интуиция регистрировали массу интересных деталей. Вот Даша, жена знаменитого писателя Вадима Юртова, бросила быстрый косой взгляд на генерала Митрохина, который не то флиртует, не то просто любезничает с молодой русской подружкой американского доктора Майкла Доввея. Сам Юртов — толстенький, седой, с похотливыми губками бантиком — был почти вдвое старше и ровно на столько же ниже ростом своей голубоглазой и уже слегка переспелой русской красотки Даши и сидел сейчас в шезлонге со стаканом водки, непривычно хмурился и явно пикировался с академиками Аганбегяном и Заславской.

Трудно сказать, каким образом — в силу ли таланта или благодаря своему еврейскому чутью — этому Вадиму Юртову (Гуревичу) всегда удавалось в своих романах, пьесах и фильмах о Ленине предвосхитить и устами Ленина оправдать очередной крутой поворот политики Кремля...

— Дашенька, что мы сейчас едим? — спросила Раиса у жены Юртова.

— «Стелло» на еврейский манер, — хмуро сказал вместо жены сам Юртов. — Маленький еврей Стеллович убивает генерала КГБ Ягова за то, что тот отверг приставания Дездемоны.

— Однако! — улыбнулась Раиса. — Тут у вас прямо страсти! Может быть, остудить шампанским?

— Ничего! — отмахнулась Даша. — В последнем акте суд приговорит выслать Стелловича в сибирский концлагерь, и Дездемона, хотя и гойка, добровольно поедет за ним.

— Именно в этом ее коварство! — тут же сказал Юртов.

В его тоне была какая-то пьяная остервенелость. — Отеллович совершил убийство, чтобы хоть в лагере спастись от жены. А она...

— Да ну вас! — сказала Раиса и, запомнив, что ей нужно вернуться к Юртову, подошла к Зиновию Горному. Сын американских коммунистов-идеалистов, Зиновий Горный родился в Сан-Франциско, но во время маккартизма его родители бежали в СССР и прямо с парохода попали в сибирский лагерь — теперь уже как американские шпионы. В лагере юный Горный не только выучил русский язык, но и прошел среди зеков-уголовников хорошую школу на выживаемость. Поэтому в 57-м, когда семью Горных выпустили из лагеря и даже реабилитировали, он тут же вступил в партию, окончил университет и пристроился диктором на Московском Международном радио, в отделе вещания на США. Там работала маленькая теплая компания преферансистов, которые официально именовали себя «американистами». Они хорошо знали, что в США их слушают ровным счетом полтора идиота и еще два цензора просматривают их «скрипты» здесь, в Москве, перед выходом в эфир. Поэтому они, не стесняясь, по восемь часов в день гнали в эфир любую муть, бегло переведенную из «Правды», а затем шли в пивной бар Дома журналистов или к кому-нибудь на квартиру, чтобы под голоса своих конкурентов — «Би-Би-Си», «Свободной Европы» и «Голоса Америки» — завершить ночь за преферансом. Конечно, то была не жизнь, а сплошное прозябание в одном и том же, годами несменяемом пиджаке и пузырящихся на коленях брю-

ках. И вдруг — «гласность», «телемость», «найт-лайн». Международному отделу ЦК, МИДу и Центральному телевидению срочно понадобились десятки людей, способных по-английски продавать Западу новый «имидж» Кремля. На одно из таких шоу Горный попал переводчиком и — тут-то и наступил его звездный час. Еще бы — натуральный американец в роли советского комментатора! Даже калифорнийский акцент заработал на Горного, он придавал его самым твердокоммунистическим тирадам какой-то особый флер. А главное, в отличие от всех остальных русских, которые во время интервью внутренне принимали борцовскую стойку и каждый вопрос встречали как выпущенную по их Родине ракету, — в отличие от них Зиновий Горный, даже «засаживая сплошное фуфло», вел себя перед телекамерой с американской свободой и очень скоро стал главным толкачом горбачевского детанта на американском телерынке.

— Однажды на моей лекции в Бостоне кто-то из зрителей сказал: «Я поверю в то, что у вас наступила свобода слова, только если Горбачев проведет теледиспут с Солженицыным или с Буковским».

— Что же вы ответили, Зиновий? — спросила Раиса. Горный пожал плечами:

— Вы же знаете, Раиса Максимовна, я человек горячий. Я ему сказал, что мне, в принципе, плевать, во что он верит в своем Бостоне. Потому что наша жизнь — это не шоу для западных зрителей. А что касается Солженицына или Буковского, то, если им так уж хочется погово-



Рис. К. Рыбалко



речь с Горбачевым, они могут приехать в Москву и записаться к нему на прием. Я, сказал я, попрошу секретаршу Горбачева «ту сквиз»... как это по-русски?.. вдавить, просунуть их без очереди...

Все засмеялись.

Раиса вернулась к Юртову, словно что-то вспомнив. Этот Горный может часами держать внимание публики, такие трепачи как раз и нужны на пикниках, и за эту часть палубы можно быть спокойной. За исключением Юртова... Она взяла Юртова под руку и отвела в сторону.

— Вадим, я никогда не видела вас с водкой. Что случилось? — теперь она крепко держала Юртова под руку и одновременно раскланялась с проходившим мимо теледиктором Кирилловым.

Юртов снял очки, потер красные веки и вдруг посмотрел на нее своими близорукими глазами, которые она никогда не видела вот так, без очков. От этого они вдруг показались ей маленькими и беспомощными.

— Я хочу в эмиграцию, Раиса...

— Что-о-о?! — она заставила себя улыбнуться, хотя тон, каким Юртов это сказал, был совершенно нешутливый. И даже в том, что он впервые за все годы их знакомства назвал ее не по имени-отчеству, а просто Раисой, тоже было что-то тревожное. — Вы что — ревнуете Дашу?

— Если бы!.. — проговорил он с тоской, глядя на гигантский телевизор. И вдруг повернулся к Горбачевой: — Мне страшно, Раиса. Мне кажется... мы проваливаемся сквозь лед, сквозь стекло... Кто придумал эту мудацкую демонстрацию?

— Вадим, как вы выражаетесь?! — разозлилась она. В конце концов даже его слава не дает ему права хамить ей, Горбачевой!

— Я выражаюсь как писатель, который знает историю. Этот марш победителей перестройки видит сейчас вся страна. Но это не значит, что все счастливы так, как орут эти мудаки-комментаторы! Журналисты всегда выдают желаемое за действительное. Как вы думаете, что чувствуют работяги какого-нибудь захолустного завода при виде этой королевы в бриллиантовых клипсах? — Юртов пьяно мотнул бокалом на телевизор, где как раз в этот момент операторы крупным планом показали какую-то веселую частницу с золотой цепью на шее и сверкающими клипсами. «Корова» несла в руках огромный плакат с рекламой своего «бизнеса» — туристического агентства «Гласность».

— Анечка! — позвала Раиса маленькую пшеничную Ермолу и сказала ей, когда та подошла: — Ничего, что я вас назвала Анечкой? Помогите мне, как женщина. Отведите нашего знаменитого писателя Юртова в плавательный бассейн и хорошенько макните. А то он уже стекло от бриллиантов не отличает! С головой макните, ладно?..

Будет хороший фитиль Кольцову, если Юртов закадрит эту пшеничную Ермолу, усмехалась про себя Раиса, проходя по верхней палубе мимо огромного телевизора. Здесь, перед экраном, сидели в шезлонгах только трое — главный редактор «Правды» Матвей Розов, первый секретарь Московского горкома партии Алексей Зотов и инициатор сегодняшней всенародной демонстрации Роман Стриж. Все трое напряженно смотрели демонстрацию трудящихся на Красной площади. Два часа назад в Кремлевской больнице, среди встречавших Горбачева друзей и членов Правительства, этот свердловский Стриж с букетом цветов, зажатым в тяжелом кулаке, стоял топорно, как пень. Почему-то его большой красный кулак с цветами уже тогда бросился Раисе в глаза. Сибиряк, провинциал, подумала она там, даже цветы держать не умеет... Теперь кулак Стрижа с крепко зажатым в нем бокалом виски снова обратили на себя внимание Раисы Горбачевой. И вообще в лицах всей этой троицы — Розова, Зотова и Стрижа — было такое же странное напряжение, как в кулаке Стрижа, сжавшем высокую хрустальную ножку бокала...

«Тоже переживают, чтобы все прошло хорошо...» — с благодарностью подумала Раиса и с этой простой мыслью поднялась по крутой лесенке на капитанский мостик, открыла дверцу ходовой рубки.

У штурвала стоял рулевой в белоснежной, отлично отутюженной форме. Рядом с ним на высоком табурете сидел молодой, сорокалетний, в парадной форме капитан, а дальше, у противоположной двери, полулежал в кресле Михаил Сергеевич Горбачев. Перед ним стоял переносной портативный пульт телесвязи. По небольшому экрану безмолвно, с выключенным звуком, шли колонны московских демонстрантов, а чуть выше этого телевизора за окном ходовой рубки открывался роскошный вид — зеленые леса Подмоскovie, высокое солнечное небо и голубая гладь канала, по которому, не отставая от «Кутузова», двигались несколько праздничных парусных яхт...

Но Горбачев, казалось, не видел ни демонстрации в честь его выздоровления, ни красот Подмоскovie — с закрытыми глазами он лежал, откинувшись к спинке кресла. Какое-то неясное, но занозливое не то покалывание, не то потягивание в левой стороне груди, как при слабом неврозе, томило его все это утро.

Войдя в ходовую рубку, Раиса улыбнулась вскочившему со стула капитану и спросила его одними губами:

— Спит?

Капитан кивнул. Чтобы не будить Горбачева, он отдавал распоряжения рулевому короткими жестами, ладонью показывая изменение курса. Рулевой отвечал на эти приказы кивком головы и молча переключал штурвал.

Мягко ступая по ковровому покрытию пола, Раиса подошла к мужу, кивнула дежурившему в трех шагах от него телохранителю и поправила край пледа, упавший с ног Горбачева.

— Это ты? — негромко спросил Горбачев, не открывая глаз.

— Да. Как ты? — она положила ладонь на его руку, лежащую на ручке кресла.

— Хорошо, — произнес он, не желая тревожить ее жалобой на свою легкую невралгию и, главное, не желая, чтобы она вызывала врача. Эта докторская суета только нарушила бы то состояние успокоения, которое пришло к нему теперь, на отдыхе.

— Ну, слава Богу... — она погладила его руку. Пожалуй, никто, кроме нее, не знал в полной мере, чего стоили ему эти годы.

Теперь он мог позволить себе отдохнуть. Он мог позволить себе сидеть вот так, расслабившись, дав отдых каждой нервной клетке и каждому мускулу, закрыв глаза и почти физически ощущая, как эта серо-голубая волжская вода медленно, но уже и неотвратимо несет его прямо в Историю, ставит там вровень с Александром Невским, Петром Первым и Владимиром Лениным. То, что Ленин только начал, он, Горбачев, развивает и строит.

И лишь на самом краю сознания его интуиция, обостренная годами внутрипартийной борьбы, ощущала как-то неясное беспокойство, схожее с покалывающей левой плечо невралгией. Если это произошло, если он и вправду стал вождем России — не на газетных страницах, как Сталин, а в душе народа, — то не переиграл ли он, не переборщил ли, одоблив несколько мелких акций против партийного аппарата — акций, которые должны произойти сегодня кое-где в провинции в ходе демонстрации. Пожалуй, эти акции излишни, ведь при одном виде **такой** демонстрации и так все ясно...

— Ты не знаешь, почему они все время показывают только Москву? — негромко спросил Горбачев у Раисы и открыл глаза.

Раиса почему-то вспомнила Зотова, Розова и Стрижа, напряженно смотревших московскую демонстрацию на огромном экране внизу, на палубе.

— Позвонить на телевидение? — спросила она.

Горбачев не шелохнулся, он размышлял. Митрохин сказал, что блокирует телепередачи из тех нескольких

городов, где будут «эксцессы». Но если нет телерепортажей ниоткуда, кроме Москвы, значит... Господи, неужели стоило только задремать и расслабиться на пару часов, как...

Оборвав свои мысли, Горбачев протянул руку к портативному пульту связи, набрал на клавиатуре буквы «ТТЦЮ». Диспетчерский зал Телевизионного Технического Центра в Останкино возник на экране. В зале — просторной комнате, одна стена которой представляла собой Главный телепульт с пятью десятками телевизоров, а вторая стеклянным окном-проемом стыковалась с редакцией «Последних новостей», — находилось сейчас человек двести, т.е., наверное, вся смена телевидения — от дежурного режиссера до последнего техника и даже вахтера. Горбачев знал многих из них, ведь он часто выступал по телевидению прямо из Останкинской студии, а некоторых редакторов и тележурналистов сам рекомендовал сюда на работу — они были рабочими лошадками гласности и перестройки в прессе. Теперь они все тесно сидели на стульях, на столах, на подоконниках, на полу или стояли, прислонившись к стенам, и молча смотрели на пятьдесят включенных экранов Главного пульта. На их лицах был ужас, многие плакали.

Один из них — знакомый Горбачеву дежурный режиссер со странной фамилией Царицын-Польский — медленно повернулся в сторону объектива правительственной телесвязи. На его лице тоже были слезы.

— Что у вас происходит? — спросил Горбачев, поскольку малый размер экрана его портативного телевизора не позволял ему разглядеть изображения на тех пятидесяти телевизорах за головой дежурного режиссера.

Царицын-Польский смотрел в камеру правительственной телесвязи отрешенным взглядом, словно слезы мешали ему различить Горбачева.

— Это Горбачев! Что у вас происходит? — нагнулась к экрану Раиса.

Только теперь, когда она произнесла его фамилию, все двести человек повернулись к камере правительственной телесвязи и откуда-то из глубины зала прозвучал громкий, с вызовом голос:

— А то вы не знаете!!

— Что? — негромко спросил Горбачев и ощутил, как у него холодеет затылок от дурного предчувствия.

— А что в стране происходит! — крикнул кто-то из диспетчерского зала.

— Покажите, — приказал Горбачев.

Царицын-Польский шевельнул какими-то рычажками, камера правительственной связи приблизилась к Главному телепульту, и теперь Горбачевы увидели то, что видели все сотрудники телевидения, набившиеся битком в Диспетчерский зал.

В центре, на основном, или, как говорят на телевидении, «выходном», экране все так же весело шла по улице Горького гигантская московская демонстрация — люди пели, несли портреты Горбачева и лозунги «Будь здоров, Сергеич!». А на остальных экранах, под которыми светились надписи «Ленинград», «Киев», «Баку», «Ростов», «Казань», «Красноярск» и так далее, — на всех этих экранах в безмолвии отключенного звука происходило то, что когда-то, в 1956 году, происходило в Будапеште, в 1962-м — в Новочеркасске, в 1968-м — в Праге, в 1980—81-м — в Польше, а в 1989-м — в Пекине:

народ громил партийные и советские учреждения, а войска, спецчасти КГБ и милиция громили демонстрантов — поливали их водой из водометов, разгоняли танками, засыпали слезоточивыми гранатами. В Ленинграде... в Свердловске... в Харькове... в Ташкенте...

Всюду.

И сочетание этого всесоюзного погрома с радостной и безмятежной московской демонстрацией было ошеломляющим.

— Боже!.. Боже мой!.. — прошептала Раиса, глядя, как в Минске мощная струя воды армейского водомета тащит по мостовой грудного ребенка. — Миша! Останови это! Останови!..

Но он еще продолжал смотреть на экран — на людей, разбегающихся от слезоточивого газа...

на милиционеров и гэбэшников, заталкивающих арестованных в «черные воронки»...

на собственный портрет, по которому прокатил гусеницей танк в Волгограде...

на пьяных армян, громящих окна ЦК КП Армении в Ереване...

на активистов «Памяти» с красными нарукавными повязками дружинников, бегущих с дубинками в руках за каким-то студентом...

Царицын-Польский напрямую подключал к телепульту Горбачева каналы связи с Минском, Киевом, Харьковом, Архангельском, Мурманском — везде было то же самое...

— Почему же... вы показывали... только Москву? — превозмогая острое сжатие сердца, спросил, наконец, Горбачев.

— Мне приказали... — ответил Царицын-Польский.

— Кто?

— Из КГБ...

Горбачев медленно повернулся к телохранилищу, произнес беззвучно, враз пересохшими губами:

— Митрохина.

— Слушаюсь, — телохранилище снял с пояса небольшой радиопередатчик. Там, где был сейчас Митрохин, заработал бипер. Телохранилище сказал в микрофон: — Товарищ генерал, вас Михаил Сергеевич. Срочно в ходовую рубку...

Горбачев, не шевелясь, продолжал смотреть на экран.

Три часа назад он был самым популярным человеком в стране и даже — во всем мире. Люди привозили ему цветы, слали письма, открытки и телеграммы. Собирали деньги на демонстрацию и миллионы вышли на улицы праздновать его выздоровление. Свершилось то, ради чего он жил, взбирался к власти и рисковал ею все эти годы. И теперь, пользуясь этой массовой популярностью, он мог бы превратить Россию в рай, в самое процветающее государство.

Но все эти возможности крошились сейчас под гусеницами танков, смывались водометами, тонули в слезоточивых газах и в народной крови.

И это он сам — сам! — спровоцировал себе Ходынку!

Он оказался ниже, мельче собственного величия.

Но — сам ли?..

Господи, отпусти мое сердце, отпусти, дай мне пошевелиться!..

Павел Митрохин появился в ходовой рубке, стройный и подтянутый, как Пол Ньюмен на голливудском банкете.

— Слушаю, Михаил Сергеевич.

— Что это такое? — Горбачев почти беззвучно указал на экран телевизора.

Митрохин шагнул ближе, взглянул.

— Ах, это! Ну, вы же знаете! Мы же с вами говорили: могут быть небольшие эксцессы, даже... желательные. А получилось — русские люди напились и пошли громить! Пришлось бросить войска... Ну и чтоб это не вышло на Запад, я приказал... и он небрежным жестом, словно тут не о чем и говорить, выключил видеосвязь с Телецентром.

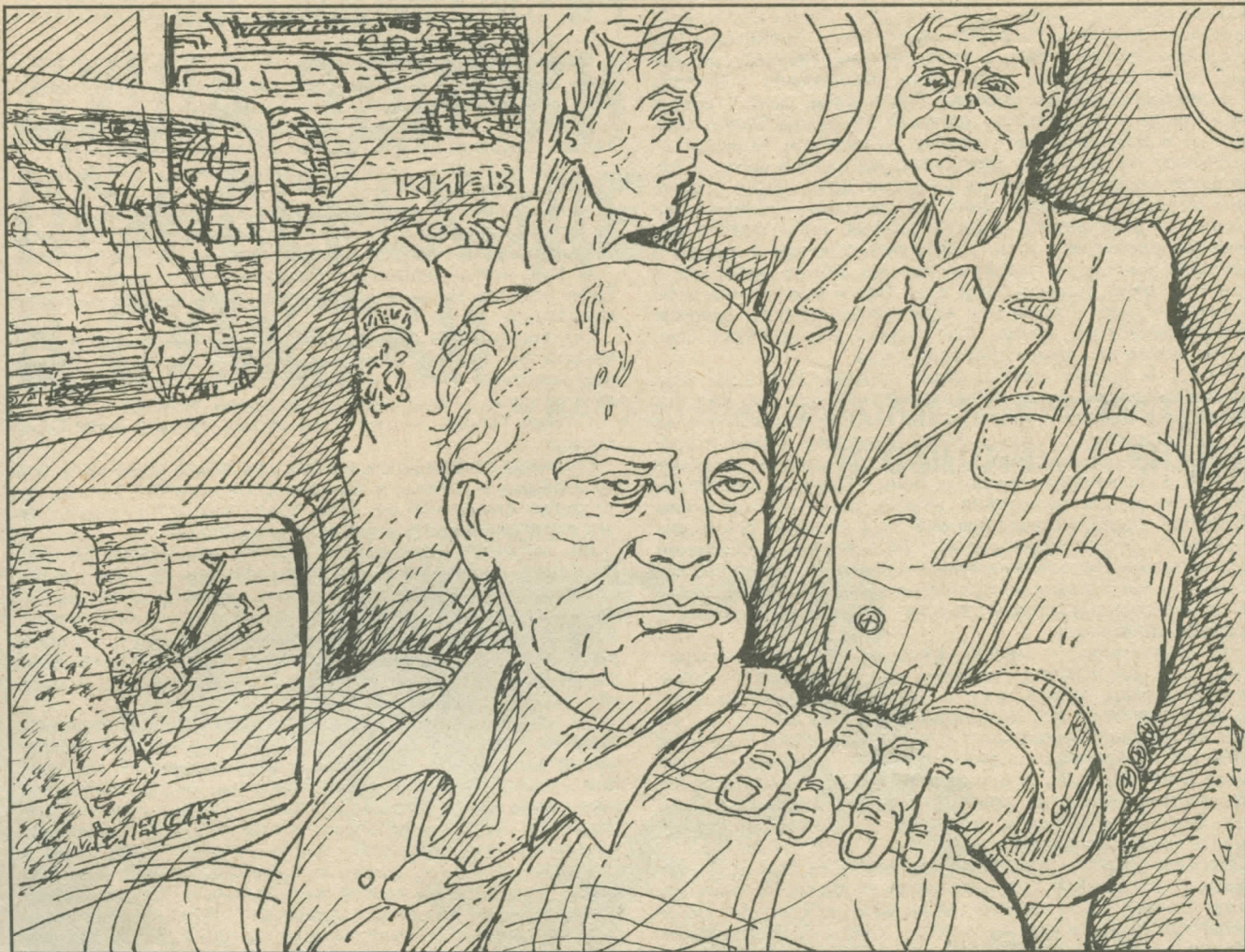
Забыв о боли в груди, на одном бешенстве Горбачев резко встал с кресла, глядя Митрохину прямо в глаза. И была такая однозначность в том, как, вставая, он поднял руку, что Митрохин выпрямился, ожидая пощечины. Лицо его окаменело, а глаза... Таких глаз у Митрохина Раиса не видела никогда.

— Миша!.. — успела крикнуть она.

— Не смейте, Миша... — спокойно и холодно-уничтожительно сказал Митрохин. — Вы арестованы.

Словно ржавый, зазубренный нож повернулся в сердце, но столько огня и бешенства было внутри Горбачева, что он и это пересилил, сказал двум своим телохранилищам:

— Арестуйте мерзавца!



Однако те индифферентно отвернулись к иллюминаторам.

— Капитан, Вязова ко мне, — тихо приказал Горбачев, но увидел, что и капитан, и рулевой тоже, как телохранители, делают вид, что ничего не слышат.

— Бесплезно, Михал Сергеич, — усмехнулся Митрохин. — Этот корабль подчиняется только мне. И — он уже не вернется в Москву.

*Спустя 16 месяцев.*

*Где-то в Сибири, в лесу, в восточных предгорьях Урала.*

*17.30 по местному времени.*

**Х**отя в камине жарко горели дрова, Горбачев теперь постоянно мерз. Раиса сидела подле него в кресле-качалке, молча и быстро вязала в тишине, и нехорошие мысли о близкой смерти мужа лезли ей в голову. Уже восьмой день он не встает с кровати даже для короткой прогулки — у него уже нет сил. И уже пятый день Раиса даже не просит его прекратить эту бессмысленную, самоубийственную голодовку. Ну кто, кто в целом мире знает о том, что он голодает?! Когда Сахаров голодал в горьковской ссылке или когда другие диссиденты объявляли голодовки в тюремных камерах, у них всегда был шанс через сокамерников или родственников передать об этом на Запад, заставить мир кричать о них Кремлю. Но здесь, в этой глухо огороженной и тщательно охраняемой даче — где? под Иркутском? Сверд-

ловском? Хабаровском? — у Горбачевых не было даже этого шанса.

Руки Раисы нервно крутили спицы, клубок серой шерсти из распущенной оренбургской шали вращался у ее ног. Раиса вязала шапочку мужу, шерстяную шапочку-ермолку для его мерзнувшей лысины. Только вряд ли это ему уже поможет. Даже его дыхания уже почти не слышно... 16 месяцев полной изоляции на этой даче — без газет, телефона, радио и телевизора — плюс двадцать семь дней отчаянной голодовки изменили Горбачева почти неузнаваемо. Он постарел не на 16 месяцев, а на 16 лет. В этом маленьком, исхудавшем, слабом и совершенно лысом старике, что лежал сейчас на кровати небритый, с открытым, словно проваленным, ртом и укрытый тремя одеялами и пледом, было невозможно узнать того сильного, энергичного и обаятельного жизнелюба, который совсем недавно не только правил гигантской империей, но и заморозил, покорил весь мир своими проектами реформирования советского тоталитаризма в систему прагматической демократии... Господи, ничего от него не осталось, ничего, кроме упрямства. Но он скорей умрет, чем прекратит голодовку! Собственно, он уже умирает...

А когда он умрет, выпустит ли Митрохин ее из этой лесной могилы? Или сошлет в какую-нибудь глухую сибирскую деревню, чтобы мир так и не узнал о смерти Горбачева?

Спицы еще быстрее заходили в руках Раисы, слезы выступили на глазах. От этой тишины и снега на окнах

можно действительно рехнуться. Она, Раиса Горбачева, хозяйка Кремля и теневого, «кухонного» правительства, обречена теперь сгнить в этом лесу, неизвестно где. Даже местонахождение этой дачи невозможно выпытать у безмолвных солдат охраны! Раз в день, рано утром, в воротах дачи появляется военный вездеход. Вездеход солдат — в большинстве чучмеки: узбеки или таджики — застывает на суточное дежурство по охране дачи, а начальник караула ставит на крыльцо дачи судки с горячим обедом и ужином. Днем те солдаты, которые свободны от распиловки дров и охраны, либо спят в маленькой караулке у ворот, либо режутся там в нарды, а вечером начальник караула так же молча забирает с крыльца дачи судки из-под еды. Вот и вся рутина этой ссылки — сиди в доме или ходи вокруг него по «малому гипертоническому кругу», как назвал эту прогулку Горбачев, когда их только привезли сюда.

Тогда, в самом начале этой ссылки, Горбачев еще строил планы реванша и твердил Раисе, что мир не даст Митрохину и Стрижу уничтожить его, Горбачева! Что за него; Горбачева, как когда-то за Сахарова, борются сейчас все западные лидеры и все прогрессивные силы мира. Что в Нью-Йорке, Лондоне, Бонне, Париже, Амстердаме и так далее гигантские демонстрации с плакатами «Свободу Горбачевым!» бушуют под окнами советских посольств, что газеты печатают их портреты, а знаменитые западные писатели, ученые и деятели культуры, которых он так прекрасно принимал в Москве, шлют новому кремлевскому правительству петиции и запросы о судьбе Горбачевых.

Но время шло — месяц... второй... пятый... двенадцатый... А 27 дней назад Горбачев как взбесился — объявил голодовку, требуя газет и радиоприемника. Но охрана дачи никак на это не реагировала. Как всегда, по утрам на крыльце появлялись судки-кастрюльки с едой. И большая поленица свеженаколотых дров вырастала здесь же к полудню. А вечером начальник караула забирал выставленные на крыльцо судки. Теперь, впрочем, эти судки были почти полными — много ли могла съест Раиса, когда муж голодал?..

Дальний рокот двигателя бронетранспортера отвлек Раису от ее мыслей. Она взглянула на мужа. Но он ничего не слышал — то ли спал, то ли уже находился в предсмертной прострации, за чертой связи с этим миром. Только в провале его черного рта еще чуть посвистывало медленное стариковское дыхание и в такт этому дыханию чуть шевелились серые небритые щеки. Раиса встала, подошла к окну.

Два солдата в гимнастерках без пояса выскочили из бревенчатой караулки, побежали открывать ворота — их тоже удивило внеурочное появление бронетранспортера. Но на этот раз бронетранспортер не остановился в воротах, а слепо светя фарами при дневном еще свете, подкатил прямо к крыльцу дачи.

Сердце у Раисы рухнуло, как в скоростном лифте. Вот и все. Вот и все, Господи! Доигрался он со своей голодовкой! Сейчас их вытряхнут из этой дачи, короткая автоматная очередь и...

Молодой сержант с круглым лицом не то узбека, не то таджика деловито выпрыгнул из кабины вездехода, обежал его и откинул брезент кузова. Водитель-ефрейтор и еще четверо сержантов, подбежавших сюда во главе с начальником караула, помогли ему достать из кузова бронетранспортера какие-то ящики и пакеты. Затем гулко, как от удара сапога, хлопнула входная дверь и в дом, даже не отряхнув снег с сапог, вошли эти солдаты, неся...

Боже мой! — ахнула про себя Раиса. — Телевизор! Пачки газет! «Правда»! «Известия»! Даже «Вашингтон пост» и лондонская «Таймс»! И радиоприемник «Рига-107»!

— Миша! Смотри! Ты выиграл! Подождите, куда вы?! — ринулась Раиса вслед выходящим солдатам. Как же так? Бросили газеты, поставили телевизор и радиоприемник и пошли?! Ну хоть слово-то можно сказать?

Раиса дернула за рукав сержанта-узбека:

— Подождите, товарищ!

Он высвободил свой локоть.

— Вызвоните, — сказал он с узбекским, что ли, акцентом. — Я не имею прав с вами гаварить...

— Но как же эти газеты? Радио? Как понимать? Мы теперь будем получать газеты? Даже иностранные?

— Каждый день... — подтвердил сержант. — Вызвоните...

И — вышел.

— Миша! Миша! — побежала Раиса к мужу и увидела, что он уже и сам проснулся и даже пытается встать. Но поднять свое тело и эти тяжелые одеяла было ему уже не под силу.

— Нет, нет! — закричала Раиса. — Не вставай! Ты что? Тебе нельзя! Выходить из голодовки нужно медленно, постепенно. Лежи...

Он поморщился с досадой, даже с презрением к этой вечной ее пустой болтовне. И показал своей тонкой пергаментной рукой на радиоприемник, чуть покрутил ее в воздухе — мол, включи же радио, включи!

— Нет! Теперь — суп! Одну ложку чистого супа! Одну ложку!

Он снова поморщился, но она уже знала свою силу: все — и радио, и газеты, и телевизор он получит, только если будет слушаться ее, если правильно и послушно станет восстанавливать свои силы и здоровье!

Да, он опять выиграл, он всегда выигрывал, Михаил Горбачев, он выигрывал всю жизнь! Судьба снова ворожила ему, как всегда ворожит она своим фаворитам. Теперь им каждый день будут приносить свежие газеты, даже «Вашингтон пост» и «Таймс»! И они будут слушать радио — весь мир, даже русские передачи «Голоса Америки», «Би-Би-Си» и «Свободы», потому что тут, в лесу, нет, конечно, радиоглушилок...

Но через три часа радость победы стала испаряться. Конечно, они уже просмотрели все газеты и одновременно включили и телевизор, и радиоприемник. Из газет они узнали, что он, Михаил Горбачев, оказывается, все еще является формальным главой государства — Президентом СССР. А его отсутствие в Кремле «Правда» объясняла его слабостью после ранения, инфарктом и режимом полного отдыха, предписанного врачами. Так в 1922 году Сталин изолировал Ленина в Горках... Короткая домашняя антенна телевизора «Рубин» брала лишь одну программу — телестанцию города Кургана, так они узнали, где же они находятся географически — в восточных предгорьях Урала. Но главное было не в этом. Раиса поставила радиоприемник «Рига-107» прямо на кровать Горбачеву, и он упрямо, вот уже четвертый час, крутил рукоятку настройки и ловил «враждебные голоса» русских и английских западных станций. Но, прослушав и «Би-Би-Си», и «Немецкую волну», и «Свободную Европу», и «Голос Америки», и даже «Радио Канады», Горбачевы ни разу не услышали того, ради чего Горбачев завоевал этот радиоприемник и эти газеты. Нигде в мире не было никаких демонстраций с транспарантами «Свободу Горбачевым!», никто не писал новому советскому правительству писем протеста по поводу их ссылки и изоляции, и ни один нобелевский лауреат из тех, кто так любил приезжать в Москву на горбачевские форумы мира — ни один из них! — даже не послал Стрижу и Митрохину запрос о судьбе или хотя бы здоровье лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева!

За прошедшие 16 месяцев мир забыл о Горбачеве столь же быстро, как в свое время он забыл о свергнутом русским царем Николае Втором, о сбежавшем с Филиппин Фердинанде Маркосе или об ушедших в отставку Пьере Трюдо и Менахеме Бегине. Мир оставил Горбачева в прошлом, на перевернутой странице истории, как он всегда поступает со своими лидерами, сметенными с политической арены.

И именно для того, чтобы они поняли это и не рыпалась, именно потому Стриж и Митрохин прислали им сюда эти газеты и радио.

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

# ДУША ЭДИЧКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СУМЕРКИ

БАРХАТНЫЕ БРЮКИ ПОВЫТЕРЛИСЬ  
И ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ



**К**огда в самом конце семидесятых годов в Союзе появился роман Лимонова «Это я — Эдичка», среди читающей «тамиздат» московско-ленинградской интеллигенции разразился скандал. Автор мог торжествовать: это несомненно входило в его планы. Во все времена и во всех сообществах скандал возникает по одной причине: из-за

нарушения господствующей типовой морали или нормативной эстетики (что, в общем, одно и то же). Типовая мораль той относительно продвинутой и очень узкой части интеллигенции, которая имела доступ к «Эдичке», была оскорблена по крайней мере трижды.

Прежде всего, в романе была оскорблена «американская мечта»,

волей-неволей владевшая умами людей времен развитого социализма. Миф о том, что только у нас нам плохо, а там, за морем, замечательно, что только у нас все чахнут, а там расцветают розами, миф этот при всей своей восхитительной наивности был довольно стойким, в первую очередь потому, что стойкой была система. Ни о каких переменах (раз-

ве что к худшему) тогда, разумеется, никто из читателей Лимонова не помышлял. Все были свято убеждены, что советская власть срослась с нами навеки, как тусы с телом амазонки. На этом свете «американская мечта» была последним прибежищем, иллюзией драгоценной и бережно хранимой. Лимонов разрушал ее демонстративно и беспощадно. Удар оказался настолько болезненным, что об этом предпочитали впрямую не говорить. Охотнее обсуждалось другое — то, что задело меньше, но чем можно было возмущаться более комфортабельно.

Вкупе с «американской мечтой» в романе «Это я — Эдичка» были поруганы те, кто, на взгляд Лимонова, эту мечту насаждал в Союзе, — диссиденты-правозащитники во главе с Сахаровым-Солженицыным. И диссидентов-правозащитников, и Сахарова-Солженицына Лимонов писал через мысленный дефис, не видя между ними никакой разницы. По большей части не видела этой разницы и публика, читавшая в те годы «Эдичку». Ее возмутило не содержание претензий, вполне идиотских (кто, где, когда и каким образом насаждал у нас «американскую мечту»?), а само их наличие, не говоря уж о форме — матерной, преимущественно, — в которой они были высказаны.

Но не одним только диссидентам сопутствовали в романе матерные выражения. Они плотно окружали любовь «Эдички», ставшую третьей и главной темой разразившегося скандала. Собственно, это относится всего лишь к одной главе романа, с негодованием отвергавшейся и, как всегда в таких случаях бывает, зачитанной до дыр. В злосчастной главе во всех физиологических подробностях живописались объятия героя с негром-уголовником на заброшенном нью-йоркском пустыре. Главу обсуждали и осуждали, багровея от возмущения, хотя сами по себе гомосексуальные объятия вряд ли могли кого-то поразить. В кругах первых читателей «Эдички», тесно связанных с богемой, такого рода объятия были столь же распространены, сколь сейчас, и не то чтобы очень скрываемы.

На самом деле возмутили не объятия, а — кому и как они оказались распахнуты. Оскорблена была не нравственность, а нечто другое, за нравственность выдаваемое, нарушена не типовая мораль, а норма-

тивная эстетика (что только доказало их принципиальную близость). Всех, наверное бы, устроило, случись любовь не с бандитским негром, а с балетным амуром, не на заброшенном пустыре, а в заброшенном замке со следами упадка, не настолько, впрочем, сильными, чтоб там не нашлось немножко «буля» или хотя бы георгианской мебели...

Относительная для русского романа эстетическая новизна «Эдички» глухо игнорировалась его оппонентами, потрясенными моральным обликом Лимонова. Но эта же эстетическая новизна приобрела абсолютное значение в глазах его поклонников, более или менее равнодушных к любым моральным обликам и политическим инвективам. Так на интеллигентских кухнях конца семидесятых — начала восьмидесятых годов вокруг романа «Это я — Эдичка» вызревал конфликт, которому суждено было выйти далеко за пределы простых вкусовых предпочтений. Не имея тогда никаких шансов даже злом откликнуться на страницах печати, он отразился там лишь спустя много лет в виде явно запоздалой и уже почти параноидальной дискуссии между «шестидесятиниками» и «восьмидесястами». Интересно, что роман «Это я — Эдичка» оказался в ней практически не задействован, в одночасье мифологизированный и впоследствии благополучно забытый. Лимонов как будто и сам наращивался на мифологизацию. В русской литературной традиции нет другого такого произведения, где бы личность героя столь декларативно соответствовала личности автора. Кажется, что Эдичка абсолютно равен «Эдичке», и недаром в литературных кругах его иначе не именуют.

В этом соответствии Лимонов так умело непосредствен и вызывающе подробен, что невольно начинаешь во всем сомневаться, подозревая литературную игру там, где она просто-душно отсутствует. Против литературной игры говорит вроде бы все. Ну хотя бы то, что большинство произведений, написанных после «Эдички» — и «Дневник Неудачника», и «Подросток Савенко», и «Молодой негодяй», и многие рассказы, — варьируют одни и те же автобиографические мотивы, одну и ту же исповедальную интонацию, только с куда меньшим успехом, чем это было в первый раз. Но при всей види-

мой безыскусности лимоновского позирования перед зеркалом в нем отражается образ, созданный исключительным мастером деланья имиджей, как бы случайно выстраивается судьба, до тошноты литературная.

Лимонов родился в Харькове в конце войны. Начав простым рабочим, он... К такой сухой биографической справке никак не сводится то, что под пером Лимонова, сохраняя всю осязаемую обыденность, приобретает масштаб и поступь легенды. Герой восстал из самой черноты, из самой глубины — со дна моря народного — и прошел через ряд черных испытаний: черное блатное детство, черную грязную работу, черную московскую богему, шитье черных бархатных штанов, черную зависть литературной клики, черного негра из черной нью-йоркской ночи и т.д. Но в черной агрессии обступившего черного мира есть нечто стабильно белое: белый бледный Эдичка в дивном белом костюме, в сверкающих брюках, до Страшного Суда облепивших его нежную белую попку. Ее оттопыренности, как известно, завидовала сама Эдичкина жена — белая прекрасная Елена.

В этом мире Елена — то белая, то черная — единственная точка пересечения, где заданные световые полярности на мгновение сходятся, чтобы навеки разойтись. Черно-белую Эдичкину судьбу определяет сюжет сказки о Золушке, развивающийся по спирали: новый круг сообщает новое качество. В первом круге уже упомянутая Елена выступает не столько в роли принцессы, сколько в роли принца. Бедной харьковской Золушкой приезжает Лимонов в Москву — шьет для заказчиков штаны и заодно себе — на бал; ан глядь, он уже знаменитый поэт, женат на профессорской дочке Елене и танцует с ней на вечном празднике жизни, устроенном в семидесятые годы венецуэльским послом Бурелли.

Кончен пир, умолкли хоры, опорожнены амфоры — супруги в Америке-разлучнице, надругавшейся над всеми сказочными законами. И прагматичный принц уходит от своей Золушки к красношеим аборигенам потому только, что они могут платить. Оставленная Золушка-поэт мочет в Нью-Йорке посуду, пребывая в воспоминаниях о Бурелли и невозможности поделиться ими с аборигенами — по незнанию языка.

Время от времени она отправляется за принцем, ища его среди крепких черных парней манхэттенского дна. Зассанный подъезд — невольный приют своей любви — Эдичка-Золушка честно принимает за дворец — это не моя фантазия, это фантазия героев, описанная в романе. Но за обольщением следует разочарование, и всякий раз Эдичка сухо констатирует: не тот. Тем оказывается, как и положено, все-таки не нищий, а миллионер: к нему Золушка пристраивается пусть не принцессой, но мажордомом. Так закончился круг второй.

Но тикают часы, весна сменяет одну другую, розовеет небо, меняются названия городов — и новый круг уже в Париже. А годы не те, и не те желанья, и не так манит головокружительная партия, как тихая спокойная жизнь под сенью Закона. Новый принц уже не женщина и даже не мужчина, а коллективный соборный орган. В роли головокру-

жительной партии выступает коммунистическая партия: с помощью ФКП Лимонов получает возжеленное французское гражданство.

Педантично докладывая о новом круге в своей прозе или статьях, скажем лучше, в свидетельском тексте, Лимонов описывает события, развивающиеся по одной и той же неуловимой логике: изначальная честность — страдания-мытарства — возжеленная награда. И уже неважно, то ли он сам мифологизирует пространство, то ли жизнь у него такая. Важно, что всякий, попадающий в поле его зрения, начинает функционировать по законам персонажа, становясь литературным героем с литературной судьбой. И вполне житейская история его бывшей супруги выглядит сочиненным эпилогом к «Эдичке»: отстрадав свое за неверность, так и не сделавшись знаменитой нью-йоркской фотомоделью, она нашла успокоение в Вечном городе, став графиней

Щаповой де Карли и автором романа «Это я — Елена».

Особенности лимоновского мифотворчества живо обсуждаются сейчас, когда он, видимо, пошел по четвертому кругу, решившись хотя бы духовно вернуться на родину своими статьями в «Советской России». Поменяв ФКП на РКП, он заделался любимым автором газеты, выступая на протяжении последнего года с регулярностью постоянного обозревателя. Но если б под статьями не было подписи Лимонова, то об авторстве мудро было б догадаться. Прав Бродский — зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Но не до такой же степени. Легкий на подъем Эдичка пишет в «Советскую Россию» с одышкой, как кирпичами ворочает. Продраться сквозь его необъятные газетные простыни под силу немногим ценителям. Тяжелый и вместе с тем истеричный прохановско-бушинский стиль выдержан здесь с блеском литературной версификации. Чего стоят одни названия: «Две капли в море прозрения», «Ждут живые и павшие». Воля ваша, мысль о том, что нас разыгрывают, возникает сама собой.

Сидя в далеком Париже, Лимонов с точностью снайпера выбирает как раз те темы, которые и без него замусолены до блеска штатными сотрудниками газеты. Две капли в море его прозрения относятся целиком на счет Шеварднадзе. Понятно, почему местные авторы «Советской России» так трепетно воспринимают бывшего министра иностранных дел: это ненависть партийцев к собственным ренегатам, куда более острая и живая, чем к любой демократической Новодворской. Но что Эдичке Гекуба? Зачем он выдал из себя две капли и бережно пронес их через государственные границы? Ему что, Шеварднадзе в суп написал?

Нынешняя лимоновская публицистика вызывает даже не протест, не досаду и — упаси Боже! — не желание с ним спорить, а одно чувство недоумения: зачем ему все это? И, думая над самому себе заданным вопросом, отчетливо понимаешь, что у него нет другого выхода. Всегда ставя на скандал, будучи сам олицетворением скандала, он не умеет иначе самовыражаться. Так было пятнадцать лет назад, в пору «Эдички», так осталось и сегодня. Но если тогда было достаточно одного негра, то сегодня не спасет и



целый полк. Никто и бровью не поведет. Единственным способом привлечь к себе внимание, безотказным до сих пор способом является бушинско-прохановская интонация, на которую наша интеллигенция по-прежнему реагирует, как лошадь на звук боевой трубы.

Поэтому чем грубее, чем топорнее, тем лучше. Поэтому над лимоновской статьёй «Ждут живые и павшие» гордо реет девиз: СССР не последняя империя, а многонациональное государство. Этот набор бессмысленных слов и есть звук трубы, который сам по себе, может быть, и имеет для него значение, но, думается, второстепенное. Точно так же, как эстетическая новизна сцены с негром волновала его в последнюю очередь. И сейчас, и пятнадцать лет назад для него было важно любой ценой взойти на помост и оказаться перед нами в ослепительно белом костюме с ослепительно белой душой, несущей добро и красоту. И чтобы все признали: ЭТО ОН — ЭДИЧКА.

В сущности, споры, которые велись вокруг Лимонова на московско-ленинградских кухнях конца семидесятых годов, были во многом пустыми. И роман совсем не случайно выпал из дальнейшей полемики «шестидесятников» и «восьмидесятков». По отношению к «Эдичке» они были одинаково неправы — и те, кто обвинял роман в отсутствии морального пафоса, и те, кто ему за это аплодировал. Моральный пафос «Эдички» измеряется килограммами. В этом смысле роман, в свое время зачитанный до дыр, оказался попросту непрочитанным.

В современной русской литературе трудно найти другой роман, отличающийся таким прямым открытым морализаторством. Но и внутри самой книги глава «Крис» — сцена с негром на пустыре — высочайшая патетическая нота в Эдичкином моральном регистре. Два люмпена, два одиноких, не нужных никому человека, негр и вэлферщик сошлись на пустыре Великого города, космически равнодушного к их отринутости. Сошлись для кровавой драки и кончили любовными объятиями, по-детски беззащитно уснув друг на друге. Если отбросить некоторые физиологические подробности, то выйдет гимн маленькому человеку, униженному и оскорбленному, способный вдохновить самого Короленко.

В эстетическом плане именно это

было самой большой новацией: помещение пафоса Короленко в глубоко чуждые ему обстоятельства Жана Жене. Вряд ли бы кто-нибудь из «профессиональных» писателей сегодня осмелился на подобное. «Профессиональный» писатель эпохи постмодернизма насквозь пронизан иронией, от которой Эдичка божественно свободен. Из-под его пера вышло повествование, по-своему совершенно уникальное: роман без автора, без того неизбежного сегодня отстранения, которое столь же неизбежно занижает любой драматизм. Освобожденный драматизм вырвался на волю, представ во всей своей ошарашивающей непосредственности.

Много лет спустя в статье для «Советской России» «Душа Иванова при переходе от социализма» он в иносказательной форме, изображая некое собирательного, живущего в стране Советов маленького человека, попробует достичь того же драматизма, того же накала, но надутый пустотой шарик лопнет, повиснув тряпочкой. Публицистика Лимонова куда хуже его романа не потому вовсе, что идеи у него плохие, никаких идей там вообще нет, а потому только, что, выражая себя иносказательно, он бесповоротно проигрывает. Подлинное страдание становится фальшивым. И, испытывая чувство мучительной неловкости, хочется спросить: зачем ходить кругами? За виновченными общими местами лимоновской публицистики смутно угадывается личное и важное — то, что толкнуло Эдичку на его «четвертый круг», в Россию. Этой Россией недаром стала «Советская Россия». Лимонов хочет вернуться не куда-нибудь, а туда, где был молод, счастлив и любим Еленой. А это была именно советская Россия, и никакой другой она не могла быть, и никакой другой не должна быть вовеки. Для Эдички, не склонного к отстранению и праздным поискам утраченного времени, прошлое существует в реальности, как бы где-то застывшее, и ценно только тем, что в любой момент его можно физически ощутить и заново пережить. За политической риторикой типа «СССР не последняя империя, а многонациональное государство» стоит менее всего политический смысл. За этой риторикой — мольба о пощаде да глухая ненависть к злым дядям и тетям, к Шеварднадзе с Т.Толстой, задумавшим погубить Эдичкино прошлое, сде-

лавшим так, что возвращаться ему некуда и незачем. Играя в бушинско-прохановскую риторику как в лучшую игру, способную привлечь к нему внимание, Лимонов выбирает самый действенный, но чужой скандал. Выходит «отстранение», выходит «литература», профессиональное писательство вялой публицистики, нечто прямо противоположное тому, что породило успех «Эдички».

Тогда получился замечательный роман, написанный его персонажем, нечто подобное тому, как если бы коллизии Достоевского взялся изображать Смердяков. Получилась картина пленительная и отвратная, но от которой русский Нью-Йорк уже неотделим навеки. Получилась история любви и утраты, горькой любви Эдички и Елены, самой чистой любви, рассказанной самыми грязными словами. Получилась истощенный вопль, исполненный последнего отчаяния. Вопль, созывавший сырых и убогих на войну со всемирным заговором билдингов, на борьбу одновременно с Кремлем и Белым домом, на баррикады, где Эдичка — весь в белом, а перед ним мир — весь в черном.

Так и застыл он в этой позе на баррикадах, застыл на десятилетия, а бархатные штаны, сшитые еще в Москве, тем временем вытерлись и вышли из моды, а белый костюм обвис и не обтягивает уже самой оттопыренной в мире попки. И строчит Эдичка статьи в газету «Советская Россия», описывая то увиденный по телевизору «помпезный военный парад» в Вашингтоне, где «много тысяч мясистых молодцов в маскировочных пятнистых хаки», то «появившихся в советской жизни спортивного вида молодчиков-рэкетиров». Описывает плюралистически и грустно, жалуясь одновременно и на американскую, и на советскую угрозу. Жалуясь единственно на то, что угрозы больше нет, — и суждено ему отныне щупать «много тысяч мясистых», лишь водя рукой по экрану телевизора. Жалуясь, как некогда в романе, крича криком и переходя на шепот, только еще отчаяннее, еще беспомощнее, потому что в неотвратимо наступающей старости, в ночи, сменяющей сумерки, даже он, белый, станет черным. Жалуясь уже вполне бескорыстно, как Золушка, давно не ждущая принца, истоптавшая все свои хрустальные башмачки.



Виталий БАБЕНКО

## NEW - МОСКВА

«Ориент» заиграл первые такты «My bonny is over the ocean», и Колька тут же проснулся. Сначала он испугался — проспал! Но тут же вспомнил, что вечером сам поставил будильничек на шесть утра, поэтому ничего главного в этот день не пропустит. А главного было много: во-первых, день рождения, во-вторых, воскресенье, а в-третьих — мать вчера вечером отсыпала целых пять долларов, что сулило, и обещало, и манило, и вообще означало переход к какой-то совершенно новой жизни, только к какой — Колька и сам пока еще не знал.

Часы «Ориент», подарок покойного отца, висели, покачиваясь, на цепочке над самой головой. Лучи солнца играли на поляризованной поверхности циферблата, и по простыне бродили радужные блики. Солнце давно уже встало — в начале июля ночи в Москве еще очень короткие. «В Нью-Москве», — мысленно сам себя поправил Колька. Он сбросил простыню и подскочил к окну. Вот и первое главное, что он боялся пропустить: в золотисто-синем воздухе реяли, колыхались, трепетали два огромных флага — Союза Суверенных и американский. Их древки пересекались под слепящим шаром солнца, а полотнища занимали чуть ли не все небо. Зрелище было потрясающее. Колька знал, что оно продлится всего пять минут, поэтому смотрел во все глаза. Голографические флаги включались в небо всего два раза в году — на День Независимости, 4 июля, и на День Суверенности, 8 сентября, а сегодня как раз 4 июля 1993 года, и Кольке, стало быть, шестнадцать лет. «День Независимости — в полном смысле слова, — размышлял Колька. — Даже в двух смыслах. Вот завтра пойду и получу сразу два независимых документа — паспорт Союза Суверенных и «Ай-Ди». Не понимал Колька только одного — почему за паспорт надо платить 50 тысяч рублей, хотя там фотография черно-белая, а американское удостоверение личности — с цветной фотографией! — выдавали бесплатно. Впрочем, в Нью-Москве странностей много, лучше о них не задумываться.

Пошла вторая минута седьмого, и в воздухе зазвучала тихая — чтобы никого не разбудить — мелодия. Сначала сыграли гимн Союза Суверенных, потом — американский. И флаги, и гимны были рассчитаны на тех, кто уже не спит: нельзя ведь будить людей безнаказанно ни в праздники, ни в будни — в свободной стране каждый сам себе хозяин.

Мать еще спала. Колька на цыпочках прошел в кухню.

Двухкамерный холодильник был, как всегда, пуст. Мать только сегодня пойдет по магазинам и рынкам, чтобы набрать продуктов для праздничного ужина. Опять загадка — теперь уже психологическая. К кому из американских друзей ни зайдешь — холодильник ломится. У суверенных — и холодильники, и полки всегда пустые. Покупают на день, от силы на два вперед. Что это — наследие перестройки, когда вообще ничего купить нельзя было? Черт его знает... Колька нагрел воду в кастрюле, развел там немецкое порошковое молоко и всыпал полпакета английских овсяных хлопьев. «Пор-р-ридж!» — с тоской выдавил он из себя ненавистное слово. Ну ладно, завтрак пусть будет стандартный, днем и вечером Колька отыграется, сейчас — лишь бы живот набить. Зато чай он себе заварил отменный — натуральный «Дарджилинг», из праздничных запасов. Раз день начался с хорошего, то и продолжаться должен не пустяково.

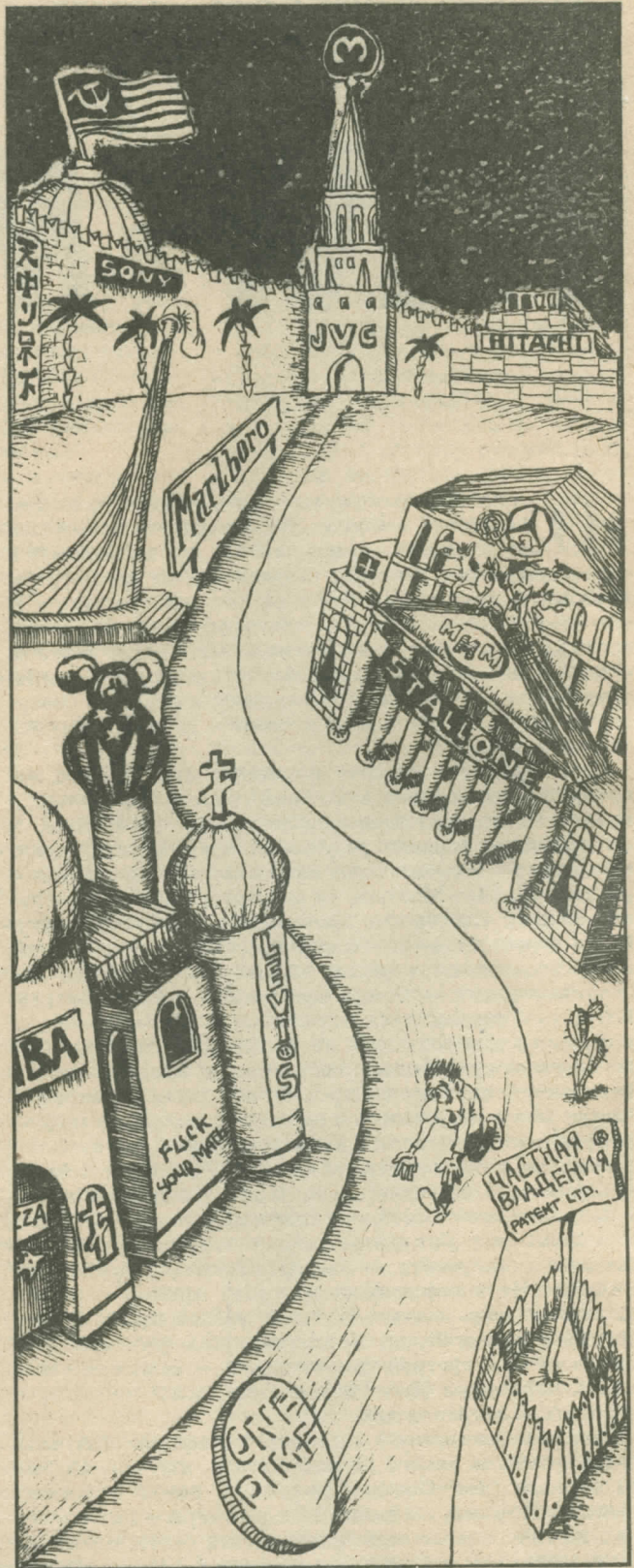
Теперь — одеться получше (оксфордская рубашка, джинсы без лэйбла, пятисоттысячные кроссовки), не забыть про деньги — и в путь. Деньги... Сегодня Колька был богатым человеком: в одном кармане — пять долларов мелочью, в другом — два «лимона» двадцатитысячниками, или «ломаносами» (и кому только в голову пришло сажать на купюру портрет Ломоносова?). На праздничный день вполне должно хватить.

От родной площади Гарфилда (бывшей Zubовской) Колька решил пешком дойти до Триумфальной, а там видно будет, куда податься. Определенных планов не было, хотя желаний наличествовало всего два — либо махнуть на «Кони-Айленд-ВДНХ», либо вернуться в свой район и пошляться по «Витману» — Парку имени Уолта Уитмена. На Садовом прохожих было еще мало, а вот машин уже — пруд пруди. Колька давно перестал разбираться в марках автомобилей, как суверенных, так и иностранных, хотя в детстве безошибочно отличал «вольво» от «тойоты», а «шестерку» от «восьмерки». Впрочем, в том далеком — уже далеком! — детстве иномарок в Москве было еще не очень много. А сейчас попробуй отличи «додж» 1992 года от «крайслера» 1989-го или «Москвич-супер» от «Таврии-люкс». Все шикарные, все разные и все почему-то удивительно одинаковые... Большинство магазинов было закрыто, хотя сплошь и рядом в киосках торговали уже «кока-колой», гамбургерами, шаурмой, «хот-догами», пивом (точнее — пивами, никто уже не мог сосчитать, сколько сортов пива продавалось в Нью-Москве) и газетами.

Бодро шагая по Садовому, Колька пытался окунуть мысленным взором прожитую жизнь. В принципе, ничего особенного. Радости были, тревоги были, горе тоже было — как у всех. День смерти Брежнева помнит — мать тогда строго-настрого запретила выходить на улицу, пугая танками в городе. Май восьмидесят пятого опять-таки помнит, хотя что ему — восьмилетнему — до антиалкогольного указа? Тем не менее именно после того указа отец по-черному запил и пил не переставая целых четыре года. Умер он опять-таки «по тому же делу» — захлебнулся блевотиной, перебрав одеколона «Саша». Хоронили отца холодной весной восемьдесят девятого, и Колька на всю жизнь запомнил пронизывающий ветер на кладбище, вой матери, пьяных в дупель могильщиков и себя самого — почему-то у него не выкатилось ни слезинки. Любил ли он отца? Когда-то, конечно, любил — когда тот был веселым, неунывающим, преуспевающим партийным журналистом. А опустившегося, с мешками под глазами, трясущегося человека, который не смог даже на Колькино десятилетие явиться трезвым, — просто ненавидел. Что еще он помнит? Взрыв «шаттла», бесконечные митинги в Москве, на которые мать ходила, не пропуская ни одного (и, разумеется, таскала с собой Кольку, хотя он ничего не понимал, да и не хотел понимать), слухи о погромах, о начале гражданской войны, о чрезвычайном положении. Видел своими глазами поножовщину между «афганцами» и беженцами из Закавказья. Видел, как на улице убили человека, прострелив ему лоб из пистолета — кто стрелял, зачем, случайность это была, месть или какая-то кара, — Колька так никогда и не узнал: машина со стрелявшими умчалась со страшной скоростью, а прибывшая на место милиция грубо отшила Кольку, пристававшего с расспросами. Помнил, как потерял двести рублей — это были времена, когда двести рублей были еще д е н ь г а м и, мать его тогда чуть не убила. Хорошо помнил подписание Договора о помощи и взаимопомощи со Штатами и Европой, появление первых «договорных» американцев, всеобщее ликование по этому поводу и разнузданный шабаш «Памяти» — тоже по поводу американцев. Помнил тихую кончину праздника Октябрьской революции и потрясающий фейерверк и бурные торжества в честь 500-летия открытия Америки. Что еще? Колледж? Ну здесь-то ничего особенного. Учится хорошо, через два года закончит и пойдет в школу бизнеса — будущее как раз интереснее прошлого...

Вот и Триумфальная. Смешно. Еще два года назад здесь стоял Маяковский. Теперь на его месте — памятник Павлу Первому, а напротив, на месте снесенного ресторана «София», — памятник Джорджу Вашингтону. Император-дворяноборец и первый президент Америки стоят лицом друг к другу, у обоих на губах легкие улыбки — словно эти деятели, как-никак современники, наконец-то условились о чем-то, о чем двести лет назад не смогли договориться.

Колька решил пройти по Тверской до «Пушкинской», а уж там окончательно понять, куда двигаться дальше. Тверская уже ожила. Открылись бесчисленные «бутики», цветочные магазины, «спиритс» (спиртного теперь — хоть залейся, вот было бы раздолье покойному отцу), магазины игрушек, «буксторь», кофейни, деликатесные, лавки мороженого — американские «Бен энд Джерри», «Баскин Роббинс», японские «Сноу брэнд», всякие прочие — ешь не хочу, «лакшурри шопс», «Сирс, Робак», германские магазины «Карштадт», английские «Маркс энд Спенсер»... Эх, да что там, были бы деньги.



Рисовал А. Заяц

Потной рукой Колька залез в карман джинсов, погребел там даймами, квартерами и долларами, в другом кармане оцупал «ломоносы» — нет, никаких преждевременных трат, весь день впереди.

И все-таки — куда ехать? Колька выудил из кармана дайм, положил его на ноготь и подщелкнул — орел или решка? Точнее, морда или факел? «Если факел — еду на «Кони-Айленд». Если морда — гуляю по «Витману». Увы, Колька не знал, кто изображен на аверсе десятицентовика, поэтому называл этот профиль, как и все его сверстники, «мордой».

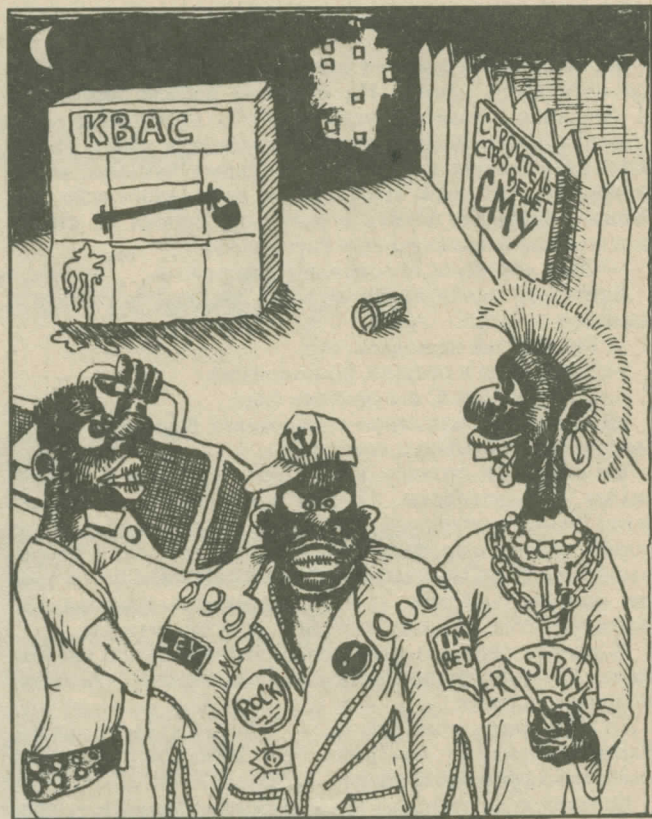
Дайм, зазвев, взвился в воздух, а вот поймать его Колька не смог — уж очень маленькая монетка, промахнулся. Дайм покатился по тротуару, прыгнул на мостовую и... провалился в водосточную решетку. Колька окаменел. ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ! Он плюхнулся на живот — хрен с ней, с оксфордской рубашкой — и попытался в темноте колодца разглядеть никелевый блеск дайма. Куда там! И глубоко, и ничего не видно, да, наверное, к тому же вода внизу. Все еще лежа на асфальте, Колька понял, что еще чуть-чуть — и он разревется. Ну, нет. Шестнадцатилетнему это не положено. Надо по-мужски переживать несчастья. Дайм сгинул, зато в кармане еще четыре доллара девяносто центов. Вот ими надо распорядиться с умом. А раз так — к черту «Витман», там вход только за центы, надо ехать на «Кони-Айленд-ВДНХ», где принимают рубли. Подумаешь, два «ломоноса» за вход.

Колька спустился в метро на «Пушкинской», купил за двадцатитысячник жетон, доехал до «Китай-города» и пересел на другую линию. В вагоне ему не понравилось. Прямо напротив расположилась группа чиканос. Они лугзали семечки — почему-то мексиканцы и пуэрторианцы особенно полюбили этот вечный московский товар, — очень громко разговаривали, хохотали, и Кольке казалось, что смеются над ним. «У, жида банановые!» — подумал он, но вслух ничего не сказал — известно, чикано всунуть москвичу перо в бок ничего не стоит.

Настроение несколько испортилось, но, когда Колька вышел со станции «Кони-Айленд», неприятная встреча забылась, а на душе снова стало хорошо.

По пути к центральному входу Кольке пришлось сделать крюк: во всю ширину тротуара перла к метро веселая компания. Шестеро ражих русачей, в косоворотках, шароварах и смазных сапогах, успевших набраться к девяти утра, лужеными глотками распевали «Хеппи бирсдей ту ю-у-у-у... Хеппи бирсдей ту ю-у-у-у...» Кроме этой строчки, они не знали больше ничего или просто не хотели петь дальше, потому что эта строчка нравилась им больше всего, — только повторяли они ее с упорством, которое достижимо лишь предельно пьяным мужикам. С одной стороны, Колька счел встречу добрым предзнаменованием — все-таки «хеппи бирсдей» — это как бы впрямую относилось к нему, но, с другой стороны, от подобных компаний следовало держаться подальше: все знают — у истинного русача всегда за сапогом кинжал из доброй зольингеновской стали, а под поддевкой на ремешке висит «кольт» или «парабеллум». Вот не понравится им Колькина рожа — чикнут «жида», не задумываясь. Хотя какой же Колька «жид» — у него в роду почти все русские, только бабка по материнской линии вотячка, а между удмуртами и евреями — ничего общего, это факт.

Милиционеры русачей побаиваются, а вот полицейские никого не боятся — ни этих, ни чиканос, ни черных, ни азербайджанских или армянских боевиков, ни чечню.



Только что-то не видно вокруг блюстителей порядка — ни полицейских, увешанных шикарной амуницией, ни милиционеров с «демократизаторами» и «калашами». Время-то все еще раннее, наверное, поэтому и патрульных мало. Колька выждал в кустах, когда пройдет веселая компания, празднующая чей-то день рождения (впрочем, возможно, они распевали здравицу чисто из любви к искусству), и двинулся дальше.

Вот, наконец, и вход. Колька без сожаления расстался с двумя «ломоносами» и вступил на заповедную территорию. Забавное зрелище представляла собой бывшая «Выставка достижений народного хозяйства». Половину ее занимала собственно «ВДНХ» — все павильоны и фонтаны сохранили как памятники эпохи. А вот за «Космосом», где теперь были выставлены «Аполлон», лунный модуль и «Дискавери» и где работал потрясающий аттракцион «Полет на Луну» (четыре доллара за вход!!!), расстилался собственно «Кони-Айленд». Колька рванул сразу туда. Микроавтобусы по территории давно не ездили — их заменила монорельсовая дорога (бесплатная). Колька поднялся в вагончик и через несколько минут вышел на остановке «Американские горы».

Все. Началось веселье. Колька со свистом покатился на «горах» (квотер), спустил полмиллиона рублей в «одноруких бандитов» (смех да и только: выиграл лишь штук тридцать тысячных жетонов) и, наконец, прокатился на лодке по бурной реке в «Диснейленде». Это обошлось ему в полдоллара, и здесь Колька сказал себе: «Стоп!» Этак все доллары просадишь, а главная мечта сегодняшнего дня останется за горизонтом. Мечта же у Кольки была такая: выпить настоящего «бурбона» и

попасть в публичный дом. Шестнадцать лет все-таки, не шутка!

Из «настоящих денег» у него оставалось четыре доллара пятнадцать центов. На «бурбон» должно хватить, а в публичном доме — если выбрать поскромнее — и рубли возьмут. Колька поискал глазами и сразу же нашел павильончик с надписью русскими буквами: «Спиритс». То, что надо. Напустив на себя «взрослый» вид, Колька вразвалку вошел в павильон, бросил на стойку два доллара и неожиданным басом заявил:

— Один «бурбон». И поменьше содовой.

Бартендер оценивающе взглянул на него, все понял и вежливо ответил:

— Без закуски не подаем, сэр.

— Тогда чипс и орешки, но поменьше.

— Слушаю, сэр. С вас полтора бака.

«Всего-то? — мысленно обрадовался Колька. — Тогда можно будет порцию и повторить».

Он отошел к столику, влил в себя «бурбон» и прислушался к ощущениям. Ничего интересного. Жидкость жгла горло и отвратительно пахла. Колька кинул в рот горсть соленого арахиса и подумал, что все дело в непривычности. Если притерпеться — можно пить. «Это тебе не одеколон «Саша», — издевательски подумал он, вспомнив отца. — Виски все-таки, не хухры-мухры».

В животе образовалось горячее пятно и стало расплываться по всему телу. Кольке это понравилось. Он снова подошел к стойке.

— Повторите, пожалуйста, — хамство куда-то делось, Колька размяк и вспомнил, что взрослому пристало быть вежливым и солидным.

Бартендер на этот раз не заговорил о закуске — просто молча налил Кольке стакан виски и взял доллар.

Колька обрадовался. Если дела пошли так, то у него хватит и на третью порцию.

Этот стакан Колька пил медленно, зажевывая горечь и жжение чипсами.

Тепло уже разлилось по всему телу, Колька окончательно понял, что сегодня чудесный день, и он все делает правильно, и все люди милы и приветливы, и что ему обязательно надо было поговорить с теми мужиками в косоворотках, он объяснил бы, что у него день рождения, и не п р о с т о й, и мужики поняли бы, и угостили чем-нибудь суверенным, не этим мерзким «бурбоном», и они пошли бы дальше вместе, горланя «Хеппи бирсдей ту ю-у-у-у...», и...

— Еще «бурбон», пжалста, — Колька вдруг обнаружил, что стоит у прилавка и стучит долларом о металлическое покрытие.

— Вам не довольно ли, молодой человек? — участливо, но вместе с тем строго спросил бартендер, видимо, решив, что обращение «сэр» в данном случае было перегибом.

Колька хотел напустить на себя грозный вид и, сдвинув брови, заорать «Что-о-о-о-о?», но вместо этого зачем-то хихикнул, неожиданно икнул и очень по-детски сказал:

— А у меня баков-то больше и нету.

Бартендер подумал немного, затем кивнул, как бы соглашаясь, и налил Кольке третий стакан.

Колька выпил его махом, сожрал оставшиеся чипсы и орешки и, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания», вывалился из павильона. Ему не терпелось довершить программу столь прекрасно развивающегося дня. Он помнил, что несколько дешевых публичных домов размещались на Березовой аллее, и направился туда. Долго

плелся по бывшей Сельскохозяйственной, ныне Фермерской улице, вышел на аллею, а дальше в памяти начались провалы... Он входит в заведение с надписью «Sex mappers»... Он в какой-то комнате... Широкая постель... Рядом с ним девица с огромной обнаженной грудью, но почему-то в очень тугих, плотных синтетических трусах... Она что-то говорит, но Колька ничего не понимает... Она расстегивает ему молнию на джинсах, нащупывает щель в трусах и лезет туда горячей рукой... Потом снова провал... Колька лежит на кровати и в голос рыдает — девицы нет, как не было...

Затем Колька обнаруживает себя в метро, причем словно бы на нескольких станциях сразу — это одновременно и «Выхино», и «Полянка», и «Битцевский парк»... А окончательно он осознает себя вечером — уже довольно темно — в каком-то вовсе не знакомом районе, мрачном и грязном, застроенном кирпичными двух-трехэтажными домами. Никогда в жизни Колька не бывал в таких районах и даже не подозревал, что они существуют в Нью-Москве. Он ощупывает карманы джинсов — они совершенно пусты: ни дайма, ни цента, ни «ломоноса». Ему становится совсем плохо — и не потому, что потерял деньги, а потому, что оказался неизвестно где и, как попасть домой, не знает, а дома, наверное, мечется мать, давно приготовившая вкусный ужин, и звонит в милицию, и в полицию, и в больницу, и в морги, а он стоит здесь, неизвестно где, хоть и совершенно обокраденный, но живой и здоровый, только сильно болит голова и почему-то все время хочется плакать.

И в это время из-за угла выходят три здоровенных негра.

— Лук, — говорит один из них, — малек.

— У-упс, — говорит второй, — рили малек.

— Уэлл, — говорит третий, — малек хотеть попки-жопки?

И тут вся злость, и вся обида этого столь прекрасно начавшегося дня, и жалость к матери, и неизвестно откуда взявшаяся тоска по покойному отцу прорываются в Кольке, как гнойный нарыв, и он визгливо кричит:

— А пошли вы на ... , факермазеры, жиды черномазые!!!

И прежде чем мотоциклетная цепь вышибает из него последние мысли, он — совершенно неожиданно для себя — успевает пропеть в голове: «Хеппи бирсдей ту ю-у-у-у... Хеппи бирсдей ту ю-у-у-у-у...»

Хоронили Кольку через два дня. Похороны были очень тяжелые, но и дешевые. Кооперативная погребальная контора взяла с почерневшей матери всего полтора миллиона рублей плюс десять долларов — просто так — без «настоящих денег» ведь сейчас вообще ничего не делается...

Владимир БАТШЕВ:

# «Я никогда не любил ни советских писателей, ни советских людей»

Мой собеседник — представитель издательства «Посев» в Москве писатель Владимир Батшев. Не думаю, что его имя говорит что-то широкому читателю. Однако историкам литературы известно, что Владимир Семенович Батшев еще в 1965 году был одним из организаторов и руководителей первого независимого литературного общества СМОГ («Самое молодое общество гениев» или «Смелость, мысль, образ, глубина»), за что в апреле 1966 года был приговорен к 5 годам ссылки. На место его привезли в день, когда Батшеву исполнилось 19 лет.

После возвращения из ссылки, не имея возможности печатать свои стихи и прозу, он спрятался за псевдоним и опубликовал в отечественной печати три сотни юмористических рассказов и фельетонов. Закончил сценарный факультет ВГИКа, по его сценариям поставлено несколько фильмов, а по пьесам — спектаклей и радиопостановок.

Но до сих пор в СССР у Владимира Батшева не издано ни строчки оригинальной прозы; всего лишь 6 стихотворений появились в малотиражных газетах. Что нельзя сказать о русском зарубежье: он печатался в «Континенте», «Гранях», «Сталкере», «Посеве», «Панораме».

Он автор романов «Записки тунейдца», «Хроника дня «Z», «Я жгу Москву», «Ничтожность», фантастических повестей и триллеров.

Ничего из всего этого не опубликовано на Родине...

— Знаете, давайте отставим слово — родина. Не на родине, а в России. Я пишу на русском языке, и публиковаться, по идее, я должен, в первую очередь, в России. Но получается, что здесь меня будут печатать — если еще будут! — в последнюю.

— По моим подсчетам, с сентября 1989 года, когда вы заявили о создании Московского представительства издательства «Посев», вы дали 16 интервью.

— Я их дал больше, но свет увидели шестнадцать. Думаю, что люди читают прессу и помнят такое выходящее из рамок событие...

— Вы иронизируете, а событие, действительно, незаурядное.

*Сколько лет НТС и «Посев» были синонимами и антисоветизма, и антикоммунизма! За связь с ними людей сажали в лагеря, тюрьмы, психушки.*

— А что вы хотите, если за книгу Авторханова, изданную «Посевом», сразу давали семь лет без разговоров? Но ведь кроме «Технологии власти» в издательстве выходили и «Мастер и Маргарита» Булгакова, и «Поле» Леонида Зурова, и трехтомная переписка Буниных, и «Трагедия свободы — современный вариант» Сергея Левицкого. И все равно все это оценивалось однозначно — антисоветчина, ибо КГБ никогда не интересовало содержание, его интересовала форма — есть земной шар с буквой «П» (фирменный знак издательства) —

крамола, изымать, уничтожать, владельца — сажать.

— Раз уж разговор зашел о НТС, то правда ли, что НТС «выжил» Георгий Владимов с места главного редактора журнала «Грани»?

— Никакого ПОЛИТИЧЕСКОГО конфликта у НТС с Владимовым не было (достаточно посмотреть десять отредактированных им номеров журнала). Владимов издал в «Посеве» ВСЕ им написанное, и не один раз, даже «Большую руду» (на мой взгляд, самую слабую свою вещь), «Верный Руслан» был издан 6 раз, «Не обращайтесь внимания, маэстро» — 2 раза. И это кроме издания в «Гранях» и переводов на иностранные языки. Был издан и его замечательный роман «Три минуты



молчания» — без цензурных изъятий, в отличие от советского издания. Конфликт с Владимовым имел чисто человеческий характер. А он, простите за каламбур, у Владимова — плохой. Я не знаком с ним лично, но я хорошо знаю «Посев» и НТС, я верю своим товарищам по Народно-Трудовому Союзу и не верю Владимову. К тому же, судя по высказываниям Владимова, он был и остался советским человеком, «совком», как говорит нынешняя молодежь. Меня буквально поразило его прошлогоднее заявление в «Московских новостях» по поводу возвращения гражданства 24 несправедливо лишенным его. Почему же только 24? А остальные сотни тысяч — черная кость, не достойные амнистии и ре-

билитации? Выходит, Владимов — корифей, а они — углы от бани? Значит, тому мальчику, который в ледяной воде плыл к норвежскому берегу, чтобы обрести Свободу, гражданство возвращать не надо? А как быть с теми, умершими на чужбине, не менее талантливыми, чем Владимов, писателями, которые боролись с ненавистным режимом единственным возможным способом — своим побегом из Страны Недоразвитого Социализма. Для меня Владимов — типично советский человек, типичный советский писатель. А я никогда не любил ни советских писателей, ни советских людей. Я никогда не был советским писателем и советским человеком. И никогда не буду ни тем, ни другим.

Мои друзья всегда принадлежали к выродкам (по терминологии Стругацких) — к тем, кто не вписывался в систему.

**— Погодите. Если вы не вписывались в систему, то как объяснить ваше выдвижение кандидатом в народные депутаты Моссовета?**

— Никакого противоречия нет. Весной прошлого года казалось, что власть из рук коммунистов упала, достаточно нагнуть, чтобы поднять ее. Поднять могла единственная структура — Советы. Потому на повторных выборах в Моссовет, осенью, я баллотировался. Баллотировался как независимый кандидат (НТС не зарегистрирована как политическая организация), но в предвы-

борных листовках не скрывал, что являюсь членом Народно-Трудового Союза. За меня подали 23% голосов — на моем участке больше всех. Но не набралось 51%. В результате в Моссовет я не прошел. Понятно почему — народ устал голосовать. И дело не во мне конкретно — дело в общей обстановке, которая сложилась осенью прошлого года — реакция переходила в наступление. Коммунисты не вылезли из окопов — просто они в них и не спускались. Они отошли за угол и переждали, пока мимо просвистит рой демократических пуль...

— *И вы, разочаровавшись в политической деятельности, снова вернулись к литературной и издательской?*

— Я ее никогда не прекращал. Ни ту, ни другую. Много лет я провел в подполье. Буковский двадцать лет назад сказал мне: подожди, твое время придет. Вот мне и показалось, что оно пришло.

— *Значит ли это, что политическая линия доминирует в вашем творчестве? Ведь если вы так много времени отдаете политической деятельности, то политические страсти неизбежно оказывают влияние и на творчество.*

— Ну, разумеется, нельзя быть у воды и не напиться! Мы не можем пройти мимо политических страстей — тем или иным боком они нас касаются. И сегодня КГБ продолжает клеветать на НТС. Притом если раньше обвиняли в связях с нацистами во время войны или с ЦРУ после войны, то теперь обвиняют в связях с... КГБ... Кстате, на страницах журнала «Столица» З.А. Крахмальникова заявила об этом в своей статье. На чем основано утверждение? На интервью Ю.Щекочихина в «Литгазете» с полковником КГБ в отставке Карповичем. Но там же сплошное вранье Карповича (я-то знал, КАК он был разоблачен, я знаю человека, КОТОРЫЙ его разоблачил, я-то знаю, что Карповича 7 лет водили за нос, — об этом были большие публикации с фотографиями засвеченных кагэбэшников в «Монд» и в «Посеве» еще в 1982 году). Почему же г-жа Крахмальникова кидает свой камень в НТС? Разве не «Посев» издавал ее сборники «Надежды», разве не «Посев» на страницах своих журналов писал о судьбе писательницы и ее мужа? Я не знаю, что не поделила она с НТС, но зачем же бросать грязь в тот источник, из которого сам пил?

— *Многих интересует вопрос с подпиской на «Грани». Люди подписались, а многие получили только один номер.*

— Ну, во-первых, почему вы этот вопрос задаете мне? Распространением журнала в СССР и подпиской на него занимается кооператив «Дедал». Все претензии к нему. Но заранее скажу — им чрезвычайно трудно — кооператив «за связью с «Посевом», а значит, и с антисоветской организацией НТС, подвергся тяжелейшим репрессиям. И кооператив, как, впрочем, и представительство «Посева», оказался в блокаде.

— *Что значит «блокада» и как может такое быть сегодня, на 7-м году перестройки?*

— Сегодня эта блокада не то чтобы ослабла, а стала сильнее, жестче, подлее. В январе «Посев» и «Дедал», с одной стороны, и издательство «Прометей» — с другой, заключили договор о печатании 4 номеров «Грани». «Прометей» не выполнил заказа, хотя мы доставили из Германии даже картон для обложки. С января по сентябрь он печатал... один первый номер (№ 155!) журнала!

— *Может, типографские сложности?*

— Когда директор типографии отказывается печатать «Грани», заявляя, что «антисоветский журнал он печатать не будет», — это политические, а не типографские сложности.

— *Есть ли успехи на советском книжном рынке у «Посева»?*

— Если иметь в виду продажу прав, то есть. Издан Незнанский, «Ярмарка в Сокольниках» и «Операция Фауст» — они выходят отдельными изданиями. Вышел огромным тиражом «Журналист для Брежнева» Незнанского и Тополя. Правда, оформление книг — дерьмовое. Вышло «Благосостояние для всех» Людвиг Эрхарда. В журналах напечатаны вещи, ранее опубликованные в «Гранях» или вышедшие отдельными изданиями, — почти весь Л.Бородин, «Чонкин» Войновича, «Наследство» Кормера, «Мои показания» А.Марченко, «Крутой маршрут» Е.Гинзбург, «Верный Руслан» и «Не обращайтесь внимания, маэстро» Владимова, собрание сочинений В.Е. Максимова, произведения Лосского, Федотова, Франка, «Вехи», фрагменты из «Загадки смерти Сталина» Авторханова, стихи Коржавина, Елагина... Но сколько еще не издано! Сколько имен, сколько замечательных произведений еще не дошло до читателя! Тарсис, Анатолий Кузнецов, Ржевский, Сергей Максимов, Николай Боков, Евгений Кушев, поэты СМОГА.

— *Ваше положение как редактора, издателя и представителя «По-*

*сева» — тяжелое. Может, как автору вам стало легче?*

— С чего бы мне стало легче? Вся та сволочь, что сидела в редакциях и издательствах при Брежневом и Андропове, — сидит и при Горбачеве. Кого не печатали — не печатают и сейчас. Смогли вскочить в литературный трамвай те, кто «прославился» скандалом или эмиграцией. Среди них — большинство хороших писателей, некоторые абсолютно новые для советской публики (но не для русского зарубежья) — Карачивевский, Розинер, Кублановский, тот же Саша Соколов! — но большинство талантов осталось ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ.

— *Каков ваш взгляд на нынешний литературный процесс?*

— Пессимистический. Его нет. Есть процесс политический — наступление национал-коммунистической диктатуры. А литературного — нет. Господство посредственностей, литературных лимитчиков, время болота. Общий фон — серый.

— *Есть ли надежды, на ваш взгляд, на какие-то изменения к лучшему в нашей литературной действительности. Трудно, медленно, но идет все же борьба с большевизмом. Вот Ельцин все-таки стал президентом России...*

— Кто вам сказал, что литература от этого будет лучше? До каких пор литература у нас будет зависеть от вкусов политической конъюнктуры? А для меня что Ельцин, что Горбачев — одна коммунистическая шантрапа!

А с коммунистами разговор может быть только один — на скамье подсудимых. Пока в той или иной форме коммунисты находятся у власти (красные ли они, розовые или коричневые), перестроившиеся или неперестроившиеся, вышедшие из компартии или не вышедшие, — они остаются коммунистами. Они никогда не откажутся от власти, как бы мы их ни разоблачали и ни критиковали. И мирно они никогда не уйдут. Ибо Россия, к сожалению, не Восточная Европа.

Вел беседу Евгений ДАНИЛОВ



# КАРУСЕЛЬ

**Антанас ШКЕМА** — литовский писатель, который начал печататься в 20-е годы. В 1944 году эмигрировал на Запад. Обосновался в Америке, работал лифтером. В 1961 году погиб в автомобильной катастрофе. Первые на русском языке повесть А.Шкемы «Солнечные дни», посвященная трагическим коллизиям гражданской войны, появится в журнале «Искусство кино» в начале 1992 года. «Карусель» — глава из этой повести.

- Я проткну живот, и кишки вывалятся наружу.
- Ты дурак! Надо выколочить глаза.
- Я вырву язык и вколочу его в лоб.
- Ты дурак! Прежде всего глаза надо выколочить.
- Почему?
- Эта сволочь ослепнет. Тогда и протыкай слепому живот.

Двор большой, грязный и солнечный. Двор городской. Ростов-на-Дону. Обшарпанные двухэтажные дома образуют неправильный квадрат... По углам жмутся уборные-развалюхи, собачьи конуры. В окнах мелькают разноцветные тряпки, выпростались на солнышке, проветриваются, сохнут. Лоскутные одеяла, напоминающие изуродованные шахматные доски, вишневые подушки, загаженные детьми, свисают облезлые ковры и экзотические национальные флаги. Посреди двора вырыта огромная яма, где крупный гравий перемешан с картофельными очистками, пережженным углем и прочим мусором. Прямо на краю ямы растет скрюченная груша — эдакий рахит, ствол кривой, горбатый, веточки тонкие, бессильные, несмело пустившие чахлую листву да еще впридачу несколько розовых пугливых цветков. Эту грушу в припадке ностальгии посадил вечно пьяный дворник Степан. Родился он в деревне, где много садов. У жителей вызывает смех всякий его приступ нежности, когда он обнимает грушу, словно женщину. Степан в прошлом году лишился жены. Она сбежала с мороженым.

На дне ямы стоят Сашка и Митька. Сашка — девятилетний худой пацан, зеленоглазый, в перешитом из материнского пальто размахает. Зубы у него кривые, торчат во все стороны. При разговоре он гордо шмыгает носом. Митька — краснощекий пузан, равнодушный ко всей этой грязи во дворе. Слова он для пущей солидности цедит сквозь зубы, вместо носа две ноздри. Они стоят друг против друга и пытаются разрешить трудную задачу. Что бы они стали делать с взятым в плен белогвардейцем? Отцы Сашки и Митьки сражаются на стороне красных. Иногда они приходят домой. Ребятишки наслушались кровавых историй и теперь живут ими на дне ямы. Тут же на краю стоит Мартинукас, долговязый, интеллигентный мальчик, с узким подбородком, большими темными глазами (от матери он унаследовал легкую раскосость) и прямым отцовским носом. Волосы у него светлые, толстые губы приоткрыты от любопытства. Кажется, что этот мальчик постоянно о чем-то допытывается и не находит ответа. Его можно было бы назвать красивым, если бы не бесформенные и не бесцветные губы.

Запрокинув голову, он смотрит на солнце. Впервые после болезни. Его синий матросский костюмчик без единого пятнышка, ботинки начищены ваксой, горло обмотано маминым платком. Мартинукасу жарко, у него немного кружится голова. Он неуклюже разворачивает

тса и бредет к собачьей будке. Интересно, рецепт на пузырьке с лекарством и вправду похож на собачий язык?

— Эй ты, католик, подожди, — кричит ему вслед Сашка (здесь поляков и литовцев называют католиками).

— Вон Митька говорит, сначала глаза надо выколочить. А ты как считаешь?

— Не знаю, — шепелявит Мартинукас.

— Не знаешь?! Слышь, Митька, он не знает. Да ты вообще хоть что-нибудь знаешь, несчастный лопух! — орет взбешенный Сашка.

— По уху ему съездить, кулаку этому, — предлагает Митька.

Мартинукас бежит под навес и забивается в угол. Сгнившие доски приятно пахнут сыростью, на пустых ящиках копошатся тощие куры. Мартинукас садится на корточки, водит пальцем по земле и размышляет. Ему приходит в голову, что дома, окна, яма, уборные вроде заново перекрашены и что мать у него очень-очень хорошая, темноглазая, а летящий ангел в толстой книге наводит ужас; и что бы из этого вышло, если бы кот Васька сцепился с Барбосом, псом сторожа? Мартинукасу слышно, как спорят Сашка с Митькой, как на втором этаже соседская прислуга Настя поет о разбитом сердце, о любви, а тут же рядом с навесом, на солнце, чирикают воробы.

По ослепительно голубому небу проплывают облака; когда он вырастет, станет большим, наденет блестящий костюм пожарного, придет к матери и Насте, на повозке у него будет длинная пожарная лестница, он взберется по ней наверх, к Насте в окно, и попросит ее потрепать его по щеке, потом посадит Настю с матерью в пожарную повозку, запряженную четверкой лошадей, отвезет их обеих к реке, и они будут громко хохотать, станут все втроем есть филипповские пирожки с яблочным пюре и петь про королевича, победившего глупого и злого великана; плывут по небу облака, чирикают воробы, а Настя поет.

Мартинукас выбирается из-под навеса и кричит:

— Настя! Настя!

— Чего тебе, замарашка? — посверкивает белыми зубами Настя.

— А сердце от любви разбивается? — кричит Мартинукас.

Настя перевешивается через подоконник.

— Всегда-всегда, — почему-то печально отзывается она.

— А у тебя с сердцем в порядке, да, Настя? — весело спрашивает Мартинукас и удивляется, отчего это Настя быстро исчезает в окне. Тогда он направляется к псине сторожа, то и дело оглядываясь на ходу.

В окне пусто. Во дворе скучно.

Во дворе горланят дети. «В Курилкин переулоч! Там — повешенные! Скорей в Курилкин переулоч!» Обтрепанная орава несется к воротам; размахивая руками и подпрыгивая, первым мчится во весь дух Сашка. Мартинукас забыл, что мама запретила ему выходить со двора, он тоже бежит к воротам, охваченный какой-то дикой радостью, ведь так давно он не бегал по улице!

На улице чище, чем во дворе. Пронесется мимо серые двухэтажные дома, маленькие топольки с клейкой весенней листвой, точно ее опрыскали влагой, под ногами будто вылизанный асфальт мостовой, а перед глазами мелькает разноцветное тряпье детворы. Множество ног топчет Садовую улицу, тоненько позвякивают безликие





Рис. К. Рыбалко

оконные стекла, и мощный крик взмывает в небо — голубое и глубокое.

Вот и Курилкин переулок. Здесь нет тротуаров, узкая улочка петляет среди грязных домов, а по правой стороне протянулась вереница фонарей, которые исчезают за поворотом. Поначалу Мартинукас никак не может сообразить, что же тут происходит. Ребята окружили первый попавшийся фонарь, щебечут, точно птицы, которым бросают корм. Потом устремляются дальше, и этот фонарь остается в одиночестве, всеми заброшенный, а на фонаре раскачивается человек. Мартинукас видит босые, чистые ноги. Ногти аккуратно подстрижены, а цвет кожи — желтый. Мартинукас задирает голову. Икры и бедра этого человека обтянуты «галифе» с красными лампасами. Белый мундир забрызган кровью, а выше, вокруг шеи висельника, обмотана грязная веревка. Теперь Мартинукас внимательно изучает лицо повешенного. Видит белки глаз, слипшуюся прядь волос, упавшую на лоб, и — что удивительно — фиолетовый язык вывалился изо рта и почти достает до подбородка. Вверху над головой висельника — лампа фонаря. Стекла давным-давно разбиты, и фитиль от керосиновой лампы, свесившись через край, легонько раскачивается, и человек тоже тихо раскачивается, и правая рука его ударяется о штаны «галифе», Мартинукас слышит в тиши пустой улочки этот слабый глухой звук, и тут он замечает, что на руке не хватает безымянного пальца и цвет обрубка такой же, как у торчащего языка. Мартинукас резко отворачивается от повешенного, хотя и чувствует внутри непонятное любопытство. Прямо перед ним вывеска парикмахерской. Лицо мужчины на вывеске точно такого же цвета, как у повешенного. Мартинукасу еще сильнее хочется обернуться. Действительно ли цвет лица у них одинаковый? Он оборачивается и слышит, как стучит у него сердце...

И... устремляется со всех ног прочь, туда, где раздается заливистый смех ребят.

Ребята окружили фонарный столб, гомонят от возбуждения, а громче всех ликует зеленоглазый Сашка.

— Ну-ка, крутанем еще разок, во какая карусель, правда, ребя? — заходится он в крике, настоящий заводила, желание которого — закон.

— Крути его вправо!

— Только надо покрепче стянуть.

— Ночью здорово было бы! Прицепили бы к ремню Степанову копилку, пускай светит себе. Здорово...

Митька расфантазировался, да никто его не слушает. Несколько худеньких, грязных рук ухватились за ноги висельника и давай раскручивать тело вправо, вправо. На висках вздуваются вены, но ручонки все раскручивают и раскручивают в ожидании нового Сашкиного приказа.

— Отпускай! — наконец пронзительно кричит Сашка, ребята отбегают, и тело начинает вращаться в обратную сторону, точно волчок, отчего даже рябит в глазах, все хлопают в ладоши, и всем страшно весело.

Рядом с Мартинукасом стоит пятилетняя худенькая девчушка. Она увлеченно ковыряет в носу. Ее невинные глазки блестят. В них — любопытство и уважение к старшим. Она толкает Мартинукаса локтем в бок и спрашивает:

— А тебе разве не хочется?

Их взгляды встречаются, у обоих на щеках выступает румянец. И когда ребята снова повторяют эту забаву, Мартинукас успевает ухватить висельника за локоть и за большой палец на ноге, теперь он тоже раскручивает тело вправо и еще раз вправо.

— А я не боюсь, мне весело, очень-очень весело! — кричит он, обернувшись к худенькой девчушке, и у него, как и у других ребят, вздуваются на висках вены.

Перевод  
Наталии ВОРОБЬЕВОЙ

Наталья ИВАНОВА



# КЛЮЧ В ЦВЕТАХ

Знаете ли вы, что такое «чайник»? Нет, вовсе не дефицитный нынче, как и вся остальная посуда, предмет для кипячения воды я имею в виду. На сленге литературных редакций «чайник» — это назойливый графоман, пытающийся всучить для публикации свой очередной шедевр. «Чайника» можно определить иногда заочно — по облику рукописи: она тщательно переплетена, имя автора вытеснено золотом по коже — и будьте уверены, что имеете дело с «чайником». Если в указанном обратном адресе перед фамилией автора стоит гордое звание «писатель» — не сомневайтесь в принадлежности их автора к этой славной категории.

«Чайники» вошли не только в редакционный сленг, но и в редакционный фольклор. Из поколения в поколение сотрудниками передавались строки из «чайничкой» поэмы о ходоках, что пришли жаловаться на свое паскудное начальство в мавзолей, к Ленину. Поэма была выполнена в жанре загробной фантастики:

*Встал Ильич, развел руками:  
Что же делать с мудаками?*

И хотя последнее относилось в поэме к начальству, журналисты, естественно, переносили это и на авторов подобных опусов.

Среди «чайников» было много бродячих между редакциями, но были и «свои». Прекрасно осведомленные о внутриведомственных кадровых переменных и назначениях, они загодя располагались у комнат

сотрудников-новичков — с твердым намерением уж теперь-то найти понимающую душу и ухватить редакционную жар-птицу за пышный хвост.

Приходили «чайники» и ко мне — особенно в отдел поэзии. Однажды, под конец рабочего дня, «чайник», мстящий за очередной отказ, запер дверь кабинета снаружи и сопроводил свои действия таинственными словами, сказанными в форточку (редакция располагалась на первом этаже): «Ключ в цветах».

Ключ обнаружила спустя несколько часов уборщица — он мирно лежал в горшке с кособоким фикусом.

«Чайники» делятся на добродушных и агрессивных. Добродушные мучат своей назойливостью, агрессивные доходят до суда за категорично сказанное «нет». Ибо журнал, как и искусство в целом (так им внушили), и должен прежде всего обслуживать их интересы. В своем праве представлять от «народа» они никогда не сомневались.

Бывают «чайники» и вполне бескорыстные.

Самый замечательный из них был встречен мною прекрасным сентябрьским днем на побережье Кавказа, в одной из деревень неподалеку от Пицунды. Мы с друзьями купили в одном из подворий домашнее вино и сыр, а потом решили незамедлительно устроить пир под лозой «изабеллы». И уже через час хозяин, взойдя на возвышенное место, дек-

ламиривал стихи собственного, как и сыр, и вино, изготовления: «Девочка моя! Хочу тебя!».

Не стоит обижать — и обижаться на этих людей. Ведь рядом с ними существует несравненно более могучий, сплоченный отряд «чайников»-профессионалов, членов СП (расшифровывается не как «совместное предприятие», а как «Союз писателей»). Есть такая игра: открываете справочник Союза писателей и гадаете — знаете ли вы такого-то? Выигрывает тот, кто знает. Как правило, большинство имен никому не знакомо. Отсюда родилось общее фольклорное наименование: Пупкин, писатель.

По всесоюзной переписи, регулярно проводимой отделом кадров (есть в СП такой отдел, и «первый» отдел, т.е. КГБ, тоже есть), армия Пупкиных насчитывает несколько тысяч.

И они, Пупкины, уже с полной уверенностью считали себя не гостями, а хозяевами литературных изданий. Именно поэтому они столь болезненноотреагировали на объявление журналами независимости, а первый среди них — секретарь СП В.Карпов — подал на строитивое «Знамя» в суд. Писатель, не желающий независимости журнала? — Знай свое место! ИМ было «положено»: том сочинений — к 40-летию; «Избранное» (оплачивалось как новинка!) — к 50-летию; собрание сочинений (в крайнем случае, трехтомник) — к 60-летию... Пупкины-критики (один из них, изображен-

ный В.Аксеновым в «Изюме» — гримм «Метрополь», — до сих пор занимает пост главы единственного в стране Института мировой литературы) навывисали своих монографий о соцреализме столько, что ими по сей день, и с выгодой, можно торговать по весу затраченной бумаги.

Еще им были «положены» награды: «Увы, я уже не смогу рассказать маме о том, — печалится один из секретарей, — что мой труд отмечен орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, званиями лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, премии Ленинского комсомола... О том, что я... избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР...» Это печалится А.Алексин. Ведь до какого искажения могло дойти нормальное нравственное чувство, если не о безвременной кончине матери скорбит сердце сына, а о том, что она не узнает о полученных им двух(!) орденах Трудового Красного Знамени!

С.Викулов делится опытом не только биографическим, но и поэтическим: «Я запомнил это выражение — строгать рифму. Со временем оно стало для меня синонимом упорства в работе над строкой... и что особенно важно — совестливости». А бывший первый секретарь, В.Карпов, гордо перечисляет в своей творческой автобиографии страны, «в которых мне довелось (! — **НИ.**) побывать только за последние годы: США, Англия, Франция, Испания, Афганистан, Греция, Турция, Египет, Иран, Кения, Танзания, Тунис, Индия, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Мексика, Аргентина, Корея, Израиль, Япония, все социалистические страны и многие другие государства». Особенно я радуюсь за танзанийцев, успевших пообщаться накоротке с выдающимся писателем современности, а также за шотландцев, умудрившихся вручить ему почетную степень доктора(!) литературы за литературоведческое сочинение, подозрительно напоминающее статью литературоведа-редактора, работавшего в журнале, опубликовавшем сочинение В.Карпова.

Вообще память у ответственных писателей (лауреатов и проч.) устроена по-особому, так сказать, художественно, иначе, чем у других. Память у них избирательная — помнят то, что выгодно. Например,

Л.Ошанин из 1958 года вспоминает (в марте 1987-го, когда писал свою творческую автобиографию), что он в тот год «попал на Енисей», а дальше прямо переходит к «результативным» зарубежным поездкам. А составителю тома «Советские писатели» С.Колову нет чтобы напомнить Льву Ивановичу, что в незабываемом 1958-м он выступил на собрании московских писателей с яркой и пламенной речью, где клеймил Пастернака «законченным образцом космополита», «внутренним эмигрантом», «настоящим иезуитом», человеком, который «всадил нам нож в спину» и недостоин быть советским гражданином. То, что у него, у Ошанина, вышло более шестидесяти(!) книг, он прекрасно помнит, помнит даже, что у него в семинаре учились «туркмен Италмаз Нуриев, молдаванка Нина Жосу, балкарец Муталип Беппаев, татарин Разиль Валеев», не говоря уж о «русских поэтах» Д.Блынском, В.Киктенко и М.Гаврюшине. А вот о Борисе Пастернаке — забыл.

Но я все равно радуюсь вместе с нашими ответписателями: как, однако, много они успели за свою творческую жизнь. Вот Е.Долматовский, награжденный орденом еще в 1939 году (это он тоже отлично помнит), почему-то забывает о своем вкладе в борьбу с космополитизмом, зато прекрасно вспоминает о другом: «Начиная с 1953 года я участвую в зарубежных конгрессах и конференциях сторонников мира, много двигаюсь по земному шару... я побывал почти во всех странах Европы, во многих странах Африки, Азии, в Северной и Латинской Америке». Радуюсь я и за И.Падерина, сообщаящего взволнованным читателям, что он «родился в бане из кедровых бревен» и считает себя «в строю идеологических бойцов в армии». Но это все, продолжая армейскую ноту, генералы армии Пупкиных. Что же до них самих, то их поведение тоже отмечается определенными типологически узнаваемыми чертами.

Например, их вежливость четко ориентирована на занимаемую тем или иным сотрудником редакции должность. Когда я работала в отделе поэзии, члены СП, «строгающие рифму», здоровались со мной как родные, а при случае норовили вернуть комплимент моим критическим работам.

Потом я перешла работать в отдел прозы того же журнала.

Половина из «строгачей» вообще перестала узнавать меня в лицо. Вторая половина, памятуя о критике, все-таки изредка удостоивала меня слабого кивка. Зато немедленно «узнали» меня прозаики. Оказываются, они и раньше ценили мой вкус, только стеснялись об этом сказать. Из хлынувших на меня книг с дарственными надписями смело можно было открывать новую библиотеку в очередном родном селе.

Проработав несколько лет в отделе прозы, я вернулась в отдел поэзии. И что же вы думаете? «Чайники»-профессионалы припомнили меня и появились на следующей неделе. В качестве «вещдоков» любви и верности принесли стихи с посвящением, которые исключительно из-за собственной сдержанности они столько лет от меня скрывали.

В те же годы крепчала графомания государственная, на восвание которой столько финской роскошной глянцевой бумаги потратили, после «Нового мира», издательства, а столько энергии — писательские секретари, в том числе и недавно почивший Г.Марков, лично прослезившийся (вместе с Э.Межелайтисом) при вручении Ленинской премии по литературе тов.Брежневу Л.И. (видимо, это и был его тяжкий «крест», взваленный им добровольно на плечи, — именно о «кресте» сказано в потрясшем меня некрологе «Известий». А может, «крестом» были гонения на Солженицына, Владимирова, Максимова? Кто их, сочинителей подобных некрологов, разберет...). Но государственная графомания, зуд литературный, проснувшийся у властей, не сводился только к эпосу. В часы отдохновения от тяжких государственных забот расцвела лирика. Высоким мужам хотелось предстать и людьми, которые «строгать» умеют.

Так как с имиджем, то бишь со стилем личности, обстояло плохо, то напрокат брались известные авторские клише. Ну, скажем, «благородный друг»... Чем не имидж?.. «Друг не жаждет выгоды и лести. Друг и совесть неразлучны вместе. В непогоде, холоде, грозе» (поэт Осенев, псевдоним А.И.Лукьянова).

И вот случилось ужасное: «неразлучник»-друг сидит в тюрьме, ожидая суда по делу о ГКЧП. Нет, не бывшего председателя бывшего Верховного Совета бывшего СССР я имею в виду, а именно поэта. В конце концов Вийона даже повесили за уголовщину, отчего он не стал менее



знаменитым и менее прекрасным поэтом. Мораль и поэзия, увы, далеко не всегда едины. Меня интересует не уголовщина, а словесность.

Вверженный в узилище поэта многократно усиливает гражданственную направленность и передает на свободу новые стихи. Образ «верного друга» сменяет образ «поэта-гражданина». Уровень стихотворчества, правда, остается все тем же: рифмы строятся по старому — «беды — борьбы», «увидать — сказать». Появляется и пылкая любовная лирика, направленная к неверной возлюбленной. Уж не Горбачев ли имеется в виду, думаю я, расшифровывая текст по Фрейду?

Одновременно с этими стихами графомана «верховного» появилось в газете «День» стихотворение В.Белова «Молитва»\*. О чем же молит Бога высокоодаренный (в прошлом) прозаик, по общественному совместительству член ЦК приостановленной КПСС? Вопрос о поэзии тем серьезней, что В.Белов на Чрезвычайном пленуме СП СССР уподобил себя А.С.Пушкину. Молит он о том, чтобы «уберечься» от «ихних» (то есть демократов?) «премий и наград». Да кто же ему их навязывает? За что и когда демократы возжаждали — вслед за ЦК — В.Белова наградить? Если только за «Все впереди»? Что же касается стиля, то у поэта В.Белова с поэтом А.Осеневым, оказывается,

много общего. Строгаются рифмы: «лесов — слов», «дня — меня». Рискну сказать, что стих у Осенева — энергичнее.

Итак, даже профессионал-литератор часто превращается в графомана, что же говорить об инженерах, врачах, рабочих? Наконец, критиках? Ведь все беды нынешнего «шефа» реакционного крыла Московского отделения СП РСФСР, критика В.Гусева, начались, по моему, с того, что он начал «баловаться» прозой... У Достоевского в «Бесах» среди прочих графоманов упорно сочиняет губернатор фон Лембке — а к каким ужасным итогам незаконная страсть к злокачественной графомании привела губернатора, знает всякий, прочитавший великий роман.

Организация «Союз советских писателей» насчитывает десять тысяч человек. Организация эта была задумана Сталиным в 1932 году в качестве принудительной коллективизации писателей, до той поры входивших в различные ассоциации и группы. Замышлена она была как аналог компартии, с аналогичной централизованно-пирамидальной структурой. И со своей идеологией — «соцреализма» (впрочем, не стоит преувеличивать свободу и независимость предшествующих СП организаций. Еще в 1929 году Всероссийским СП развинулась кампания травли Б.Пильняка и Е.Замятина, выпустивших книги за рубежом, — травля точно такого же стиля, как и бу-

душие травли Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына. Но самое забавное состояло в том, что Замятин являлся председателем этого самого союза, однако в те времена руководителей еще не назначали, а выбирали). И недаром один из основных докладов — «установочных» — на первом съезде СП СССР делал член Политбюро РКП(б) Н.И.Бухарин.

Собранные в управляемую массу писатели должны были беспрекословно подчиняться решениям «избранной» писательской номенклатуры, кстати, пользовавшейся теми же благами и привилегиями, что и номенклатура партийная. А то и большими. Кроме этого, ряд писателей был объявлен живыми классиками и составил вместе с номенклатурой слой писательской элиты. Главным и определяющим для такого назначения был поставленный на службу режиму дар — правда, таивший по мере ретивости служения. Были и исключения, так сказать, живые вкрапления в эту структуру чистого таланта — например, Б.Пастернак. «Не трогайте этого небожителя», — по слухам, сказал о нем Сталин. Но не надо забывать, что Пастернак успел первым среди литераторов (в январе 1936 г.) восславить Сталина, воспел его в оде, опубликованной в газете «Известия», главным редактором которой был тогда Бухарин. Классики занимали (наряду с секретарями) дачиллы в Переделкино, получали отличные квартиры в Лаврушинском, ездили за границу, привозя западные автомобили (Б.Пильняк) и невиданные тогда в Москве холодильники (В.Катаев).

Режим ценил и баловал «своих» писателей, особенно — способных. Режим преследовал и убивал независимых — писателей. Итак, с 1934 года писатели поделились на писателей первого сорта (номенклатуру), второго сорта (актив, «приводной ремень») и сорта третьего (просто писатели). Первый съезд собрался в то время, когда был арестован Осип Мандельштам, но ничего для облегчения его участи, как и участи других арестованных писателей, сделано не было. Союз писателей с самого своего возникновения заявил себя как репрессивная и контролирующая организация, а слово «творчество» было фиговым листком, прикрывавшим его истинные

(Окончание на 40 стр.)

\* Литературный портрет В.Белова см. в статье М.Поздняева «В «поисках жанра»?» («Столица», № 36).





**Киев**

**БАБА — ИСТОЧНИК  
ВСЕХ БЕД**

В центре киевского мемориала Победы стоит огромная, чрезвычайно помпезная серебристая скульптура. Авторы окрестили ее «Родин-Матерью», а раздраженные горожане — «Брежневиной Лаврентьевной» (из-за близости к Киево-Печерской Лавре, а не из-за родства с Берией), «Клепаной матерью» и просто «Бабой».

С самого дня открытия мемориала преследуют Бабу жуткие слухи. Говорят, она плохо укреплена и вот-вот рухнет вниз с днепровской кручи, утверждают, будто скульптуру прокляли монахи за то, что вознеслась она выше куполов Лавры...

В конце концов статуей заинтересовались экстрасенсы. Известный биоэнергетик Альберт Игнатенко предполагает, что Бабу возвели крайне неудачно — как раз на пересечении геобиологической сети, покрывающей Землю, поэтому статуя, притягивая и накапливая отрицательную энергию, негативно влияет на здоровье людей. Меч скульптуры поднят выше куполов Киево-Печерской Лавры, что грубо нарушает законы высшей энергетики Космоса и Земли, поэтому до тех пор, пока Баба стоит на этом месте, Киев будут преследовать всевозможные несчастья.

Украинская ассоциация экстрасенсов, которую возглавляет Игнатенко, намерена в ближайшее вре-

мя при помощи биолокационных методов проверить достоверность этой гипотезы.

Ольга АНФИЛОВА

**Брянск — Казань**

**МЫ ШЛЕМ В КИТАЙ  
МАШИНЫ...**

Первая партия изделий Брянского автомобильного завода — десяток тягачей — отправлена в северо-восточную китайскую провинцию Гири. В ходе выполнения контракта каждый автозаводец, независимо от возраста, семейного положения и пола, получит не менее двух пар мужской обуви, двух пар детских кроссовок, двух мужских сорочек, двух женских джемперов, одну пару сапожек для девочки, одно банное полотенце и, что особенно радует, богато разрисованный цветочками и птичками термос. Вот такой «бартер».

Александр СТОКЛАСКА

**...А КИТАЙЦЫ НАМ —  
ВРАЧЕЙ**

В казанской республиканской клинической больнице приступила к работе бригада, состоящая из четырех специалистов Ляонинского института традиционной китайской медицины и одного переводчика. Пациенты велят валом на прием в «хозрасчетный участок», записываются уже на конец марта. А китайцы рады стараться: принимают по пятьдесят человек ежедневно. Причем в отличие от наших врачей они умеют не только бюллетени выписывать: в перечень услуг входят и иглорефлексотерапия, и экстрасенсорика, и мануальная терапия, и множество видов массажа.

Руководство больницы чрезвычайно довольны новыми работниками, планирует в будущем году отправить нескольких казанских врачей на переподготовку в Китай. Опыт тамошней традиционной медицины (экстрасенсорика и прочего) особенно полезен при отсутствии в советских аптеках вполне традиционных лекарств.

Ринат АХМЕТЗЯНОВ

**Углич — Туруханск**

**ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ  
ВПЕРЕДИ...**

Мы уже привыкли к тому, что работники общепита проявляют чудеса смекалки по части «стрижки» клиентов. Но работники угличского кафе «Дельфин», похоже, научились делать это виртуознее всех своих коллег. Причем вполне легально.

Естественно, человеку перед едой требуется помыть руки, а после еды, случается, сделать кое-что еще. Но вот тут-то и подстерегает посетителя кафе ловушка: железная «вертушка» и при ней дородная барышня, требующая расстаться с двадцатью копейками за право пользования «заведением». Кафе обслуживает в основном туристов, приезжающих в Углич на автобусах, так что дополнительный «навар» у «дельфинцев» отнюдь не маленький. Стоит ли говорить, что новая «услуга» никак не отразилась ни на качестве, ни на цене предлагаемых блюд.

Сергей КИСЕЛЕВ



**...ПРИВОДИТ К  
ПЕЧАЛЬНЫМ  
РЕЗУЛЬТАТАМ**

Но и это еще не показатель того, насколько широко простирает «туалетная» коммерция руки свои в дела человеческие. Директор одной из туруханских средних школ (Красноярский край) решил, что во введенном ему учебном заведении туа-

лет должен быть исключительно платным. Причем в данном случае — не корысти ради, а токмо в воспитательных целях. Чтобы сбежавшие с уроков не скрывались от учителей в означенном помещении, чтобы не курили там, не пачкали стены, не ломали дефицитную сантехнику.

Платный туалет, впрочем, большой популярностью в среде учеников той школы не пользуется. Чем облегчат свой кошелек на двадцать, а то и на сорок копеек в день, не лучше ли избавляться от «излишков», пусть с меньшим комфортом, зато бесплатно?..

Экологическая обстановка на пришкольном участке в связи с этим приближается к кризисной.

Борис ЯРОВ



## Нижний Новгород

### ПАССАЖИРЫ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ

Самолет, следовавший из Барнаула в Москву (борт 108), произвел вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за нелетной погоды. Это было рано утром.

Ровно в полдень оказалось, что ряды терпеливо ждущих пассажиров несколько поредели: пятидесятишестилетний Виктор Р. скончался от сердечной недостаточности прямо в салоне лайнера. Через несколько минут после выноса тела из самолета был объявлен взлет, и тут обнаружили отсутствие еще одного гражданина. Времени на по-

иски не было, и в столицу пришлось лететь без него.

Чуть позже труп исчезнувшего пассажира со следами насильственной смерти был найден на территории промтоварного рынка (баракхолки) Ленинского района. Каким образом убитый оказался за пределами аэропорта — загадка: в ожидании летной погоды никого из пассажиров не выпускали даже из самолета. Полтергейст?

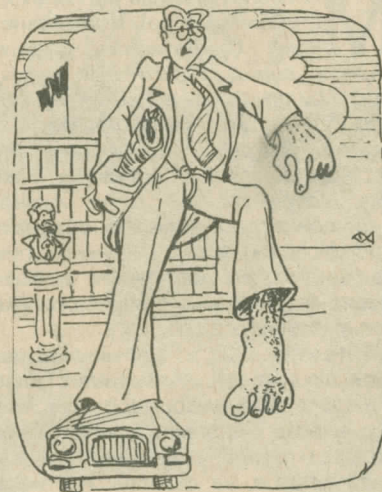
В.М.

## Москва

### МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ АНЕКДОТЫ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!

«Вообще-то в Москве хоть шаром покати, но В ПРИНЦИПЕ достать можно что угодно», — сказали приехавшему в столицу провинциалу. И тот отправился разыскивать магазин под соответствующей вывеской. Этот анекдот — с бородой. Когда его сочиняли, в принципе действительно можно было купить многое. Теперь все не так. В принципе ничего нет, зато в Тушинском районе Москвы открылся комиссионно-коммерческий магазин под названием «Принцип». В «Принципе» действительно есть практически все. Но о-очень дорого.

В.ЧАПЛЫГИН



## Рязань

### И КАКОЙ ЖЕ БОЛЬШЕВИК НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?

В одном из выпусков «Осколков» («Столица», № 39) мы рассказали о самоотверженном бывшем заведующем идеологическим отделом бывшего обкома КП РСФСР Анатолии Чистотине. Сей пламенный большевик заявил, что продаст свою фирменную джинсовую куртку ради того, чтоб выкупить у местных властей выдворенный из здания обкома бюст В.И.Ленина...

Замечательный человек Анатолий Васильевич! Не жалеет ни себя, ни своей личной «Таврии», гоняет по

всей области автомобиль, с народом общается. Видно, очень уж износилась в этих поездках машина, купленная в прошлом году (по государственной цене), раз возникла необходимость пересечь на новую... Нет, сам Анатолий Васильевич слишком скромн, чтобы что-то просить, «пробивать» и пр. И вот летит в областной Совет ходатайство от депутатов Сасовского райсовета (именно в этом районе Чистотин избирался в депутаты облсовета, именно там его любят и ценят, как нигде): просим продать Анатолию Васильевичу вне очереди и по той же госцене еще одну машину — «Ниву» — «для выполнения депутатских обязанностей»...

Прощение не дошло до адресата. Каким-то ветром занесло документ в здание обкома партии. А тут, как назло, явились лжедемократы и всю партсобственность, до последней бумажки, опечатали.

Нутром почуяли сасовские депутаты (именно нутром — не мог же в самом деле бессребреник Чистотин им «сигнализировать») — что-то случилось с их челобитной. И отписали новую — еще краше и убедительней.

Нет ответа. Черствые бюрократы в облсовете злодейски отказываются рассматривать прошение.

Андрей КУЗНЕЦОВ

Осколки собирал Кирилл РЫБАК  
Наш телефон 921-52-78  
Рисовал К.Рыбалко

# 60 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ — ЗА ЛЮБОВЬ И ДЕТЕКТИВЫ

зарабатывает одна из современных книгонош

«Наш век — торгаш», — сказал, помнится, в разговоре с поэтом книгопродавец, посетовав на «пыльные громады лежалой прозы и стихов».

Это — не про книжные развалы, что расцвели в последние годы на серых тротуарах и в метро, как кооперативные розы. Там книги ходовые. Но выбросил их к ногам прохожих все тот же «век — торгаш»...

**М**ы познакомились на переходе станции метро «Новокузнецкая». Симпатичная девушка сидела перед полотняным походным прилавком с привычным набором книг: детективы, фантастика, сказки, разговорники, немного секса, разные другие полезные пособия, например, как стать бизнесменом, экстрасенсом или обладателем стройной фигуры. Цены — тоже разные: от восьми рублей и выше. Нарядная, как колибри, «Анжелика» стоила полсотни.

Татьяне — 21 год. Фамилию назвать отказалась. Не замужем, живет с родителями, которые относятся к ее работе «положительно». Книги продает около года. Чем занималась раньше, не сказала: «не имеет значения». Судя по нашему разговору, Таня — девушка не без лукавства: в разных вариациях задавала ей вопрос, откуда получает книги для продажи, собеседница всякий раз отвечала одинаково безупречно:

— Конечно, у нас есть свои поставщики, но я — человек простой, маленький, я лишь продаю товар. Где они берут книги, меня не интересует. Кажется, это какой-то кооператив...

К 11 утра я приезжаю сюда, на станцию. Мне привозят книги, вручают накладную, и мы расстаемся до семи вечера, когда заканчивается моя работа. Я отдаю оставшиеся книги и вырученные деньги.

— **А кто устанавливает цены?**

— Они указаны в накладной, и я должна продавать именно по этим ценам.

— **Вы их можете изменить?**

— Нет, если я буду продавать дешевле, то разницу стану выплачивать из своего кармана.

— **Извините, какая у вас зарплата?**

— Шесть процентов от выручки.

— **Выручка большая?**

— В среднем — тысяча рублей в день. Но сейчас книги идут плохо.

— **Покупатели виноваты?**

— Поставщики. Раньше у них книги были лучше, теперь — выбор бедный.

— **Что пользуется спросом?**

— В свое время очень хорошо брала «Философский камень» — по 10—15 штук за день. Но сейчас народ нахватался и спрос упал, а книга очень умная. Неплохо идут детективы, фантастика, гороскопы, про секс, если недорого. А вот это красочное издание за 32 рубля лежит.

— **Себе книги покупаете?**

— Да, и тоже — по этим ценам.

— **Любите читать?**

— Конечно, но времени не хватает.

— **А здесь нельзя? Целый же день сидите среди книг.**

— Что вы! Если я буду читать, у меня все разворуют! Вчера, например, украли дорогую книгу про секс. Только отвернулась — на прилавке уже пусто. А сегодня один покупатель прямо на глазах, не стесняясь, прячет книгу в карман... Я ему говорю: «Мужчина, положите!» Он положил, но посмотрел, как собака Баскервилей. Огорчился, что не удалось украсть. У нас практически через день книги тащат, где-то по тридцатке приходится доплачивать своих денег. У одного нашего мальчика как-то в день на 150 рублей книг украли.

— **На жизнь хватает?**

— В общем — хватает. Но я еще в одном месте подрабатываю. А тут — три дня в неделю.

— **Где вы получаете зарплату?**

— После каждых трех дней работы делают расчет, привозят сюда, в метро.

— **Это ваше постоянное место торговли?**

— Да, кооператив арендовал его у метрополитена.

— **Очень шумный здесь переход и толпа, как на демонстрации...**

— Ко всему привыкаешь. Но работать, вы правы, трудно — и поезда грохочут, и воздух тяжелый, и народ грубит: думают, что это я такие цены на книги придумала. Нервы и здоровье здесь теряешь — это точно.

— **Долго предполагаете работать?**

— Жизнь покажет.

— **Как вы вышли на этот кооператив?**

— Я их прежде знала. А так обычно они или объявления пишут, или ищут людей через своих знакомых.

— **Если заболите, кто оплатит больничный?**

— Никаких больничных нет. Это не производство — мы просто договариваемся. Я звоню, говорю: ребята, мне нездоровится... Или если уехать куда надо на пару недель. Словом, мне находят замену.

— **Сегодня у вас удачный день?**

— Нет, в субботу-воскресенье книги обычно плохо идут. В выходные люди спешат в гости, на развлечения, им не до книг. Наши торговые дни — будни.

— **У вас есть постоянные покупатели?**

— Пожалуй, нет. Но иногда просят кое-что оставить, особенно когда серия сборников. Я вам скажу главное — люди сегодня знают толк в книгах, и, если человеку какая книга нужна, он за нее любые деньги отдаст. Так что, думаю, мы еще долго без работы не останемся. И еще я заметила: народ у нас очень умный!

...Пока мы разговаривали с Таней, у нее купили одну книгу — сборник Агаты Кристи, за 25 рублей.

Л.МАКСИМОВА



# «НУЖНО СТРОИТЬ ДВОРЕЦ, А НЕ ВРЕМЯНКУ», —

утверждает ведущий специалист «Мосгорпечати» Мария ГАЛКИНА

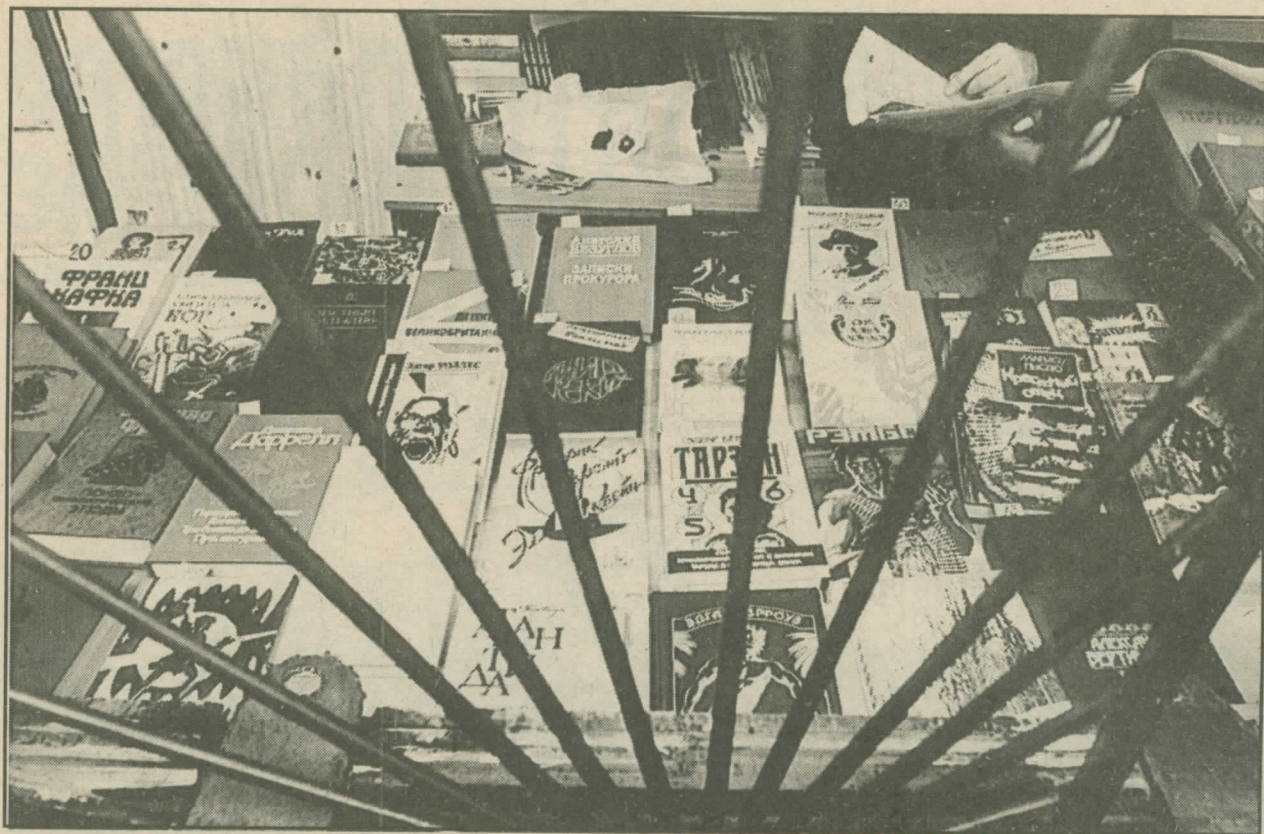


Вроде бы мы уже свыклись, что на улицах, площадях, станциях метро молодые люди торгуют книгами по ценам, значительно превышающим государственные. Ан нет. Наше объединение получает множество писем, авторы которых негодуют: почему книги государственных издательств с государственной ценой не продаются в магазинах по этой самой цене, а торговля идет на уличных столиках по диким

расценкам? Попробуем разобраться в ситуации. По сути она означает начало частной собственности в книжной торговле. А что в конечном итоге может дать покупателю приватизация книжного дела?

Когда человек разрушает старый аварийный дом, он обычно знает, что собирается построить вместо него: дворец или временку. Книжная отрасль, построенная на жестких принципах управления, похоже, рух-

нула. Строителей на развалинах собралось множество. У каждого есть идеи и кое-какие материалы. Вроде бы начали закладывать фундамент, но не договорились о главном: а кто будет хозяином дома? Кто станет определять политику в книгоиздательстве? Прошли те времена, когда существовал только «рынок продавца» — что издавать и что продавать определяли, как ни парадоксально, те, кто издавал и



продавал... Ситуация устраивала всех, кроме покупателя. Такая категория, как потребительский спрос, казалась далекой и безобидной абстракцией. Судите сами: темпы роста объема товарооборота книжной торговли до начала шестидесятых годов составляли примерно 100 процентов через каждые 15 лет.

В 60-е годы сельское население начинало активно переезжать в город. В этот период книга воспринималась как насыщенная духовная потребность, издавалось большое количество русской, советской и зарубежной классики, энциклопедических, справочных и серийных изданий и закладывались основы многих личных библиотек. В 70-е годы улучшилось материальное благосостояние общества и книга потихоньку стала превращаться в предмет обстановки. Спрос значительно опережал возможности его удовлетворения из-за неразборчивости и всеядности покупателей. Любая литературно-художественная книга продавалась «с колес». Эксперимент по продаже книг в обмен за сданную макулатуру проблему не решил, наоборот, из-за разобцен-

ности двух его хозяев — Госкомиздата и Госснаба СССР — графики выдачи абонементов и выпуска книг никогда не совпадали и покупатель, сдав макулатуру, не был уверен в том, что получит книгу в срок.

В 80-е годы негативные тенденции в книгоиздании и книготорговле усилились. Повисился уровень платежеспособности населения, возрос интерес к книгам как к товару — в них начали вкладывать деньги. Выросли и цены на книги, увеличился объем выпуска в денежном выражении, но сократилось количество названий. Если в первом полугодии прошлого года московский книготорг получил пять тысяч названий книг, то в этом году — в пять раз меньше.

Наша книжная культура, увы, очень низка. В течение длительного времени книга воспринималась как категория неэкономическая, как средство идеологического и культурного воспитания. И вдруг произошла переоценка рыночных требований к книге. Книжное дело одним из первых вступило на путь рыночных отношений. В 1988 году издательства, а в 1989 году книготорги — перешли на вторую модель хозрас-

чета, издательства были избавлены от опеки Госкомиздата СССР в формировании своих тематических планов, определении цены на издания и рынков сбыта. После выхода Закона о печати появилось большое количество негосударственных коммерческих книгоиздательских и книготорговых предприятий. Более того — каждое вновь созданное предприятие записывает себе в Устав право издательской деятельности...

Зарождающаяся конкуренция в книгоиздании, казалось бы, должна была дать толчок для мощного развития книжного дела. Но, увы, ничего похожего не наблюдается. Вроде бы появились книги, ранее представленные ограниченным кругом названий: детективы, фантастика, развлекательная литература... Но сократилось количество названий книг, предназначенных для длительного чтения, — классика, альбомы по искусству.

Отчего так происходит? Да оттого, что покупательский спрос у нас в стране практически не изучался, в условиях «книжного голода» в этом не было необходимости. Книжный рынок сейчас насыщается теми из-

даниями, спрос на которые лежит на поверхности.

Наметившиеся тенденции могут привести к сокращению или даже прекращению выпуска специальной, учебной, детской литературы. Необходимо государственная программа реализации социальных задач в книжном деле. Обратимся к зарубежному опыту. В цивилизованных странах в основе любой деятельности лежит триединство цели: получение прибыли, удовлетворение потребностей в товарах и услугах, повышение духовного и материального благосостояния общества. А для того, чтобы издательства были заинтересованы в достижении этого триединства целей, государство заботится о предприятиях, независимо от их формы собственности. В Австрии издательствам выделяют дотации на издание первых книг молодых австрийских писателей, в Скандинавских странах — на выпуск и реализацию детской литературы, в Германии ежегодно отпускают средства розничному объединению магазинов, торгующих юридической литературой.

А что у нас? Приведу показательный пример. Школьные учебники на следующий учебный год

поступают в книжные магазины за год, а иногда и за два до начала учебы. Торговая скидка на них такая же, как и на все остальные издания. Но чтобы их хранить целый год, необходимы дополнительные складские помещения, отсюда — дополнительные расходы. Магазины готовы торговать учебниками с момента их поступления, но у органов народного образования, как правило, никогда не бывает денег. А теперь представим, что книжная торговля перешла в частные руки. Никакой уважающий себя предприниматель не согласится платить арендную плату за дополнительные складские помещения, получать товар длительного хранения с такой же торговой скидкой, как и ходовой, а вдобавок платить банкам бешеный процент за кредит, а потом после реализации еще отчислять в бюджет установленную сумму налога.

Сегодня издательства начали самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью: открывают свои фирменные магазины. И наоборот — книготорги покупают лицензии на издательскую деятельность. Поэтому возможно не только формирование прямых связей издательств и книготоргов, но и слия-

ние их в совместное производство. Это явление прогрессивное, но беда в том, что оно слабо подкреплено законом. Ведь Закон о печати относится в основном к периодическим изданиям, законодательные акты о регулировании издательской деятельности не отражают всю глубину проблем книгоиздания, а законодательства о книготорговой деятельности и просто не существует.

К чему это приводит? Как известно, цены на книги регулирует государство. Это означает, что никаких вольностей в книжных расценках быть не может. Тогда откуда они берутся? С одной стороны, предприятиям дано право самостоятельно устанавливать цену на собственную продукцию и книжную в том числе. И они ее устанавливают. С другой — существует государственное регулирование, в результате которого цена книги фактически оказывается ниже цены спроса на нее. И происходит то, что должно происходить, — перекупщики кладут эту разницу себе в карман. И при этом вроде бы никто не нарушает закон. Кстати, книги кооперативных издательств на самодельных прилавках не появляются. На них невозможно заработать





Фото В. Шишова

«сверхприбыль», ибо их рыночная стоимость уже заложена в реальную цену книги.

На мой взгляд, из создавшейся ситуации есть два выхода. Первый — разрешить в законодательном порядке надбавку к государственной цене книги и ввести соответствующую систему налогообложения: чем выше надбавка (наценка) на розничную цену, тем выше должны

быть ставки налога на прибыль. Второй выход заключается в повышении цены книги издательством на стадии ее изготовления. Мы привыкли к дешевым книгам, а философ Розанов в свое время писал: «Дешевые книги — это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка... Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независима. Для этого она прежде

всего должна быть дорога». Поэтому издания, необходимые, грубо говоря, для развлечения, могут быть дешевыми. Книги же, предназначенные для «долговременного пользования», должны быть дорогими. Такой подход к книгоизданию существует давно во всем остальном мире.

# Александр Ерёменко

27 марта 1991 года

На 28-е в народе  
назначен крутой поворот.  
Бродяга к Байкалу подходит,  
рыбацкую лодку берет.

Бродяга Байкал переехал,  
подходит к кремлевской стене...  
Но тут его танк переехал,  
и песенке нашей конец.

М. П-ву

## По следам Есенина

Если крикнет рать святая:  
— Кинь ты Русь, живи в раю,  
я скажу: Не надо, Рая,  
дайте Родину мою.

Если скажет голос свыше:  
— Кинь ты Русь, живи в раю, —  
я скажу: — Не надо, Миша,  
дайте Родину мою.

В начале восьмого с похмелья  
болит голова  
не так, как в начале седьмого; хоть  
в этом спасенье.  
Сегодняшний день — это день,  
пораженный в правах:  
глухое похмелье и плюс ко всему  
воскресенье.

И плюс перестройка и плюс еще  
счета свести  
со всем, что встает на дыбы от  
глотка самогона.  
Вот так бы писать и писать, чтоб  
с ума не сойти,  
в суровой классической форме  
сухого закона...

Вот видите, сбился, опять не туда  
повело:  
причем здесь «сухой» самогон, когда  
спирта сухого  
стакан... Извиняюсь, опять не про то.  
Тяжело  
в ученье с похмелья в бою... Будь ты  
проклято! Снова.

Вернее с начала. В начале восьмого  
башка...

люблю тебя жизнь, будь ты проклята  
снова и снова.  
Уже половина ... восьмого стакана...  
рука  
уже не дрожит, и отыскано верное  
слово.

Зачем ты рискуешь магазином  
и душистой папироской,  
искришь на солнце, как голубятня  
или голубая кожа,

остришь,  
как на точильном круге стальная  
полоска,  
приближающаяся по форме к форме  
стального ножа...

Зачем ты заигрываешь  
с большевиками,  
как собака обнюхивает забор,  
обнюхиваешь тибетский гороскоп...  
Руки свои, вцепившиеся в ворот  
рубашки,

отрываешь другими своими руками,  
заглядываешь в револьверное дуло,  
как в калейдоскоп.  
Уже доказана теорема Эйлера.

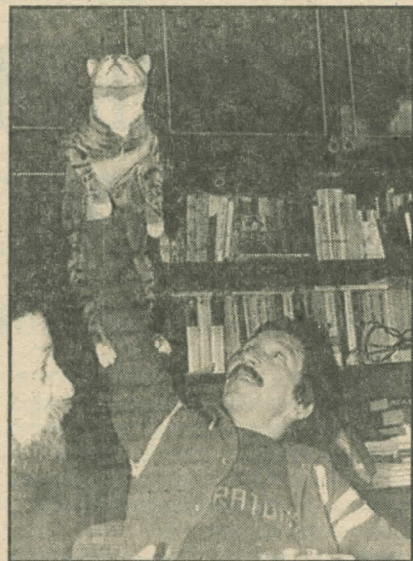
Поверхностное натяжение  
стягивает пространство  
в холерные бунты.  
Складывается складками  
на мундире ефрейтора.  
Втыкаются в кладбище пикирующие  
кресты.

И тебе не спится в астральных  
твоих сферах,  
потому что совесть — это не вектор,  
а перпендикуляр,  
восстановленный к вектору...  
И тебя притягивает «Елисеевский»,  
гостиница «Советская»,  
бывший ресторан «Яр».

## Питер Брейгель

За харчевней вытрезвитель.  
А над ним — железный флюгер.  
По дороге топал Питер,  
по большой дороге Брейгель.

Как на глобусе наклонна  
полупьяная Европа.  
С караваном до Лиона,  
ну а дальше — автостопом.



Ну а дальше как попало.  
Ничего тут не попишешь.  
В Антверпене он покакал,  
а во Франции — пописал.

В голове гуляет ветер.  
Дождь на склонах травку вытер.  
Хорошо шагает Питер.  
Хорошо рисует Питер!

В Нидерландах скукотища.  
Книжки жгут — и всем приятно.  
А в Италии жарница.  
И рисуют непонятно...

А в Италии рисуют —  
как нигде не нарисуют.  
Только кто так нарисует  
так, как Питер нарисует!

Дальше к югу — больше перца,  
алкоголя или босха.  
Под телегой в поле Питер  
засыпает пьяный в доску.

Он проспит четыре века.  
И проснется очень трезвый.  
И потопает. Со смехом.  
По дороге. По железной.

Мимо сада-огорода,  
эх, мимо бани-ресторана,  
эх, мимо бомбы водородной,  
эх, мимо девочек в порту!

Василий АКСЕНОВ

# «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» СРЕДИ «МЕЛКОБЕСИЯ»

Рецензия на книгу Мартина Гилберта «Щаранский»

Когда Анатолий Щаранский появился на наших экранах бодро шагающим через пресловутый «Шпионский мост» по направлению к американскому послу в Западной Германии Ричарду Бёрту, я поразился, какой он маленький.

В Москве мне ни разу не пришлось с ним встретиться, хотя среди его товарищей-отказников, активистов еврейского движения в СССР, были люди, которых я хорошо знал: Александр и Нина Воронель, Феликс Дектер, Феликс Кандель (Камов). С последним мы жили на одной лестничной клетке в писательском кооперативе, что у метро «Аэропорт». Когда он забросил свои серии «Ну погоди!» и вошел в «глухой отказ», у нашего дома время от времени стали появляться подразделения сил порядка, как в форме, так и в штатском. Иногда автомобили этих сил довольно громко переговаривались друг с другом и центром по рациям. Обстановка вокруг нашего дома стала напоминать «положение в Северной Ирландии». Как-то раз весь дом был взбаламучен дерзкой операцией этих частей спецназначения. Феликс отправился прогулять свою собачонку Кекса, но домой не вернулся. Кекса привели и передали жене Тамаре два замаскированных под московских прохожих бойца этих отрядов. За супруга не беспокойтесь, гражданка, сказали они, он в надежных руках. «Ну почему вы не выпускаете Феликса Соломоновича, куда он хочет?» — спросила однажды соседка у участкового уполномоченного. «Потому что человек хороший», — объяснил участковый. И весь этот абсурд проводился очень серьезно, «смертельно серьезно», «дэдди сириос», как говорят американцы.

...Потрясающая сцена: с каждым шагом своей бодрой и даже как бы бойкой прогулки через мост коротышка на наших экранах отдаляется

от своих тюремщиков, всех тех персонажей. Огромное «демисезонное» пальто слегка стесняет его движения. После девяти лет в заключении он вряд ли знает, что великоватые вещи сейчас в моде. Не знали этого, очевидно, и модельеры КГБ, иначе они снабдили бы Щаранского чем-нибудь, что мало даже ему. Жена посланника передает ему корзинку со свежей клубничкой. Какие огромные ягоды, восклицает он. Церемония обмена закончена.

Читая на днях книгу известного историка Мартина Гилберта, озаглавленную «Щаранский», этот ошеломляющий репортаж борьбы за человеческое достоинство, я не мог не подумать прежде всего о той огромной диспропорции, которая существовала между духовными качествами жертвы и гонителей. Как велик оказался маленький человек и каким мелочным, хотя и зловещим предстал перед миром гигантский советский аппарат «блюстителей закона», которых, точнее, лучше было бы назвать «блюстителями идеологии».

Как не вспомнить тут «мелкого беса» и столь емкое понятие «мелкобесия». Именно «мелкий бес» вершит правосудие в этих кулуарах, ведет расследование, составляет документацию, строчит препохобнейшие статьи, отказывается не только принять во внимание, но даже признать существование каких-либо вдохновений, движений человеческого духа, то, что когда-то называли «идеалами», иными словами, каких-либо чувств «верхнего этажа», и все старается объяснить вот именно самыми низменными побуждениями, именно тем, что доступно и понятно «мелкобесию», — корыстью, тщеславием, дешевым гедонизмом.

В этом ключе они вели, собственно говоря, расследование всех диссидентских дел или дел еврейских

активистов, но с Щаранским поставались особенным образом. И в той постыднейшей статье провокатора Липавского, напечатанной в «Известиях», и во всех дальнейших публикациях и заключении суда утверждалось, что Щаранский был жаден до денег и до ценных подарков, поступавших от его хозяев из ЦРУ и «сионистских кругов» (между тем этот человек как раз и относился к противоположному типу людей, будучи полным бесребреником, не удосуживающимся даже купить себе второй свитер: «Не может же человек сразу носить два свитера» — фраза из его иронического лексикона), жаден до скандальной славы на Западе (между тем по-настоящему счастливым он был только за решением шахматных задач), склонным к измене не только его великой советской родине, но и женщинам (между тем письма к Авитали, которые приводит Гилберт в своей книге, показывают натуру однолюба), и так далее и тому подобное... Поистине столь широко во всем мире известное дело Щаранского было не чем иным, как борьбой «маленького большого человека» с «мелкими бешами».

Вспоминается программа Центрального телевидения «9-я студия», так называемая «интеллектуалка». Гости этой программы обычно изображали из себя людей современных, непредубежденных, международно образованных, так сказать, «мозговой трест Кремля». Эти люди и в самом деле несколько отличались от обычных гоголевских «кувшинных рыл», хотя манера их дискуссии не может не позабавить: «Вы совершенно правы, Пантелеймон Акакиевич, однако разрешите мне добавить...» Невольно вспомнишь блестящий номер Карцева и Ильченко на слова Жванецкого «Диспут». Так или иначе, официальные интеллектуалы сохраняют обычно

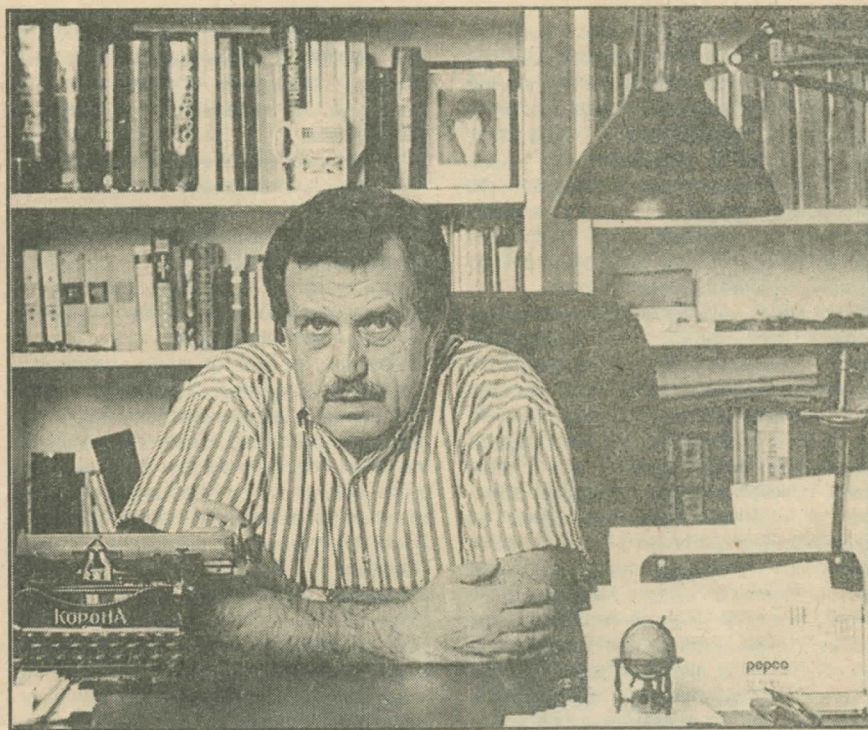


Фото В. Плотникова

некоторый стиль, явно подражая своим американским коллегам из таких «ток-шоу», как «Агронский» или «Дэвид Бринкли».

И вдруг речь там почему-то зашла о Щаранском, дескать, западная пресса раздувает это дело не в наших интересах, не способствует, стало быть, миру и социальному прогрессу, а вот какой-то президент или премьер дошел даже до того, что принял у себя во дворце жену осужденного преступника — Авиталь. И тут вдруг вся компания, сбросив свои, так сказать, «высокобровые маски», захихикала вполне в мелкобесном стиле: «А она ему вовсе не жена, они и не расписаны вовсе!»

Казалось бы, какое им до этого дело и какое может иметь значение ничемный с нравственной стороны факт загосской регистрации, если женщина посвящает свою жизнь спасению любимого человека, однако в «мелкобесии» и это существенный аргумент — на «аморалке», да схвачен!

**М**артин Гилберт, написавший до этого много значительных книг и в том числе «Холокост» о массовом уничтожении евреев нацистами, проделал огромную работу, собирая материал для своего труда о Щаранском и о движении так на-

зываемых «рефюзников», то есть «отказников» в СССР. К моменту завершения его работы Щаранский был еще в тюрьме, и никто, разумеется, не знал, что его ждет. Поразительно, что Гилберту удалось с такого едва ли не космического расстояния, что отделяет его родную Англию от моей родной Татарии, создать вполне убедительную картину Чистопольской тюрьмы, в которой содержался Щаранский.

Для этого он по крохам собирал самую различную информацию, интервьюировал, например, Иосифа Менделевича, освобожденного несколько лет назад и приехавшего в Израиль, — тому пришлось встретиться в тюрьме с Щаранским, изучал письма, пришедшие на волю, даже беседовал с матерью и братом Анатолия, очевидно, во время своих поездок в Советский Союз — детали их редких свиданий красноречиво достраивают картину.

Суд над Щаранским был фактически закрытым, однако и тут в руках Гилберта оказались удивительно точные данные, которые дают читателю достаточное представление об этом разгуле правосудия. Среди цитат из речи прокурора попадаются настоящие перлы. Вот несколько примеров... «Прокурор спросил Щаранского, почему в поздравительной телеграмме, которую он пос-

лал президенту Соединенных Штатов по поводу двухсотлетия Декларации независимости, он говорил только о великих достижениях американской демократии, но не упомянул о порнографии, о миллионах безработных, о проституции и других пороках, разъедающих американское общество. Щаранский ответил, что он прекрасно осведомлен о негативных сторонах американской жизни, однако в Америке об этих сторонах жизни свободно пишут газеты, тогда как в Советском Союзе газеты занимаются только восхвалением режима».

В тот же самый момент, когда Щаранский послал свою телеграмму президенту Форду, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный также послал поздравительную телеграмму в адрес президента и также не упомянул ни порнографии, ни проституции, ни безработицы, ни каких-либо других негативных аспектов американской жизни..

Вывод неизбежен. Если судебные власти СССР хотят использовать поздравительную телеграмму как свидетельство в поддержку обвинений в антисоветской пропаганде против Щаранского, они должны использовать телеграмму Подгорного как свидетельство в поддержку обвинений в антисоветской пропаганде против Николая Подгорного..

Или вот еще. Прокурор: «...Если Щаранский и в самом деле искренне озабочен состоянием прав человека, ему следовало бы направить свой протест против США и Израиля... Наши заключенные пользуются такими правами, какими не пользуются заключенные ни в одной другой стране, ведь именно Советский Союз призывает весь мир уважать права человека!»

Прокурор также обвиняет Щаранского в организации «нелегальной встречи с американскими сенаторами». Что это конкретно означает, остается за пределами реальности. Трудно как-то представить себе сенаторов, пробирающихся под покровом ночи в какой-нибудь подвал. Скорее всего они приехали на такси на квартиру одного из отказников, не думая о том, что встреча с частными гражданами может считаться нелегальной.

Среди главных злодеяний Щаранского прокурор предъявляет суду его встречу с эмиссаром сионизма Ричардом Пайпсом (на самом деле гарвардский профессор Пайпс

является одним из ведущих мировых знатоков русской истории), который — подумать страшно — состоит в личной дружбе с советником по национальной безопасности при правительстве Картера антисоветчиком Бжезинским.

Ревностное преследование идеологических целей чаще всего ведет не только к потере логики, но даже к утрате ее ощущения. Упомянутый выше доктор Збигнев Бжезинский фигурировал не только на процессе Щаранского. В семидесятые годы его имя не сходило со страниц советских газет и всегда сопровождалось как бы убийственным, с точки зрения советских газетчиков, определением «антисоветчик» заядлый, а то и зоологический антисоветчик.

Однажды я натолкнулся на рассмешившую меня фразу: «В Белый дом пробрался антисоветчик Бжезинский» — как будто само собой разумеется, что в солидном учреждении могут работать только одни просоветчики. Этим газетчикам, очевидно, даже в голову не приходит, что слово, которое им кажется непристойным, может звучать иначе для других.

Итак, Анатолий Щаранский обвинялся в том, чего страшнее вроде и быть не может: клеветническая антисоветская пропаганда, измена родине, шпионаж... Последний из этих страшных пунктов, несмотря на то, что он по идее вроде бы требует наиболее детализированных доказательств, оказался в обвинительном заключении самым туманным.

Ну а что же насчет «чувств высшего этажа», каковых у подсудимого злодея, по мнению властей предержащих и власть обслуживающих, не может даже и предполагаться? Как насчет всех этих вдохновенных, движений души, идеалов? Читая книгу Гилберта, неизбежно приходишь к выводу, что именно эти чувства и мотивировали все основные поступки Щаранского, что и сам он, несмотря на все сложности современной жизни, может быть охарактеризован одним-единственным словом «идеалист», если только в это слово вы под влиянием материалистического марксистского вздора не вкладываете понятие слабости и бесхребетности.

Анатолий Щаранский принадлежит к младшему поколению советского диссидентства, к поколению, которое было столь тщательно подготовлено к тому, чтобы стать по-

лением «новых советских людей». Создание «нового человека», как известно, было изначальной и главной целью правящей марксистско-ленинской идеологии, и надо сказать, что она в значительном смысле тут преуспела: когда говорят, что массовый террор был во многих случаях бессмысленным, ибо «бил по своим», упускают вот именно этот момент «человекотворчества».

По идее «кремлевских мечтателей», страх перед неумолимостью так называемого исторического процесса поселяется в генах, массовая тотальная пропаганда, начинающаяся с детского сада и продолжающаяся всю жизнь, завершает дело, сужает мир до размеров обнесенной набором лозунгов зоны, за пределы которой ни у кого уже не возникает желания выбраться. И все, казалось, шло правильно и очень хорошо. Новый человек возникал, в принципе он до сих пор существует в гигантских массах единогодушного одобрения, цель, казалось бы, была достигнута, если бы не непредвиденные обстоятельства, которые можно было бы по праву назвать «чудом российской интеллигенции».

Выход из периметров «нового человека», возврат к изначальным духовным ценностям цивилизации, будь то борьба за демократическое обновление страны или за право исторического возврата на землю предков, за религиозную свободу или национальное самосознание, за свободу творчества или за открытие границ, был не чем иным, как возвратом к «идеалам», то есть бунтом идеализма против материализма. Правящие идеологи оказались на довольно продолжительный период в растерянности, и в течение этого периода успело сформироваться поколение российских идеалистов, частью которого было и еврейское движение.

Идеализм шокировал не только власти предержащие, но и среднего «нового человека», парадоксальным образом он оказался «кошунством над святынями», то есть над сводом нравственных правил «нового человека». Мартин Гилберт приводит яркий пример такого конфликта. Близкий друг и сподвижник Щаранского известный еврейский активист Владимир Слепак, человек на пятнадцать лет по крайней мере старше Анатолия, но также принадлежащий к российским идеалистам, был проклят своим отцом, ста-

рым большевиком. Однажды Слепак решил примириться с «краснозвездной гвардией» и позвонил отцу накануне какого-то семейного праздника.

— Кто говорит? — спросил отец.

— Это я, твой сын! — сказал Владимир.

— У меня нет сына, — возразил большевик.

— Отец! — вскричал Слепак. — Кто же я такой, если не твой сын?

— Вы враг народа!

Горечь такого рода конфликтов испытывали многие. «Нового человека» из себя выдавить нелегко, иным это не удавалось даже после десятилетия сталинских лагерей, однако для других этот процесс казался вполне естественным даже на фоне относительного советского благополучия.

Идеология в конце концов начала осознавать, что «исторические цели» революции были достигнуты не полностью, а добрая доля усилий, еще вчера казавшихся тотальными, пропала впустую. Там уже накопилось, видимо, порядочная усталость, переходить к репрессиям явно не хотелось, однако какие еще меры могла предложить идеология для обуздания поколения идеалистов — с медлительностью, со скрежетом был запущен в работу репрессивный аппарат. Пиком этого процесса оказалось лето 1978 года, когда функционировали четыре политических процесса и среди них, может быть, самый возмутительный — процесс Щаранского.

**П**очему органы вычислили именно его для устрашения остальных? С таким же успехом те же обвинения могли быть предъявлены еще нескольким еврейским активистам. Вполне очевидно, что он, возможно, просто больше других раздражал оперативников. Он был одним из самых молодых, самых динамичных, очевидно, и в прямом физическом смысле — резкая, стремительная походка утомляла наружников-тихарей, — самый коммуникабельный с его беглым английским — изучил, гад, самостоятельно, без нас, значит, с подрывными целями, раздражающая еврейская внешность — толстые губы, насмешливый быстрый взгляд, склонность к этим их «хохмочкам»...

Так или иначе, Щаранский был вычислен. Среди людей, весело спрашивающих друг друга «кто последний в очереди на Голгофу», он



оказался первым. Выбор, с одной стороны, может быть, и правильный, от него, возможно, было больше неприятностей, чем от других, но, с другой стороны, категорически неправильный — сломать не удалось, не учли крепости духа, запаса прочности, силы идеализма.

Однажды, пишет Гилберт, два западных журналиста спросили Щаранского и Слепака, почему они рискуют своей жизнью. Друзья ответили просто: мы хотим быть свободными людьми, хотим свободно исповедовать свою религию, иудаизм, хотим воспитывать своих детей по своему усмотрению, а не по усмотрению чужого нам государства, хотим уехать в свою страну Израиль, чтобы никогда больше не испытывать антисемитизма.

Среди всевозможной специфики вот это ошеломляющее желание «быть свободными людьми» роднит людей советского духовного возрождения по всему спектру — евреев в поисках национального ощущения или пути на историческую родину и противников социалистиче-

ского реализма в искусстве, христианских философов и математиков, вовлеченных в логическое толкование конституции с окончательным выводом о неправомерности однопартийной системы, сибирских пятидесятников и последователей Кришны...

Имея в виду эту общность, можно понять, почему для Щаранского столь естественным шагом оказалось присоединение к возглавляемому Юрием Орловым Московскому комитету по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений. Широта его гуманистических идеалов проявилась во время работы в рамках этого комитета, который старался помочь всем, лишенным своих прав, будь то крохотная народность кавказских месхов, будь то многотысячные жертвы какого-то странного, почти необъяснимого догматизма — крымские татары, будь то и многомиллионная и, может быть, самая деморализованная часть советского населения — русские.

Несмотря на свой строго документальный характер (нельзя не во-

схищаться обилию и подробности приведенных в книге документов), книга Мартина Гилберта имеет много общего с романом Франца Кафки «Процесс». Все эти тошнотворные агарофобические спирали и клаустрофобические тупики. Есть, однако, и существенное различие: герой Кафки «К» был полностью потерян в лабиринте процесса, тогда как Щаранский твердо знает свое направление и свою цель. После вынесения приговора он сделал следующее заявление: «Наше возрожденное Государство Израиль, которым мы столь горды, будет продолжать цвести и быть примером для других наций этой планеты. Я горжусь, что я являюсь частью этого ренессансного движения!»

Возможно, в этом и кроется то, что выделяло этого маленького большого человека из миллионов: в сумеречной зне загнивающей Революции он представлял Ренессанс.

Целиком публикуется в № 1 журнала «Стрелец» за 1992 год.

## ОВЧАРКА ЛАЕТ С АМЕРИКАНСКИМ АКЦЕНТОМ

Пойманный за хлястик плаща главный управляющий компании «Алиса в Америке» Леонид Берман прямо на трапе трансатлантического лайнера дал нам микроинтервью.

**— Союзную «Алису» знают все — как вызывающе лихую и предприимчивую фирму. А что ваша «овчарка» будет делать в Америке, где и без вас полно умных и энергичных людей?**

— То же, что и здесь. Наша американская фирма построена на тех же принципах.

**— А может, лучше переносить их принципы сюда, чем наши — туда?**

— Мы будем «переносить» их товары сюда, а наши — туда. А принципы союзной частной системы бирж «Алиса» подходят для этого идеально. Американский бизнесмен прихо-

дит в наш офис в Штатах (а наши офисы есть и на Западном побережье, и на Восточном, и в центре), и в тот же день его товар появляется в СССР. Тогда как при работе с союзными внешнеторговыми ведомствами этот процесс (переписки, приглашения, утряски, поездки) длится несколько месяцев. То же самое и при продаже наших товаров в Америке: благодаря «Алисе» движение товаров в обоих направлениях стало мгновенным. Такие возможности нашим и американским бизнесменам предоставляются впервые.

**— Стало быть, теперь все будут торговать, не вылезая из домашних кресел. Наконец-то освободятся места в самолетах.**

— Да, можно и так. А те советские бизнесмены, которые все-таки приедут в США, смогут воспользоваться услугами наших американс-

ких офисов. Наши бизнесмены, которые за границей по своей беспомощности порой смахивают на заблудившихся детей, воспользуются нашими коммуникациями, высокопрофессиональными переводчиками и референтами. Дистрибуционные, маркетинговые и консалтинговые услуги мы будем предоставлять по обеим сторонам океана.

**— Почему вы отправились покорять Америку, не освоив Европу, которая под боком?**

— Общая Европа становится опаснейшим конкурентом для США. Именно поэтому вскоре будет создана североамериканская свободная экономическая зона, включающая Мексику, США и Канаду. Возможности этой зоны нас устраивают. А позднее мы создадим всемирную систему «Алиса».

Дмитрий СВЕТЛОВ



*Окончание. Начало на 24-й стр.*

цели. Секретари правления Союза одновременно назначались и на посты главных редакторов журналов.

Писателям поплоше (рядовым) тоже что-то подбрасывали, чем-то подкармливали, но не так обильно. В общем, была создана писательская кормушка.

Но — было и другое. У Мандельштамов вообще отняли квартиру, пока они были в ссылке; одну из комнат занял энкаведэшник, и они вынуждены были до окончательного выселения ютиться в маленькой комнатке; у Платоновых была лишь крошечная квартирка в полу-подвале на Тверском... А вот Буревестник революции маялся под домашним присмотром НКВД в одном из самых шикарных московских особняков (замечательном творении Шехтеля).

Ничем не защитивший своих писателей во времена массового террора, более того, подтверждавший списки на арест, санкционировавший, по сути дела, расстрелы, Союз писателей СССР активно спасал свою номенклатуру и в период Великой Отечественной войны. Эвакуационные члены Правления, например, пальцем не шевельнули для того, чтобы дать работу посудомойки для Марины Цветаевой (об этом рассказала Л.К.Чуковская в своих воспоминаниях «Предсмертное»). Спещисатели, «совесть» земли, бы-

ли заняты собственным обустройством и престижем.

Николай Асеев, озабоченный не судьбой Цветаевой и ее сына, а «охлаждением» к нему вождя, набрасывал в Чистополе черновики «Личного письма» (1943 г.):

*К Вам пишу я вновь, товарищ  
Сталин,  
Скоро мне придется умереть.  
Я хочу, чтоб вы без желчи стали  
На мою фамилию смотреть...*

Кампании преследований, клеветы и травли постоянно «спускались» из ЦК, а президиум СП единодушно воплощал их в жизнь. Исключения были крайне редки — так, в 1946 году только Лидия Сейфуллина попыталась в своем выступлении защитить М.Зощенко (эти сведения опубликованы среди прочих документов Денисом Бабиченко («Неизвестный Асеев») в журнале «Вопросы литературы», 1991, № 4). Остальные — промолчали, но даже молчание расценивается и сегодня комментатором как «форма протеста».

Творческое бесплодие или злокачественная графомания (что, впрочем, означает одно и то же) — такова была расплата за приближенность к режиму, за угодничество. За страх. Не забудем, что и среди поместивших свои отклики «на расстрелы» 1937 года были, как это ни горько, Платонов, Шкловский, Тынянов, Гроссман...

Традиция откровенной и циничной поддержки палачества, открытого и закрытого доноительства, насаждавшегося нравственного разврата — вот главная традиция Союза писателей. И этот «вклад» организации писателей в уничтожение культуры, в уничтожение народа, как физическое, так и моральное, постоянно отмечался ЦК партии. Если же организация запаздывала, медлила, отмалчивалась, следовали репрессивные меры по отношению к замаявшейся застенчивой номенклатуре. А «рядовые» писатели если не уничтожались, то всенародно унижались и лишались средств к существованию, например, так называемые писатели-«космополиты». О том, как спускались сверху писателям указания и как они осуществлялись, рассказали В.Тендряков в «Охоте», Б.Ямпольский в «Московской улице», Л.Чуковская в «Процессе исключения», А.Солженицын в очерках «Бодался теленок с ду-

бом», В.Каверин в книге «Эпилог», Ю.Томашевский в очерках о М.Зощенко и многие другие. О многом рассказал В.Войнович в своих открытых письмах в Московскую писательскую организацию, в «Шапке», вскрывшей и высмеявшей всю систему «распределения». Тот же секретариат и партком московской организации травил Г.Владимова, В.Максимова, В.Корнилова, В.Аксенова, А.Гладилина; прорабатывал, казнил, метал молнии, «принимал меры» к М.Рошину, Ю.Карякину; в Киеве «занимался» В.Некрасовым свой союз; в Минске В.Быковым и А.Адамовичем — свой; а о том, что творилось в Средней Азии, еще и не рассказано свидетелями и участниками событий. Но ничто не канет в небытие, все тайное станет рано или поздно явным. Доходят сведения — через воспоминания и стенограммы, казалось бы, утраченные за давностью лет!

Зачем же, спросит читатель, в такую организацию вступали — те же В.Быков, А.Адамович, М.Рошин, Ю.Карякин, Г.Владимов, В.Аксенов, Т.Толстая и... ваша покорная слуга? Вступали прежде всего для того, чтобы иметь официально заверенное право не служить (членский билет СП удостоверял творческую «работу» — в «пику» той уголовной статье за тунеядство, по которой судили будущего Нобелевского лауреата И.Бродского). Во-вторых, облегчалось издание книг (правда, и так это отнимало от 4 до 10 и более лет). В-третьих, обесценивало минимальный уровень «положения» в советском обществе.

Но кроме травли и преследований (при этом определенный процент одаренных людей все же сохранялся, иначе весь каркас СП рухнул бы), кроме идеологических доносов и заушательства, в котором с большей или меньшей степенью охоты участвовало агрессивно-послушное большинство членов СП, кроме активной общественной работы по распределению машин, квартир и дач, кроме предательства интересов народа и равнодушия к его судьбе, кроме тотальной подчиненности структурам КПСС и КГБ, кроме полного неприятия независимой талантливой молодежи на Союзе советских писателей лежит самый страшный грех: отравление сознания людей, коллективное создание идеологических «бомб», культивирование классовой ненависти и

яростной враждебности ко всему «инакому».

Раньше лозунгами СП были — «за коммунизм» и «против империализма». По прошествии лет лозунги официального СП (особенно — российского, организованного в 1958 году как отстойник самых реакционных сил) менялись. Большую мощь приобрели лозунги переозначенной триады «православие, самодержавие, народность», то бишь национал-большевистские. Еще со времен «борьбы с космополитизмом» вирус рязаного «компатриотства», как его квалифицировал в начале 70-х ( в связи со статьями В.Чалмаева в «Молодой гвардии») А.И.Солженицын, сидел в организме СП СССР, а после объявленной «гласности» начал распускаться махровым цветом в печатных органах и в структурах СП РСФСР особенно. Любознательных читателей отсылал к подшивкам «Литературной России», «Молодой гвардии», «Нашего современника», газет «День» и «Московский литератор». Ненависть к демократическому движению еще крепче сплотила тех, кто в прошлом обладал дарованием, а затем, заключив «союз с дьяволом», вошел в кагэбэшно-партийные структуры СП, радостно распахнувшие перед ним свои недра, как героиня феллиниевского «Амаркорда»: «Угощайтесь!». Угощались многим — от звезд «гертруда» до приказных миллионных тиражей ( и соответственно — гонораров), от оплаченных валютой СП зарубежных командировок (из которых одни — тт.Бондарев и Куняев — привозили «тоску по России» и неприязнь к Венеции или Вене, а другие, как Проханов, начиненные пушечным мясом романы о героических битвах СССР в Афганистане); от постов в журналах и издательствах до микрофонов на радио и ТВ... А главное, «угощались» бесконтрольной властью, наслаждением безнаказанно распоряжаться чужими судьбами (и особенно сладострастно — ежели талантами). А как «покупали», уже они сами, вжившиеся в статус «хозяев» и «крестных отцов»? «Ты мне — я тебе» было самой, пожалуй, безобидной в глазах многих «покупкой». Воцарился разврат — недаром один из своих рассказов о таком «писателе» В. Астафьев назовет «Развращенец». Вот как это развращение происходило в провинции: «Книги он писал на злобу дня, и они у него пеклись, как

блины на масленицу, а если сказать по-уральскому, как шаньги. Да все книги с броскими, неотразимыми для издательств названиями: «Отблеск пламени» — про металлургов, «Заря негасимая» — про старых революционеров, «Гранит не плавится» — про уральских камнерезов. За «Отблеск» получил он премию имени Ленинского комсомола, был быстренько оформлен в Союз писателей, избран в местное бюро и в редколлегию столичного молодежного журнала, зачислен на Высшие литературные курсы». Такова типичная карьера конъюнктурщика. В.Астафьев рассказал далее о том, как его герой спился, сошел с круга и умер. А вот в монументальном томе «Советские писатели» (золотом вытеснено!), где собраны автобиографии «крупнейших советских писателей» страны победившего социализма (издательство «Художественная литература», 1988, составитель С.П. Колов, оргсекретарь СП, то есть известно кем назначенный и никем не избираемый, через три года после выхода этого труда трусливо сбежавший с Секретариата СП), они поведали и о себе, и о писателях с более удачной, но именно так же начинавшейся карьерой: С.Викулов и С.Бабаевский, Е.Долматовский и Н.Доризо, Е.Исаев и В.Карпов, М.Колесников и М.Прилежаева, И.Стаднюк и А.Чаковский.

Изменился ли СП? И поддается ли он расформированию в принципе? Или, оставаясь в большинстве «членов» своих «союзом графоманов», он таким и останется (ибо графоманы с членским билетом в кармане, будь они хоть даже прогрессивнее самой В.Новодворской, аналогичных себе графоманов и принимать будут)?

За последние годы было предпринято несколько попыток «внутреннего» обновления. Без выхода за пределы СП (!) объявили о своей «независимости» сначала «Апрель», потом «Союз независимых писателей». Сейчас образован альтернативный Союз писателей Москвы; объединяясь с писателями Санкт-Петербурга, других русских городов, они создают Союз писателей России, в который могут быть приняты русскоязычные писатели, живущие и за пределами России; создается и конференция республиканских писательских союзов. Августовский путч окончательно размежевал писателей, и никакой кон-

солидации «союза» с теми, кто сознательно удобрял почву для нового закрепощения страны, быть не может, это ясно. Но дееспособной ли окажется демократическая организация, если она будет материально повязана старыми структурами? И не начнет ли угрожать новой организации застарелая болезнь коррумпции, «начальственный» синдром, ловушка «распределиловки», если в наших несчастных условиях она представляется единственным решением жизненно важных проблем? Безусловно угрожает. Отвратительно и то, что «наверх» — в демократические структуры — полезли, цепляя за собой и «своих», те же самые активисты, кто привык к постам, кто всегда оказывается ближе к кормушке, кто не брезговал ничем и в прошлые времена. Знакомые все лица, среди которых известны ныне своим либеральничаньем критики, прозаики, поэты, ничтожные и бесплодные в творческом плане, но которые всегда на трибуне и с пламенным пафосом «разоблачают» и «ведут». Те же самые, бывшие приближенные при марковых, верченках, бондаревых, постоянные участники и организаторы всяких «декад» и «дней», «конференций» и «слетов», «круглых столов» и «дискуссий». Они лучше других понимают, что СП рухнул, но и от трупа постараются оторвать себе и унести в норку какой-нибудь кусочек. Они и трупного яда не боятся. Не надо, как сказал В.Войнович, сосать вымя у мертвой коровы.

Лучшее, чего может добиться новый секретариат писательской организации, — ликвидировать, распустить самое себя, оставив Литфонд, деидеологизированную структуру с минимальным нанятым аппаратом, состоящим не из пишущих людей (это должно стать условием при приеме на работу), как материальную основу жизненного обеспечения профессиональных литераторов, как финансовую поддержку некоммерческих литературных изданий, которым будет все труднее в условиях той социальной формации, к которой мы стремительно приближаемся.

А ключ, на который нас заперли властительные графоманы, все еще продолжает лежать в цветах...



Ю. Даниэль. 40-е годы

# ДЕЛО ЮЛИЯ ДАНИЕЛЯ:

Материал был подготовлен до сообщения о реабилитации Ю. Даниэля и А. Синявского

Текст был от руки, в одном экземпляре. Ни машинной перепечатки, ни копий. Забрали, надо же. Мы думали: навсегда.

Дело Синявского и Даниэля, позорный для советской юстиции суд над литературой, охранялось с похвальным рвением всегда, в период гласности и перестройки — тоже. Вплоть до августа 1991 года.

**ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР**  
29.08.1991 г. № 13/1469/65 Даниэлю Александру Юльевичу

Сообщаю, что по результатам проверки уголовного дела, по которому Ваш отец — Даниэль Ю.М. в 1966 году был осужден, заместитель Генерального прокурора СССР Андреев В.И. внес в Президиум Верховного суда РСФСР протест с предложением отменить судебные решения в отноше-

нии Даниэля Ю.М. и Синявского А.Д., а уголовное дело прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления. Дело с протестом сего числа направлено в Верховный суд РСФСР для рассмотрения.

О результатах Вы будете уведомлены.

Прокурор управления  
старший советник юстиции

А.С.Егоров.

Наверное, это значит, что Даниэля скоро реабилитируют. Посмертно. Наверное, это хорошо. Только ему и при жизни было это безразлично. Виновным себя не считал никогда.

Но, может быть, теперь удастся добыть «Ремень», который был ему так дорог?..

Дальше рассказывает Э.М.Коган, защитник А.Д.Синявского на процессе 1966 г.:

# РЕМЕНЬ

Это был обыкновенный офицерский ремень, кожаный, в три пальца шириной. Его мне подарила женщина из Серногорска, по имени Маруся. Собственно, не подарила, а дала.

Меня послали в Серногорск принимать грязевые серные ванны. Это было в 1945 году, в феврале. Я лежал тогда в госпитале, и рана еще очень болела и плохо заживала. Вот меня и послали на курорт.

Серногорск я не запомнил. Смутно мерещится двухэтажный дом, где были палаты и длинное, барачного типа, помещение столовой с какими-то столбами посередке.

Утром у дежурного мы получали треугольные жестяные жетоны на завтрак, обед и ужин. Мы должны были сдавать их в столовой. Но очень скоро, чуть ли не на другой день после приезда, выяснилось, что жетоны можно продавать или обменивать на самогон. Этим промышляли местные жители. Я не помню таксу: кажется, за жетоны на день можно было получить литр самогона или что-то в этом роде. А хлеб нам давали отдельно.

Один из моих спутников организовал это дело. Мы втроем позавтракали и пообедали двумя порциями, а жетоны на третью дневную порцию плюс два оставшихся ужина он кому-то отдал.

— Закусывать будем двумя нашими ужинами, — сказал нам он.

— В палате? — спросил я.

— Зачем в палате? Мы на дом пойдем. К старухе.

И вот вечером мы пришли к старухе. Мы пили самогонку маленькими гранеными стаканчиками. Закусывали кислой капустой. Наш устроитель начал было говорить что-то про ужин, но я и еще один сказали, чтоб он заткнулся. Мы были щедрыми, и нас трогало, что сама баба-самогонщица и еще какие-то старухи называли нас сынками и плакали, глядя, как мы пьем.

Потом пришла Маруся, племянница хозяйки. Ей было года 23, и она была вдова. Она только что вернулась из деревни, куда отвезла ребенка. Она была на фронте, потом ее ранили и демобилизовали, потом она вышла замуж, родила сына, а мужа послали на фронт, там его и убили. Теперь она работала в госпитале. Наверное, сестрой, ведь в армии она была военфельдшером.

Она не захотела сесть за стол, а выпила стоя и села на лавке в оторонке.

А мы продолжали пить. Мы выпили все и стали собирать деньги, чтобы выпить еще, но денег было мало, и старуха засомневалась.

Тогда Маруся сказала:

— Убери деньги, солдат.

И велела старухе принести еще выпить. Та покряхтела, потом полезла в сундук и достала из тряпья две черных бутылки. И мы снова стали пить и петь песни. Мы спели «Бьетса в тесной пучурке огонь», «В бой за родину» и «Есть одна заветная песня у солвоушки».

Потом мне стало плохо, и я вышел на двор. Был теплый февраль, под ногами чавкала соломенная грязь, и город уже спал, и на сером небе торчали черные силуэты серногорских домишек, и я отчетливо почувствовал Москву, громоздившуюся где-то рядом, не видную только из-за темноты.

Я стоял, покачиваясь, мне стало совсем хорошо, только голова кружилась.

# ТОМ 4-Й, ЛИСТ 151-Й

«В сентябре 1991 года по просьбе вдовы Ю.М.Даниэля Ирины Павловны Уваровой я искал рукопись неопубликованного рассказа Юлия Марковича «Ремень», затерявшуюся в 10 томах уголовного дела по обвинению Ю.Даниэля и А.Синявского по ст. 70 УК РСФСР.

Еще в 1988 году я подал в Верховный суд СССР прошение о пересмотре дела, но 22 года спустя после процесса мне — адвокату, участвовавшему в том процессе, — было отказано в ознакомлении с делом «из-за отсутствия допуска!»

Покочивая между Верховными судами СССР и РСФСР, прошение вместе с делом улеглось на долгие три года в Прокуратуре СССР. Еще бы: Генеральным прокурором Союза

был «куратор» процесса 1966 года, ответственный работник ЦК КПСС. Заместителем Генерального — столь же ответственный сотрудник ведомства Крючкова. И лишь после августовских событий документы оказались в Президиуме Верховного суда РСФСР, где я и смог ознакомиться с делом. В томе 4-м, на листе 151-м я нашел тот самый рассказ».

Извлечь его из дела было нельзя, и Э.М.Коган его переписал. От руки. «Ремень» был арестован в рукописи, в рукописи вышел на свободу. Только почерк другой.

Мы попросили «Столицу», чтобы «Ремень» увидел свет до 15 ноября. В этот день Юлию Даниэлю исполнилось бы 66 лет. Это — подарок ко дню рождения.

**Ирина УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ**



**Ю. Даниэль. 70-е годы.**

**P.S. И еще подарок: только что в издательстве «Московский рабочий» вышел первый авторский сборник Юлия Даниэля, книга «Говорит Москва». Здесь собрана вся проза Даниэля — кроме «Ремня», конечно.**

Хлопнула дверь, ко мне подошла Маруся... Она принесла мою шинель.

— Ты что, Юрка? Плохо тебе? А ты сблюй, — сказала она.

Я гордо отказался. У нее было очень бледное лицо и глаза на пол-лица. Серые.

Я схватил ее за плечи.

— Что? — сказала она... — Что? Что?

Я целовал ее и трезвел, и пьянел, и голова кружилась все больше.

Потом мы вернулись в дом и допили самогонку.

Потом ребята ушли, а я остался.

Мы легли на кровать, а старуха ушла за фанерную перегородку и там бормотала.

Я остался жить у Маруси и только утром являлся в палату к обходу врача и ходил на всякие лечебные процедуры.

Сначала у нас получалось неважно. До Маруси у меня было всего две женщины, и то мимоходом. И вообще мне было не так уж много лет — девятнадцать.

Мне было стыдно, что так плохо получается и я такой неумелый, и я сказал, что у меня болит рана и что мне неудобно.

Маруся меня утешала. А потом все пошло хорошо, и мы оба были довольны.

У нее была грубая полотняная рубаша, и она стеснялась этого и несколько раз сказала, что раньше носила хорошее белье, но что его пришлось выменять на еду, когда ребенок жил с нею.

Так прошло дней десять—пятнадцать, а потом меня вызвали и сказали, что выписывают за нарушение режима. Красивая, добрая и глупая докторица сказала, что не хочет, чтобы у меня в госпитале были неприятности, и поэтому сообщит, что я выписан «за контакт с населением». Но я попросил, чтобы написали все-таки «за нарушение режима».

И я снова ушел к Марусе, и прожил еще два дня, и вдруг вечером прибежал мой приятель и сказал, чтобы я шел получать документы, потому что машина в госпиталь уходит через полчаса.

Я стал собираться и никак не мог найти свой брезентовый солдатский ремень. Мне нечем было подпоясать шинель.

И тогда Маруся достала свой офицерский ремень и дала его мне. Ей было жаль ремня, но я ведь ночами говорил ей всякие хорошие слова и вслух удивлялся ее телу — телу женщины. Я и сейчас каждый раз удивляюсь беспомощной и трогательной красоте женского тела, а уж тогда мне это было и вовсе вновь. И она отдала мне свой ремень.

Она плакала, когда мы прощались. Я был ласков с нею и тогда — в девятнадцать лет — красив. И я уезжал навсегда.

А потом я приехал в Москву и встретился с девушкой, в которую был влюблен с пятнадцати лет и с которой все это время переписывался, и мы шатались по Москве, читали стихи, и она заставляла меня слушать музыку, и знакомила со своими подругами — студентками. Я стеснялся своей выцветшей гимнастерки и отвислых галифе. Хорошо еще, что при демобилизации мне выдали сапоги, а не ботинки с обмотками и что ремень у меня был не брезентовый, а кожаный.

А в начале лета мы поехали за город и бродили по лесу, и она читала «В траве меж диких бальзаминов» и «Луга мутило жаром лиловатым», и я страдал от любви, нежности и желания. Но прошло еще очень много мучительных месяцев, прежде чем это произошло.

А тогда она попросила сорвать ей ветку с листьями. Влезть на дерево я не мог из-за раны, поэтому я захлестнул ремень за ветку, и мы вдвоем стали тянуть, и ремень лопнул на том месте, где я прорезал ножницами дырочки — я тогда очень плохо питался.

Потом я сшил ремень суровыми нитками и закрасил их ваксой для ботинок. Потом я перестал носить гимнастерку, и сшитый ремень долго валялся без дела, а потом он куда-то исчез — наверное, выбросили при очередной уборке.

У Маруси были большие, в пол-лица, серые глаза и тяжелые, грубые от стирки и мытья полов, шершавые, нежные руки. Ее фамилию я не помню.

Лев АННИНСКИЙ

## ЕВАНГЕЛИЕ ОТ НИКОЛАЯ

Н. Островский: Вчера. Сегодня. Завтра?



Фото В. Левитина

Когда-то я написал о нем книгу\*; ее рубили, корежили; издав, долбали, и все это — защищая писателя от моих нападок.

Теперь, я чувствую, пришло время мне защищать Островского.

«Нападают» на него люди авторитетнейшие. Например, академик Лихачев. Или писатель Астафьев. И не только они, конечно. Говорят: Островский плохо писал. Вдобавок, не сам писал — за него писали. Все это любопытно, особенно в комплексе. Должен ли Островский отвечать за то, чего он не писал? Тут много можно развести казуистики, но не стоит, потому что суть не в этом. А в том, почему все это происходит. Идет очередное безумие. Было безумие коммунистическое, идет — антикоммунистическое. Нам не привыкать: мы народ эмоциональный, у нас всегда крайности. Так что все нормально. Ну, не нравится кому-то Островский — ничего страшного, пусть кто-то другой нравится. О чем речь-то идет: о качестве текстов? О том, что Островский хуже других составлял фразы? Так это дело хитрое: Тургенев писал фразы лучше Толстого, и Толстой это признавал. Тут вопрос беллетристического качества, вопрос в конце концов чистого литературоведения, кого там на какое место поставить.

Однако сколько бы мы ни подсчитывали у такого писателя, как Островский, плохо написанные фразы — мы не отменим и не объясним повольного действия его текстов на массу читателей, которое — исторический факт.

А может, взрыв интереса к этой

\*Л. Аннинский. «Николай Островский. Классик советской литературы. Вчера, сегодня... Завтра?»

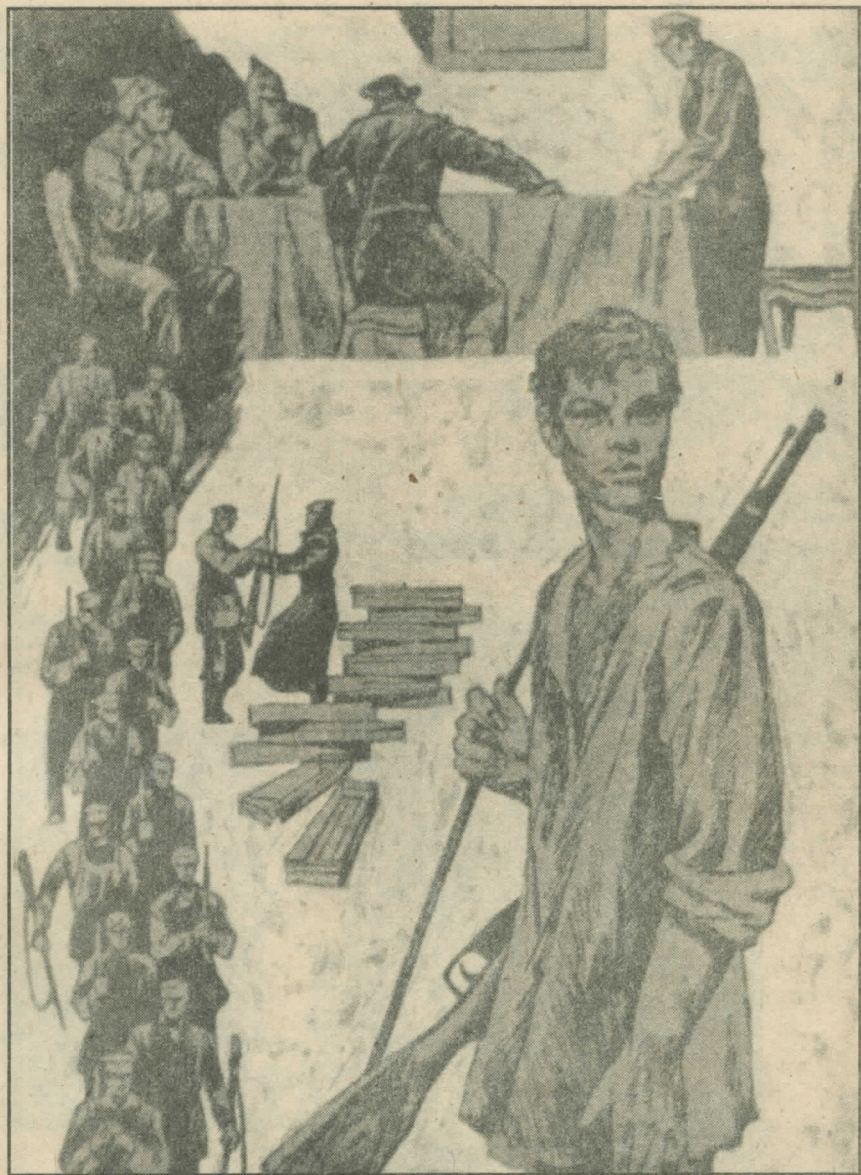
книге (к ТАКИМ книгам) ожидает нас и в будущем.

В его текстах есть магия, и эта магия связана с магией коммунизма как народной веры, победившей в русском массовом сознании XX века. По существу же эта вера вечна в истории. Коммунизм неизмеримо старше и сталинизма, и большевизма; коммунизм есть всегдашняя мечта человечества. Мы на этом пути ничего не достигли, вернее, мы достигли многого, но такой ценой, на которую не рассчитывали, а чаще всего мы получали вообще не то, на что рассчитывали. Но мечта-то остается. Достижима ли она?

Достижима — в ограниченных масштабах и на ограниченный срок. Возьмите израильский кибуц — это коммунизм. В масштабе двадцати семейств — осуществимо. Когда семейств двести — кибуц трещит по швам. А когда две тысячи — все разваливается. Ну а у нас двести миллионов было, и дикость страшная, и работать сроду не умели, только воевать да делить награбленное — какой у нас мог получиться коммунизм? Получился сталинский. Это что, и есть осуществление мечты? Нет, скорее это провал мечты, ее крах. Но мечта все равно остается — в подсознании — как недостижимый идеал. Кто поручится, что завтра эта мечта о всеобщем счастье под каким-нибудь новым соусом не овладеет массами вновь? Логика-то тут как была, так и остается, причем не рациональная, а чисто религиозная, эмоциональная, она СКВОЗЬ факты идет, как бульдозер. И книги, проникнутые этой логикой, идут сквозь литературную технику, ломая ее и отбрасывая. И никакие возражения и соображения литературного вкуса не помогают, когда текст такого типа и такого внутреннего напряжения ножем входит в жизнь.

Островский — автор именно такого текста: не традиционно «литературного», а, так сказать, духовно-практического, житийного по жанру, религиозного по типу внутреннего напряжения, хотя и с антицерковным, антихристианским знаком. Он есть выражение народной веры в коммунизм, или, если угодно, народного безумия, в экстатические эпохи неотличимого от мудрости, ибо, как сказал апостол, мудрость мира сего есть безумие перед Богом.

Видели ли наиболее пронизательные наблюдатели, что порыв массы к светлой коммунистической



мечте нес в себе с точки зрения элементарной, нормальной жизни — черты полного безумия? Видели. Видел Ромен Роллан, видел, наверное, и Барбюс, наиболее захваченный этим зрелищем, видел, конечно, Горький. Потрясающе чувствовал это Андрей Платонов: и безумие, и мудрость разом. Видели, а спорить не могли. Ибо это было НАРОДНОЕ безумие, реальность народной веры, и ничего с этим поделать невозможно. Или надо идти против народа.

Островский есть уникальное выражение этого экстатического состояния народной массы. Не «описание» его литературными средствами. А «преображение» реальности, ее пересоздание с помощью слова,

почти магического, расплавленного, сжигающего. Поэтому «фразы» Островского нельзя читать как «литературу». Получишь пшик, мнимость. Это текст другого происхождения. Это рев, вопль, бред, ясновидение, что угодно, но — не «описание».

Когда-то, делая книгу об Островском, я чувствовал себя контрабандистом, потому что, зная главную, с моей точки зрения, правду о нем: то, что это — житийный текст, выражение коммунизма как религиозного движения, — я, по условиям издательской игры, вынужден был строить вид, что взаимодействую с текстом литературным. Я даже Андре Жида боялся процитировать, в-первых, потому, что имя было под запретом, а во-вторых, потому, что





Жид именно и почувствовал в Островском человека, находящегося в экстазе веры. Я все-таки не удивился от удовольствия процитировать Жида, но я процитировал его, не назвав; расчет был на невежество редакторов, и, слава богу, редакторы меня не подвели: не догадались, чья цитата. А может, сочувствовали мне и помогли, промолчав. Так, с помощью анонимных цитат и псевдонимных определений и делалось дело в период раннего застоя, или позднего волюнтаризма, когда я писал книгу об Островском. Кое-что я тогда тактически уступил, кое-что и сам додумать не решился, но главное сделал: если не сказал, то хотя бы постарался внушить читателям ощущение Островского как религиозно-экстатической фигуры, и наиболее чуткие и внимательные из моих читателей и критиков все поняли и немедленно обвинили меня в контрреволюции и клевете на писателя.

Ладно, такое было время.

Но вот теперь вроде бы «другое» время. И вот люди ТОГО ЖЕ САМОГО ТИПА качнулись в обратную сторону и бегут с дубьем бить Островского. Так что же? Мало ли что качается толпа и бежит то туда, то сюда? Надо на своем стоять, как стоял.

В Островском и его книге заключена огромная правда — правда состояния народа. Коммунистическая вера была воспринята и русскими, и украинцами (мы же говорим об Островском), и другими народами, оказавшимися в этом историческом котле, не потому, что кто-то их обманул, а потому, что ХОТЕЛИ ОБМАНУТЬСЯ, ибо вера соответствовала мечте о счастливой жизни, надежде разом решить все неразрешимые проблемы, и даже не столько решить, сколько от проблемы раз навсегда избавиться. Никто никого не обманывал. Смешно думать, что народ можно обмануть, что нас обманули Троцкий, Ленин, Маркс или кто угодно еще; народное сознание движется по закономерностям почти статистическим, оно подчиняется не тому или иному политическому проекту, а жизненному инстинкту и чувству своей роли в геополитической драме. Предстояло русским столкнуться с немцами, причем насмерть — две мировые войны фатально надвигались, — вот и выработало русское сознание себе ВОИНСКУЮ идеологию, СОЛДАТСКИЙ вариант рая земного.

Немец на той стороне вслед за итальянцем в «пучок» силы собирал, да не так, как итальянец, а пострашнее (фашио — пучок — символ фашистского воинства), а мы на этой стороне тоже в кулак собирались (коммунист — общий — символ нашего коммунистического единения), и этот тотальный, солдатский, воинский, казарменный тип самоорганизации был predetermined геополитически, без этого нас бы просто раздавили, и мы сейчас обсуждали бы совсем другие проблемы. То есть, возможно, мы были бы даже менее несчастны, чем сейчас, впрочем, это были бы уже не мы.

Конечно, теперь, задним числом, можно с ужасом перечитывать ту жуткую эпоху, переживать ее с гуманистическим потрясением. Но как ТОГДА было говорить о гуманности, когда надо было уложить несколько десятков миллионов душ: и в первой войне, и во второй, и между ними, завершая строительство военного лагеря в одной, отдельно взятой стране, да еще убить руками СВОИХ? Какие святые могут быть у народа, находящегося в таком положении и в таком настроении? Только такие, как Павка Корчагин, которые переплавляют любовь в ненависть, и отвечают ударом на удар, и готовы пожертвовать собой и другими, причем абсолютно бескорыстно.

Есть очень важное отличие этих ранних героев от их расползшихся наследников: те, первые, сами расплачиваются за свои дела. У них братишка-браунинг близко, они спокойно глядят в дуло. Отличие ленинской гвардии, развязавшей народную войну, от сталинской, уничтожившей ленинцев, в том, что, хотя и та, и эта «гвардии» были порождением одной ситуации и наследницами одной системы ценностей, — ленинская гвардия за свои дела расплатилась собственной кровью. Причем так скоро, что и понять они не успели, кто их убивает и за что. И это в какой-то мере примиряет с ними мою запоздалую жалость.

Жалко их. Больно за них. Горько.

Вот так же горько и за Островского.

Он из тех, кто сам расплачивается, причем своей, а не чужими жизнями. Он из тех, кто сам платит по счетам.

Станет ли книга Островского воздействовать на людей в будущем? Это зависит от состояния людей в будущем. Вот сейчас мы орем на митингах, мы клеймим все, что имеет отношение к коммунистиче-

ской вере, а рев-то того же тембра, почва-то психологическая — та же самая, готовность верить всякому, кто обманет, — та же самая, и жажда все переделить — та же. Надо смотреть в корень: не «куда клонят» и «куда движутся» ораторы, а на что ОПИРАЮТСЯ, когда «клонят», по какой ПОЧВЕ движутся туда или обратно. Экстатическая готовность наших людей решать проблемы «разом», решать «одним ударом», решать, «наваливаясь миром», — остается. Так что Островского, я думаю, будем перечитывать, и не раз.

Да только ли его? Сейчас и Шолохова заново надо перечитывать, и Горького, и всех — НОВЫМИ глазами, но — с ощущением того, что никто не сделает БЫВШЕЕ — НЕБЫВШИМ.

Это — по существу того, ЧТО писал Островский. И КАК писал. Плохо? Может быть, и плохо, да сильно. Ибо такого рода исповеди и не пишутся «хорошо» — они не действуют, если не выкрикнуты прыгающими воспаленными губами.

Теперь последний вопрос: а если НЕ САМ писал? Что тогда? Вдруг это ему Анна Каравеева писала? Или Марк Колосов?

Неужели не чувствуете, в какую ловушку мы попадаем с этими вопросами? Хоть один текст, написанный Каравеевой или Колосовым, имел такое воздействие на людей, как текст Островского? Что ж они от СВОЕГО ИМЕНИ не написали такого?

Разумеется, они могли помогать Островскому, могли монтировать, чистить, править текст — но никто не мог подделать и имитировать то высокое безумие, которое таилось и пылало в этой книге. Ослабить — можно было. Но усилить — нет. Подделать — нет.

Вообще вопрос о том, кто «сам» писал, а кто «не сам», имеет значение только при начислении литературных премий или выяснении прав наследников. На некотором историческом удалении вопрос перестает быть фатальным. Кто написал Евангелие? Ну, положим, Матфей, Иоанн — у этих авторов есть свои самостоятельные роли рядом с Христом. Но что такое Марк, что такое Лука? Один слушал Петра и записывал, другой был при Павле и записывал. Так кто «автор»: Марк или Петр? Лука или Павел?

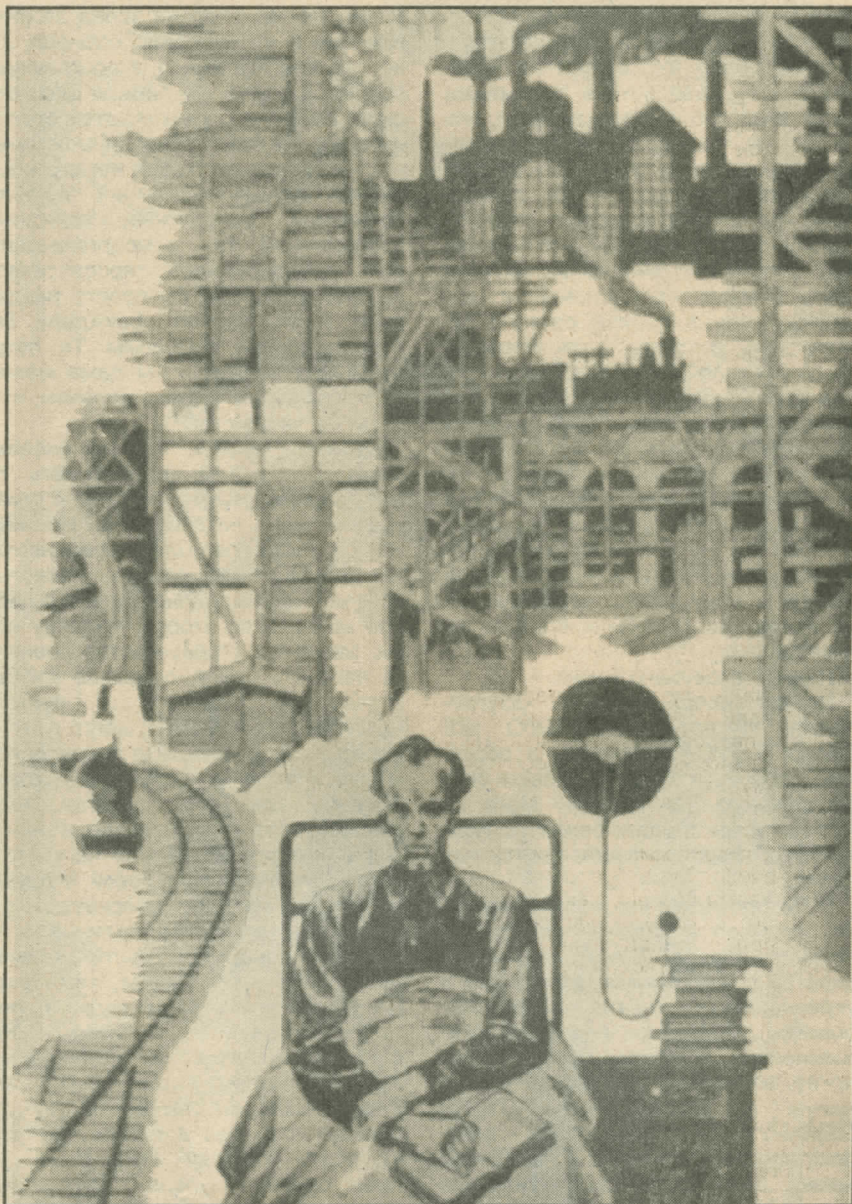
Простите, а кто «автор» мемуаров Л.И.Брежневца? Когда наши интеллектуалы хихикали по поводу того,

что Брежневу за «плохо написанные» тексты дают высшую литературную премию, — они что имели в виду: что «плохо» написали те журналисты, которые писали со слов Брежнева? Так это были блестящие журналисты, и теперь, в эпоху Гласности, они — властители дум. ИМ премию — не жалко дать? Если государственный деятель, являющийся КОНДЕНСАТОМ настроений массы и статистическим выразителем системы, с которой эта масса себя идентифицирует, оставляет мемуары, то дело именно в КОНДЕНСАТЕ настроений и опыта, а не в том, кто и как это записал на бумагу. Если Шолохов пользовался преданиями казачьих семейств, то это уже вопрос техники: КАКИМИ преданиями он пользовался — устными или записанными. Мы имеем «Тихий Дон» и читаем текст. Кем он создан? Чем более мощен и велик текст, тем больше ощущение, что он создан ВРЕМЕНЕМ. Если через текст бьет ток веры, то иной раз чем меньше «мастерства», тем больше тексту веры. Нехорошо написано — это не препятствие. Напротив. Пророки и сомнамбулы никогда не писали «хорошо».

Поэтому в полном экстатической веры тексте Островского мне не так уж важно, вписала ли в него или не вписала несколько своих слов Анна Каравеева. Или: под чьим влиянием или под воздействием каких внушений Островский в широко известном фрагменте: Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так... — заменил «идею коммунизма» на «освобождение человечества». Ибо эта замена решительно ничего не меняет в воздействии текста.

Потому что «идея коммунизма» и «освобождение человечества» — символы с точки зрения экстатического воздействия текста совершенно неразличимые, суть тут определяется не смыслом слов, а их существованием в потоке речи. Один символ заменяется другим — ритм остается...

Однажды в годы наступления социализма по всему фронту какой-то полуграмотный мужичок в провинции в праздник Первомая во время демонстрации громко кричал в тон основным ораторам: Смерть врагам империализма! Он настолько точно вписывался в ритм и тон праздника, что НИКТО НЕ ЗАМЕЧАЛ смысла его криков. Я думаю, смысла они и не нарушали, только адрес подменяли, что для нас несущественно. Семен



Трегуб в свое время остроумно употребил этот пример для изобличения моей работы об Островском: я-де ВРОДЕ БЫ кричу во здравие, а если вслушаться, так за упокой. Это замечательное доказательство того, что смысл слов мало что значит в нашей духовной ситуации, важен тип словоговорения. И статья Трегуба помнится и нравится мне теперь не существом высказанных в ней «идей», а признанием самого факта «сверхсмысленности» идей.

Будут ли люди будущего перечитывать и переосмыслять Островского?

Я не гадалка, чтобы знать, будут ли перечитывать, но не надо быть прорицателем, чтобы знать: если

будут перечитывать, то непременно будут заново осмыслять. В том числе и нынешний «антисталинистский», «антикоммунистический» контекст, в котором он СЕЙЧАС осмысляется.

Кем он будет в глазах наших правнуков? Фанатиком? Жертвой фанатизма?

Я думаю, я хочу, чтобы он был осмыслен как человек, который за все платит сам. За веру и за ошибки, за насилие и за слабость. Он за все платит сам, и потому его дело чистое.

И никакие сегодняшние критики этого факта не изменят.

Николай ФОМИЧЕВ

# ЦЕНЗУРОЙ ПО «ТРЕМ СТОЛИЦАМ»

Отменена ли в нашей стране политическая цензура?

«Да уж два года как отменена», — скажет, в изумлении разведя руками, наш обо всем осведомленный читатель.

«Ан нет, дорогой, ошибаешься», — скажем мы. И беремся сие с легкостью доказать.

Вот перед нами выпущенная недавно издательством «Современник» книга лидера правых националистов в Государственной Думе, известного эмигрантского публициста, издателя газеты «Киевлянин», одного из идеологов белого движения Василия Витальевича Шульгина (1878—1976) «Три столицы».

Первые книга вышла в свет еще в 1927 г. в Берлине, в издательстве «Медный всадник». И сразу прогремела в эмиграции и не только в ней, ибо была посвящена нелегальной поездке писателя в Советский Союз.

Поездка эта напрямую связана с историей известного, выпеченного по заказу ведомства с Лубянки, телесериала «Операция «Трест».

Вся история «Треста» — псевдоконтрреволюционной организации, специально созданной чекистами для внедрения в эмигрантские мо-

нархические круги, — подробно описывается Дмитрием Жуковым (он же составитель книги) в обширном стостраничном послесловии к «Трем столицам». Написано послесловие весьма квалифицированно, и хочется верить, что не по инициативе Д. Жукова в преамбуле к книге «От издательства» появился вот такой диковинный пассаж, проникнутый глубокой озабоченностью об идеологической невинности читателя:

«Издательство «Современник», печатая «Три столицы», считает необходимым опустить некоторые наиболее грубые и оскорбительные выражения в адрес Владимира Ильича. К тому же сам автор, по свидетельству людей, хорошо знавших его, впоследствии сожалел о своих бестактных высказываниях»(?)

На шестом году «перестройки», когда издано уже изрядное количество разоблачительных документов и литературы, стирающих хрестоматийный глянец с иконописного ленинского лика, смешно и одновременно удивительно сталкиваться с подобной тягой соблюсти идеологическую невинность, демонстрируемой национал-большевистским издательством «Современник», которое наряду с «Молодой гвардией» и рядом других издательств многие годы было одним из столпов коммунистической пропаганды и агитации в «стране победившего социализма».

Так что же вызвало такую неприязнь у издателей?

Берем в руки первое издание книги и сверяем — страницу за страницей.

На с.280 современниковского издания обнаруживаем выброшенное определение, сделанное в адрес Ленина эмигрантским знакомым Шульгина, Н.Н.Чебышевым, — «это сумасшедший».

На с.218 почему-то не пришлось по сердцу «маниакальная голова Ленина». На взгляд товарищей издателей, наверное, лучше бы подошло определение «гениальная». Но, увы, не писал Шульгин таких определений в адрес Ильича.

А вот несколько более пространных высказываний писателя о Ленине:

«Удивительная физиономия у этого Ленина. Когда я на него смотрю, мне всегда вспоминается великорусская поговорка: «Нам с лица не воду пить...»

Да уж, действительно...

Глаза словно щели, растянутый рот,  
Лицо на лицо не похоже,  
И выдались скулы углами вперед,  
И ахнул от ужаса русский народ;

— Ай, рожа, ай, страшная рожа».

(Алексей Толстой-старший)  
(стр.90).

Что ж, каждый вправе иметь свое мнение по тому или иному вопросу. На вкус и цвет товарища нет. Только вот товарищам из «Современника» это до сих пор неясно.

Вот еще одна снятая цитата, которая, быть может, покажется кому-то излишне резкой. Кому-то из тех, кто не знал или забыл, каким издевательством и мучительством обернулся коммунистический эксперимент над Россией, какими миллионами жертв обернулся в итоге и

кто был одним из главных его инициаторов.

«Он и умер.

Что он мог сказать больше?

Нельзя требовать от человека, всемирно признавшего себя ослом, чтобы он сделал что-нибудь еще гениальнее». (с.148).

К этим двум цитатам примыкает и третья, которой, естественно, в современниковском издании тоже нет. Цитата пространная, но, как нам кажется, имеет смысл привести ее целиком. Наверя данный сюжет путешеством по Красной площади.

«Передо мной был Кремль, к каковому слову прибавить больше нечего. Сказать Кремль — это достаточно.

Впрочем, что я Прибавка была, и весьма интересная.

Пристроившись к высокой зубчатой стене, стояло нечто черное, о чем я сначала подумал, что это остановка трамвая. Но нет — никакого трамвая тут не проходит.

— Что это, по вашему? — спросил меня Петр Яковлевич (один из сопровождавших Шульгина «контрабандистов» из «Треста». — Н.Ф.).

Я сказал:

— Остановка трамвая, если бы тут были трамваи.

Он рассмеялся:

— А не хуже? Вы знаете стихотворение?

Под вой гудков и плач жидков  
Хоронят нового мессию,  
И благодарная Россия  
Под звуки пушек и мортир,  
Спустила Ленина в с...р.

— Ах, это могила Ленина?

— Так точно. Весьма удачное архитектурное произведение и, главное, весьма подходящее ко всему стилю этой эпохи. Это то, что первым делом разнесут в щепы, когда...

— А вот я бы этого не сделал! Наоборот. Я бы оставил его на вечные времена. Но с соответствующей надписью, конечно... В ней было бы сказано примерно: «Здесь похоронен Ленин (Ульянов). Этот человек казнил столько-то людей всех сословий и уморил голодом столько-то миллионов русских крестьян. Это он сделал, чтобы насадить социализм. Работал он, главным образом, при помощи евреев, которых очень любил. Но социализма ему устроить не удалось и в конце жизни он отрекся от своего учения. Он даже потребовал от всех своих помощников, чтобы они учились торговать. Евреи, которые всегда торговать

умели, с превеликой охотой этот приказ выполнили. Затем Ленин, давно болевший сифилисом, сошел с ума и умер от прогрессирующего паралича 8—21 января 1924 года. Его набальзамированное тело, равно как и сие здание, сохраняется, как память о величайшем человеческом безумии, в назидание потомству!»

«Да, так бы я сделал, а не разрушал бы этот мавзолей. Ибо этот сумасшедший уже стал частью русской истории, и было бы в высшей степени невыгодно, если бы тяжкий урок, преподанный нам через сего венерического Чингис-Хана, пропал бы для будущих поколений даром». (с.221).

Что касается нелюбви Шульгина к евреям, считавшего представителей этой нации одними из главных виновников кошмара Октября, то это уж на совести автора. Не следует, впрочем, забывать и о том, что во время суда над Бейлисом Шульгин выступил на стороне евреев в хоре антисемитских выпадов.

Закончить это путешествие по отцензуренным «Трем столицам» уместно двумя отсутствующими в современниковском издании цитатами, в которых речь идет уже не о Ленине, а о ленинцах-коммунистах.

«Кто хочет бороться с коммунистами, тем одна дорога: дисциплинировать во всех отношениях самих себя. Другими словами — стать фашистами.

Фашизм и коммунизм (ленинизм) два родных брата. Только ленинизм хочет править так: всех людей навсегда превратить в скотов, а самим жить припеваючи в роли погонщиков мулов. Фашизм же хочет править «постольку-поскольку»; пока люди «скоты», их и гонят, как стадо таковых. Но им не закрыта дверь. Наоборот: фашизм ставит себе основной задачей превращать скотов в людей. В этом все различие Белого и Черного (сиречь — Красного). Белое говорит: смиритесь, не считайте себя богами; смиритесь, оглянитесь, дайте себе отчет, на какой ступени естества вы находитесь; не требуйте большего, чем вы заслуживаете; но старайтесь, начав с той ступени, на которой вы стоите, идти вверх; всегда вверх, никогда вниз! Вам доступно все. Вы можете подняться на всякую высоту, ибо созданы по образу Божию и подобно.

А Черное (Красное тож) проповедует: Бога нет, но вы все сами суть боги, которым все дозволено; и как только люди поверят, что они действительно боги и что им все дозволено, они немедленно превращаются в скотов, над которыми Черные и властвуют.

Белые — учителя, строгие по необходимости; Черные (Красные) скотовладельцы...» (с.185).

Правда, следует учитывать, что во время написания книги Шульгиным речь могла идти лишь об итальянском фашизме 20-х гг., который, естественно, весьма отличался от немецкого 30-х и 40-х гг.

Да, Шульгин ошибался в своих оценках преимуществ фашизма перед большевизмом (сегодня-то ясно, что это две стороны одной медали). Но это не повод для редактирования по принципу «нравится — не нравится». Не понравилось «современникам» и такое определение коммунистов, которое издатели (вот уж воистину — родственные души) вынести никак не смогли:

«В России они (коммунисты. — Н.Ф.), увидевши, что грабить больше нечего, стараются вернуться к устоям старого мира. И поскольку это им удается, они из уголовной сволочи превращаются в фашистов». (с.155).

70 лет существования в стране политической цензуры привели к тому, что наш читатель не имел практически ни одного издания художественной литературы, которому можно было бы стопроцентно доверять.

В правленном и подчищенном виде, с лакунами, выходили даже Пушкин, Толстой и Достоевский, не говоря уже про всех остальных.

Как говорил Ключевский, чтобы в наши дни быть студентом русской истории, надо стать для себя самого профессором.

Перефразируя эту мысль, можно сказать, что, чтобы быть читателем изящной словесности, изданной в Стране Советов «кусковыми» методом, надо для себя самого стать профессиональным текстологом.

Либо надеяться на то, что сыщется все же издательство, которое не убоится резких слов и определений, содержащихся в книге Шульгина, и издаст ее не в бритостриженном виде, а в том самом, как она задумывалась автором и была издана 64 года тому назад.

Тем паче, что и цензуру в Стране Советов вроде бы как отменили.

Или нет?..

Юз АЛЕШКОВСКИЙ

# НЕПОНЯТНАЯ

Из «Книги жалоб»

**М**илостивая государыня, Раиса Максимовна, обращаюсь к вам исключительно как к ближайшему агенту влияния на человека, который может оказать дружескую услугу соотечественнику, попавшему в НЕПОНЯТНУЮ.

Считаю, что именно это слово замечательно характеризует случаи, выпадающие на долю огромных наций и их составляющих песчинок, то есть жертв истории и судьбы.

Я даже полагаю, что так называемая ИСТОРИЯ просто обязана, так сказать, конвоироваться этим всеобъемлющим словом в наше сознание, и тогда всем нам хоть ясно будет, с чем мы имеем дело на протяжении тысячелетий. Например: НЕПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, СРЕДНИХ ВЕКОВ ИЛИ СССР вместе с партией.

Я внутренне давно уже числю себя членом Вашего Фонда Культуры, но нахожусь в настоящий момент в ментовке графства Мидлсекс. А советское посольство в Вашингтоне заявило, что я не достоин продолжать быть субъектом международного права. Ты, мол, злостный БОМЖ, рвань наркобизнеса, аферист и мелкий позор сверхдержавы.

Не знаю, кто именно беседовал со мной по телефону, но какой-то, с позволения сказать, дипломат, услышав коллектом мою фамилию и вопль о помощи, сначала согласился на этот вид телефонного контакта, а затем начал орать в трубку, что страна сидит на голодном валютном пайке, я же браконьерствую на дорогах Америки и подрываю тем самым усилия Родины по попаданию в Международный Валютный Фонд.

Затем, с грубостью, достойной лучшего применения в переговорах с врагами, этот мимозник\* — так называют в народе нашу молотовско-громыковскую шоблу — крикнул, что страна, понимаете, мечется в конвульсиях конверсии и утечки мозгов, поэтому я не только не получу ни копейки помощи, но и расстанусь со всем своим имуществом в Москве, которое конфискуют, переведут в доллары и заплатят огромный штраф графству Мидлсекс за браконьерство фауны и нападение на полицейских... Нам, мол, такие граждане не нужны. Ты, мол, получил, по данным Лубянки, приглашение от ярых рецидивистов Пьяницера и Рабиновича-Оглы, но скрылся от

них в неизвестном направлении и теперь в ТАКОЕ!!! ВРЕМЯ!!! ПРОСИШЬ!!! МИЛОСТЫНЮ!!! СВОЛОЧЬ!!! У МАТЕРИ-РОДИНЫ??? ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА!!! МРАЗЬ!!! ПО ТЕБЕ МОРДОВИЯ ПЛАЧЕТ!!!

Ну а когда мимозник заявил, что я перезаразил, по данным контрразведки, дюжину офицеров ГРУ триптихом, то есть триппером, трахомонусом и крабами, то я, конечно, не выдержал и с вежливостью, достойной лучшего применения, заявил, что вновь приступлю в один прекрасный момент к исполнению обязанностей гражданина СССР, а уж тогда пройду бульдозером по его мимозной роже так, что она станет похожа либо на Красную, либо на Старую площадь. Поскольку дама, перезаразившая офицеров ГРУ триптихом, стала мне чужда за три года до попадания в ряды нашей контрразведки, а я лишь покоился в ее записной книжке как один из бывших постельных кадров. Зачем же, говорю, каждой телеге трястись теперь за мной в досье по дорогам Истории?

Рассудите, Раиса Максимовна: какой же он дипломат, если бросает трубку в момент переговоров с соплеменником, а когда я вновь, чуть не корчась от боли в копчике, звоню коллектом в посольство, нисколько не скрывая своих личных грязных мыслей, буквально орет несколько нецензурных выражений и отказывается брать коллект? Спрашивается: что, Родина наша дошла уже до того, что не может оплатить откровенного разговора с одним из своих пропавших сыновей? И что, собственно, дипломат делал пять лет в своем МИМОЗЕ? Насиловал дочерей нижестоящих родителей? Фикстулил в жакузи? Устраивал оргии с лицами обоого пола, в порядке изучения ИХ нравов? Носился по Москве в черном мерседесе и срывал цветочки с панелей вроде отпрыска Щелокова? Да?

Извините за срывы. Начну по порядку.

**С**вышеупомянутыми американцами еврейской национальности я, действительно, находился в местах заключения. Мы шли по одному делу, демонстрируя такую нерушимую дружбу народов, что это мы достойны одноименного ордена, а не какой-нибудь там Генрих Боровик, который разжигал ненависть к американцам в годы застоя и пел дифирамбы выездному коммунизму. То есть жил, как в раю, вдали от Родины и постыдно облаивал систему, сытую по горло правами человека, котлетами и уверенностью в завтрашнем дне. А

\* Мимозники: выпускники Московского института международных отношений. (Большой частью и по традиции потомки партийной и прочей властвующей элиты. — Прим. автора.)

ведь немецкая, кажется, поговорка указывает, что не верь овчарке, которая в своей конуре серет.

Мы в лагере были не евреями и русскими, не хохлами и причиндалами, то есть не чукчами, а имели национальность ЗЭК, которую нам врезала промеж рог Родина-мать, Раиса Максимовна, за бесконечную преданность идеалам теневой экономики. Если бы не она, то на месте России уже лет сорок гулял бы по пустому буфету Дефицит Алкогольевич Доходягин.

Затем мы все освободились. КПСС в тот момент догладывала последние остатки браконьерски растерзанной царской империи. И не надо было выходить на Волгу, чтоб услышать, как стон раздается кандално-национальный, то есть агония плановой экономики.

Мои лагерные друзья слиняли в Штаты, поскольку Система перекрыла кислород не только евреям, но и русским. Однако русскому человеку некуда с Родины податься. Тем более ее у него — одна шестая часть света. Навалом у него Родины. Выше крыши, как с особенной болью осознал я в тюрьме графства Мидлсекс. А на самом-то деле Родины у русского человека меньше, чем у еврея в Израиле, где, говорят, на улицах такая теснота, что приходится, как за ручки в трамвае, за чужие пейсы держаться. Русского человека паспорт держит в конуре. Это мимозники наши достают его из широких штанин дубликатом бесценного груза, нагужевавшись за границей от пуза. А мы на цепи твякаем от дома до службы и со службы через пивную подворотню — до дома. Пожелай же свалить русский человек в свою же сибирскую тайгу, поближе к ценной пушнине и вольной жизни, то его никто там не пропишет. Его вышибут оттуда в 24 часа с подпистой о невозвращении на место рождения. Меня же ВЫШИБЛИ!!! Но дело не в этом.

Рабинович-Оглы вместе с Пьяницей прислали мне приглашения на встречу в Нью-Йорке бывших братьев по нарам.

Я принял решение повидать гоп-компанию. Тем более, русскому человеку необходимо познакомиться с манерами частного предпринимательства на месте. Ему ведь родимый дом восстанавливать и обустраивать, ему ведь порядок в нем наводить после того, как Ум, Честь и Совесть нашей эпохи отгужевались на троих семь десятков лет и задростили-облевали все его углы и этажерки. У ВАШЕГО хоть совести хватило начать своевременную приборку помещений и переименования дороги к Хаму и Хламу в дорогу к Храму, чтобы начать постепенный вывод Родины и всех нас из НЕПОНЯТНОЙ. Спасибо ЕМУ, несмотря на некоторое лавирование по вышеупомянутой дороге, создающей ряд аварийных ситуаций, как в случае со мной...

Я оформил документы. Плюнул на обмен рублей на валюту. Это же смешно. Чтобы занять сотен пять долларов, завязавшему человеку снова надо кого-то ограбить, что-то шурануть и где-то схимичить. Но я завязал. Я не пожелал примкнуть к рэкетирской шобле. Я отказался стать котом и сутенерски снимать золотую пену с уличных трусиков. Я возмечтал стать честным меховщиком и выйти из преступной тени под солнце свободной коммерции.

Одалживаю на билеты у бывшей любовницы, ради чего даже отступаюсь от принципов и снова вступаю с ней под банкой в бездуховную половуху, то есть в секс. Одалживаю десять штук. Пять пошло верхами за срочную доставку авиабилета на дом.

Затем бывшая дама сердца и прочих органов умолила меня взять у нее штуку зеленью для покупки клевого

енотового манта, потому что одна выразительница взглядов времени, то есть ясновидящая Зинаида, определила енота как личный Зойкин мех, наподобие лилии и ониксы как цветка и камешка.

Все, говорит Зойка, есть у меня — тачка, кайф, лилии и ониксы, но енотовую телогрейку ты мне, Саня, приволокни с так называемой свободы. Тут такого меха нет даже в музее Революции, откуда беспредельщики стырили последнюю енотовую шубу сенатора Родзянки, пятьдесят шестого размера, которую мне собирались перешить в манта в ателье Генштаба. Штуки зеленью, говорит Зойка, вполне хватит. На остатки можешь заказать по телефону любую студентку. Они протестуют против родителей и не брезгают никакими деньгами, в том числе и небольшими.

Ну, я, Раиса Максимовна, после такой радужной для тела перспективы, согласился. Мы на нарах, помню, мечтали довести нашу Родину до такого благосостояния, чтобы каждый одинокий гражданин мог набрать номер, вызвать какую-нибудь второгонницу с третьего курса истфака МГУ, у которой, как говорится, еще двойки в одном месте чувствуются, и поговорить с ней за приличную сумму о чем-нибудь НЕПОНЯТНОМ.

Я согласился. Мех — не тонна жвачки и не холодильник со стиральной машиной ФИЛИПС.

Бабки на таможене не декларирую, чтобы не было лишнего вмешательства в наши с Зойкой внутренние дела. Прилетаю. Встреча друзей. Встретили они меня в лагерных робах, с номерами на карманах. Но едет лагерная пыль по Брайтону в белом лимузине длиной со стратегическую ракету, а кассетник в нем захреначивает оптимистический гимн Вилли Токарева небоскребам.

Отгуляли встречу. Все было о'кей на высшем уровне. Ну и снова я попал в НЕПОНЯТНУЮ из-за безбрежной широты своей неисправимо русской души.

То есть я пожелал махнуть в Атлантик-Сити, чтобы поиграть себе сотен пять долларов для безответственной, то есть беспечной жизни в этом поганом Нью-Йорке. Махнули. Ну, там я с ходу впал в принципиальный азарт и просадил все Зойкины бабки. Сломал от досады рычаг игрового автомата. Рабинович-Оглы с Пьяницей заплатили за меня штраф и удержали от расправы со сволочью, который охраняет этих железных фармазюнов от справедливого гнева фраеров, попавших в замаску.

Что мне было делать? У меня не то что на телефонную девку ни копейка не осталось, но и без енотового манта я на Родину не могу возвратиться. За такое фуфло Зойкина мафия с ходу меня замочила бы, и скелет мой нашли бы археологи только через пару веков при ремонте фундамента частной силосной башни. Не раньше.

Однородельцы, конечно, меня успокаивают, жри и пей, Серега, без покаяния и мучений совести. Шмотья тебе накупим, калошами снабдим на всю будущую половую жизнь, видик дадим, стыренный пуэрториком у китайцев, а насчет енотового манта забудь. Тут ему цена — не меньше трех штук. Мы скинемся и отвезем штуку этой падле беспредельной, Зойке-гадюке, обратно. Да и подработаешь «зелени» в кабаке у Зямы, на мангале или в посудомойке с вышибоном — будь спок, одним словом. В следующий приезд не будешь пиджачком, который полагает, что Трамп отмахал свой Тадж-Махал специально для улаживания валютного аппетита совковых везунчи-



Рисовал А. Заяц

ков. Трамп сам попал почище твоего и находится в очень сложной замаске. Скоро у него от всех курбасов останется одна голая Карла Марла. Тейк ит изи, Серега. Сейчас мы в баньке попаримся и опохмелимся, а близость у тебя будет с Нелли из Одессы, поскольку ее муж сгорел на пересортице бензина, а она уже второй месяц страдает от лишней чувственности. То есть бьется в тесной печурке гормон. И порнухи наберем в видеоклубе из серии О, ЗУ-У, ЗУ-У, в смысле МОЯ КРОВАТКА В ЗООПАРКЕ! Лежи себе, тяни пивко и ужасайся коварным фантазиям продажных женщин, совращающих даже невинных питонов, догов, осликов и жирафов. Все будет, Серега, о кей... И тут, Раиса Максимовна, попадает нам под машину прямо на хайвее громадный енот. Жаль было глупого зверя, но криминальная моя башка моментально среагировала на преступную возможность.

На следующий день беру у Пьянищера его приличный ФОРД. Достая у двоюродного брата Рабиновича-Оглы, который скорнячил на меховой стрит, все, что надо для шкурничества, и еду в Коннектикут. Поселяюсь там у одного писателя, с которым тянул в Бутырках пятнадцать суток. Встаю часов в пять утра, на зорьке. И еду по пятнадцатой дороге.

Дорога эта очень лесистая и красивая. Еду медленно и смотрю по сторонам. Не понимаю, почему проезжие американцы показывают мне из окон своих тачек пальцы. Догадываюсь, что это они добродушно жестикулируют «доброе утро» иностранному гражданину и в его лице всей нашей перестроечной сверхдержаве.

В порядке ответной вежливости жестикулирую тем же пальцем и продолжаю высматривать свою хитрую цель. Предчувствие меня не обмануло. На протяжении миль двадцати замечаю штук шесть свежесбитых енотов. Быстренько подбираю их. Складываю в пластиковые мешки. Уворачиваюсь от каров, словно тореадор от стада быков. Пляшу прямо на хайвее от радости, потому что, думаю, если я за одно утро набрал целую дюжину зверей, то за пару недель вообще захреначу штук пять манто высшего класса.

Американцы, должно быть, сочувствуя моей радости, продолжают показывать все те же пальцы. Отъезжаю на обочину. Волоку зверей в лесок и мастерски в кустиках их разделяю, хотя у многих перебиты руки-ноги и травмирована кое-где шкура. Но если, прикидываю, Грачик из Столешникова переулка способен превратить пяток кошек, забитых палками в подъездах, в клеую ушанку, то из этих инвалидных енотов он двуспальное одеяло замастырит — не то что пару шиковых шуб. А Америка пусть скажет спасибо человеку из России за то, что он очищает окружающую среду от разлагающихся трупов сбитых зверей.

**Х**уже всего обстояло дело и в последующие дни с подборкой енотов с хайвея. Американцы мчатся по утрам с нарушением скорости, а полиция в это время еще спит. Того и гляди — сам окажешься рядом с мертвым енотом под колесами «Роллс-ройсов» и «кадиллаков».

Я, действительно, просто выныривал пару раз из-под бешеного этого транспорта. Показывал, в знак извинения за аварийную ситуацию и расположения к дружбе народов, средний палец левой руки. Мне отвечали тем же, и я с горечью думал, что у нас в Отчизне человек предельно одичал к человеку. В подъезде встретишь соседа, а он тебе вместо «доброе утро» говорит с мрачной

серьезностью: «Ну что, козел, вопросительно косяка давишь? До полочки на бутылку сшибаешь?..» А тут — просто братство и взаимное понимание, как в бане на хабаровской пересылке.

Я жестоко ошибся в американском добродушии, но об этом немного позже.

С риском для жизни выхватывал я прямо из-под колес погибших енотов и еще кое-каких незнакомых мне крысвидных товарищей. Шкуры потом выделывал в подвале у писателя, пока жена его не устроила дамского скандала из-за неприятных запахов и привлечения в дом мух, хотя я опрыскивал пространство подвала цветочными аэрозолями, которыми свободные американцы облагораживают воздух в сортирах и детских спальнях.

Все ж таки я успел выделывать порядочное количество шкурок, но тут жадность фраера сгубила. Делаю ночью последний заход на одно место, где каждый раз находил пару сбитых енотов. Видимо, шоссейка шла через их вековечный какой-то маршрут, и они никак не могли взять это дело во внимание.

Продолжаю обмениваться с американцами душевными жестами. Вот, думаю, страна, закапывая освеженных зверюшек под сосенками. Вот где человек человеку — действительно не Лаврентий Павлович, а Лапуля Иваныч Кисанькин.

И тут ослепляет меня вдруг фонарями так, что я потом разглядеть никого не могу и только показываю этот самый проклятый палец для сигнала о моем мирном настроении и желании объяснить жестами, но снова попадаю в НЕПОНЯТНУЮ.

Меня, а я ведь ослеп совсем от фонарей, грубо берут за шкурку и кидают к машине. Я что-то бормочу по-русски насчет того, чтобы только без рук, без рук, без рук, сволочи поганые, я вас всех тра-та-та-та, а меня резко тычут рылом в капот и дают вдобавок такого жестокого и злобного поджопника, какого я еще не получал даже в ментовках нашего неправого государства.

Не выдерживаю насилия над собою в зарубежной поездке и даю ногой оборотку. Затем вырываюсь и бегу в сторону, чтобы проморгаться и разглядеть что к чему, чтобы действовать не вслепую, а врезать в глаз так, чтобы растекся он по дереву. Одновременно сую кому-то последние долларышки, поскольку научен был Пьянищером с ходу откупаться от наркоманов-налетчиков. Но тут меня валят с ног ударом по голове.

Очухиваюсь уже за решеткой, но понимаю, что в движущейся машине. Из-за воя ее сирены ничего не могу прокричать впереди сидящим товарищам, то есть полицейским. Но просовываю сквозь решетку руку, чтобы побратски обнять черного полицейского, и кричу ему на русском: кореш, я за дружбу народов всех мастей, которые есть во всемирной колоде, я не расист, извини, если чего не разглядел. А мне полиция — опять по обнимающим рукам вмазала дубинкой... НЕПОНЯТНАЯ...

В общем, часа через три, уже в ихней ментовке, мне удалось вытребовать переводчика. Писателя я вызывать не хотел, чтобы не навести на его подвал с моими шкурками эту американскую псарню. Я всегда старался никого не брать с собой по делу.

**П**риезжает, к моему удивлению, батюшка из местной православной церкви, отец Павел. Для начала благословляет мою невезучую личность на правдивые показания и искреннее раскаяние. Затем горестно выясняет, что отпустить такого бастарда и джерка не-



возможно, так как я не только браконьерствовал, но нарушил целый десяток статей, хамски сопротивлялся при задержании, расистской ногой отбил черному сержанту какой-то соуэидж, дразнил американских граждан пальцем, выкрикивал на английском ругательства, предлагал полиции взятку, да к тому же смазал мента по мордасам освеженной тушкой енота, что считается, по местным законам и еще с индейских времен, непростительным оскорблением личности. Тебя, говорит батюшка, ждет суд за все эти действия, а также за езду без прав на ворованной машине, находящейся в розыске, которая была стырена у одного советского дипломата прямо рядом с ООН.

Ну вот, думаю, подвел ты меня, дорогой Пьяницер, под такую НЕПОНЯТНУЮ, что глаза мои хватаются за брови и на лоб лезут. Теперь наше посольство не то что спасти меня не станет, но, наоборот, — ломом опояшет и в лагерный сортир бросит.

Я доказываю через батюшку, что действовал в форменном ослеплении ручным фонарем и желаю взять недорогого адвоката для встречного иска. Как, спрашивается, мне смиренно поднять руки вверх и бессловесно тыркнуться сопаткой в капот, когда я физически не мог разглядеть ни одной нападающей рожи? Меня, говорю, в Союзе вязали пару десятков раз, но я же никогда не артачился, чтобы не портить наручниками нервы и кровяные сосуды рук. Из этой логики и прошу исходить. Но «эс фак юз ми э лот оф шит сэнкс» я искренне перепутал с «верри сорри», а палец показывал в знак дружбы народов и ради попытки уладить НЕПОНЯТНУЮ мирным путем, то есть вась-вась. Енотов же не я убивал, а ваши шоссейные лихачи. Я бескорыстно санитарствовал и хотел отмазаться енотовым манто за попадание в игровой империи такого-сякого Трампа. Шумим, в общем, и базарим.

Тут батюшка говорит, что ничего не понимает из сказанного и надо бы вызвать другого переводчика, поскольку сам он должен ровно в два ноль-ноль освятить жилье, точнее говоря, изгнать демонов и бесов из нового дома одного свежего приезжего христианина из России.

Я обрадовался, потому что какой-нибудь чугрей, сваливший недавно из Союза, лучше знаком с российской нашей нынешней феней, чем добрый этот одуванчик второй волны. Батюшка уехал, вторично меня благословив на правдивое предварительное следствие.

Где брать второго переводчика? Писателя я тоже никак не мог тянуть с собой по делу. Я — человек школы генерала Карбышева, а не Зиновьева с Каменевым, которые половину делегатов съезда заложили на первом же допросе и подвели под гильотину термидора.

Отказываюсь подписывать какие-то бумажки. Тогда мне дают телефон нашего посольства. Надо сказать, что менты подуспокоили свои нервишки и были невыразимо со мной вежливы. Чувствовалось, что до них кое-что дошло. Я ведь им не переставая в мозговывал, что не лямба-бяка повязан ими из Мозамбика, а гражданин сверхдержавы, которая, понимаешь, средний палец левой руки на красной кнопке ядерной зимы держит, а иногда и помахивает им перед носом Буша. Вот как! И с нами лучше держаться вась-вась, господа...

И что же мне отвечает коллектом мимозник из Вашингтона? Что им сейчас не до пылесосов из Москвы,

поскольку они подготавливают саммит в Москве и думают сократить бомбы с ракетами, а выездная мафия только осложняет международную обстановку советского авторитета. Я возмущился и ору, что это не я — пылесос, а ты, в рифму говоря... кое-кто...

Но на эту тему я уже высказал вам жалобу.

А НЕПОНЯТНАЯ все сгущается и сгущается, Раиса Максимовна. Вдруг в ментовскую звонит писатель и интересуется, не попал ли я в аварию, не лежу ли в больничке и так далее. Разыскивать меня начал, одним словом, поскольку я обещал вернуться ровно в 9 утра.

Мент передает мне трубку. Я быстро изложил писателю индифферентным тоном сущность дела и то, что я никогда не заложу его как сообщника по делу о заготовке енотовых шкур — никогда! Пусть он не беспокоится за свой дом и репутацию. Пусть немедленно приезжает для перевода моих показаний ментам.

Писатель отвечает, что дом его я уже так провонял, что никакой ремонт не поможет. Строго и серьезно, скрывая ропот души, прошу пояснить в двух словах, что он имеет в виду. Оказывается, этим утром к ним в бейсмент — так в Штатах называются холодные подвалы — пробрался на запах енотовых шкур воюющий скунс. Жена писателя стала его выгонять метлой по хребтине, в ответ на это скунс невыносимо провонял весь дом вместе с женой и с моими шкурками, которые пришлось тайком увезти на помойку. Затем скунс скрылся. Вонь его теперь ничем не выведешь пару месяцев. Таким образом, я начисто сорвал новоселье, на которое приглашены десятки гостей со всех концов Америки. Пришлось даже дать от ворот поворот священнику, который в такой воище не может изгонять демонов и бесов. Вот что ты, падла такая и проказа, наделал с вечной своей страстью увлекать себя и других в НЕПОНЯТНУЮ.

Примчался писатель в ментовскую. Разит от него скунсовой вонью шибче, чем на пересылке после раздачи ржаного хлебушка. Все лицо и руки — в крапивнице и чуть ли не в волдырях — от зверского того зловония. Но он все же перевел полиции мои чистосердечные пояснения и признания. Я также попросил дать мне Библию, чтобы поклясться на Ней лишь в освежке убитых на хайвее енотов, поскольку сердце русского человека не может вынести такого бесхозяйственного отношения к гибнущим меховым шкуркам. На меховые, поясню, манто у нас в стране дефицит, так же как и на продуктовые ваши посылки.

Тут менты, зажав носы двумя пальцами, гундосят, что доверяют мне, что всякое, конечно, в жизни случается, судья примет странные обстоятельства дела во внимание, а сейчас я должен сказать, как у меня оказалась стыренная у совкового мимозника из Внешторга машина?

Библию на этот раз не прошу и ухожу в глубокую неосознанку, за что, Раиса Максимовна, фото мое вы должны повесить на стене своего Культурного Фонда. Я спас нашу сверхдержаву от мелкого позора в канун подписания договора о сокращении стратегических вооружений и свиданки Буша с вашим супругом в Москве. Я не поднахезал нашей многострадальной Родине в период ее трудного движения к западным кредитам. Я принял весь удар на себя. Я сказал, что увидел ключи в замке зажигания незнакомой мне тачки и не удержался от того, чтобы не прокатиться на ней по Нью-Йорку. Ну а потом я уже не мог с ней расстаться, поскольку всей душой полюбил автоматику, комфорт и бесшумную работу движка ФОРДА. Не мог. ФОРД этот стал моим единственным

другом в вашей стране, и не мог я с ним расстаться. На этом я и хочу строить линию своей защиты. Если тут кто оплакивает судьбу одного Джека-потрошителя, который, страдая от страха перед ужасом одиночества, убивал своих гостей — только бы не остаться одному, то почему же не войти суду в положение совка, влюбившегося в ФОРД с первого взгляда? Цивилизация и советская власть доводят человека до того, что он уже не только с однополыми не встречается, но на машины перешел. Перед отъездом в нашу сверхдержаву я намеревался сделать любимому ФОРДУ техосмотр, залить в радиатор стакан виски, укрепить глушитель, поцеловать в обе фары и оставить у подъезда Метрополитен-музея. Я не расчленил бы его на запчасти, подобно Джеку-потрошителю, ваша честь, господин судья.

Я взял, Раиса Максимовна, удар на себя, потому что не мог заложить Пьяницера. Если бы не это безрассудное рыцарство, то и выплыла бы в ТАЙМСе история про то, как внештотговец оторвал страховку в пятнадцать штук за якобы украденную у него на Брайтоне почти новую тачку ФОРД. Вот чем ваша выездная шпана занимается в свободном мире, а простой советский человек начинает жарить от полного социального отчаяния карские шашлыки из краденых сенбернарлов.

Писатель узнал все это по телефону у Пьяницера, который и угнал ФОРД у знакомого внештотговца за две-сти долларов. Я велел писателю перезвонить Пьяницеру и заверить его в том, что я не колонусь и на этот раз. Я открываю только в постели, да и то не с каждой дамской сердца.

**В**ам рассказываю об этом чистосердечно, поскольку вы умеете хранить в груди более важные тайны, которые могли бы окончательно скомпрометировать нашу Систему.

Одним словом, на адвоката денег у меня нет, а выходить на брайтонских корешей я, повторяю, никак не могу. Что мне было делать? Я ведь не просто в очередную НЕПОНЯТНУЮ попал, а в матрешку из многих НЕПОНЯТНЫХ. Как мне выпутываться, если я и друзей, и нашу сверхдержаву благородно прикрываю? Если можно сказать, сейчас в моих руках находятся ключи от Международного Банка Валюты для слаборазвитых стран, не говоря уж о встрече на высшем уровне и режиме благоприятствования в торговле. Ибо кто же из парней с Уолл-стрит станет вести дела с мимозниками и фармазонами из Внешторга, выколачивающими страховку за самоугнанную тачку? Никто!

Я ни в коем случае не пытаюсь шантажировать нашу страну и в любом случае останусь в несознанке, но хочу, чтобы вы поставили интимным образом в полную известность ТОГО, КТО одним только звонком в Белый дом мог бы привести в действие систему телефонного правосудия в США.

Клянусь оставить между нами некультурную историю с ФОРДОМ, если меня депортируют в Москву за счет Фонда Культуры, поскольку я нахожусь еще в одной НЕПОНЯТНОЙ, ибо заложил обратный авиабилет у Хаима, который владеет видеотекой порнушных кассет, снятых в гаремах Хусейна, в спальнях европейских королей и премьер-министров Таиланда.

Я, как сказал поэт, в таких случаях к врачам обращаться не стану.

А вот к Родине и ее Культурному Фонду, которые вы в данный исторический момент олицетворяете вместе с

НИМ, я не стесняюсь обратиться с просьбой о милостивом прощении, как, в бытность мою несудимым младенцем, к единственной моей маме.

Но если меня будут судить, то прошу Фонд Культуры оплатить мои расходы по адвокатуре, чтобы я после клятвы на Библии не запутался в показаниях по существу дела.

Самое лучшее — не доводить мое дело не только до суда, но и до настоящего расследования, ибо если я попаду на детектор лжи, по которой, к сожалению, вынужден сейчас жить, то меня помимо моей воли расколуют в один момент. И тогда... тогда ЕМУ придется очень туго при очередной свиданке с большой Семеркой. Туго придется, потому что неизвестно, какие еще НЕПОНЯТНЫЕ возникнут на следствии по линии связи Внешторга с... сами знаете с кем...

А пока что, Раиса Максимовна, я начинаю КОСИТЬ, в ожидании ЕГО реакции на эту мою жалобу. Я уже неоднократно мяукал и утверждал в переводе писателя, что я не человек, а енот. А сбитые машинами на хайвее еноты кажутся мне моими должниками, с которых я и сдираю три шкуры. При этом я мяукал, хотя писатель давал мне маяки, дескать, еноты не мяукают. Но тут я ему чуть не двинул в челюсть и ору, что мяукают, мяукают, мяукают в таких ситуациях советские люди. Вся страна, ору, у нас сейчас мяукает, и ты так и переводи им на английский мои душераздирающие звуки — МЯУ-МЯУ-МЯУ!!!!

**В**ынужден прервать жалобу. Вижу в решетку — подъехала машина с рубашкой и носилками. А под моим окном шумят разные активистки, агитирующие против меня как выделывателя звериного меха на дамскую одежду. Они, видимо, требуют снять с меня в суде три шкуры. Вот в какую я попал НЕПОНЯТНУЮ.

И если меня осудят за показ американам одного пальца, разделку мертвых енотов, дачу взятки полиции, угон внешнеторгового ФОРДА, за не расистский удар черному полицейскому в одно место и создание аварийных ситуаций на хайвее, то пусть ОН походатайствует перед Бушем, чтобы меня бросили на химию, то есть отлавливать вонючих скунсов в подвалах граждан.

Если же вы не отреагируете на мою жалобу, то я вынужден буду в таком безвыходном положении обратиться за помощью к Ельцину.

С приветом к вам, остающийся даже под следствием русским человеком и перспективным меховщи... Помо... Мяу...

"Эхо Москвы"  
и "Шакур-Инвест"

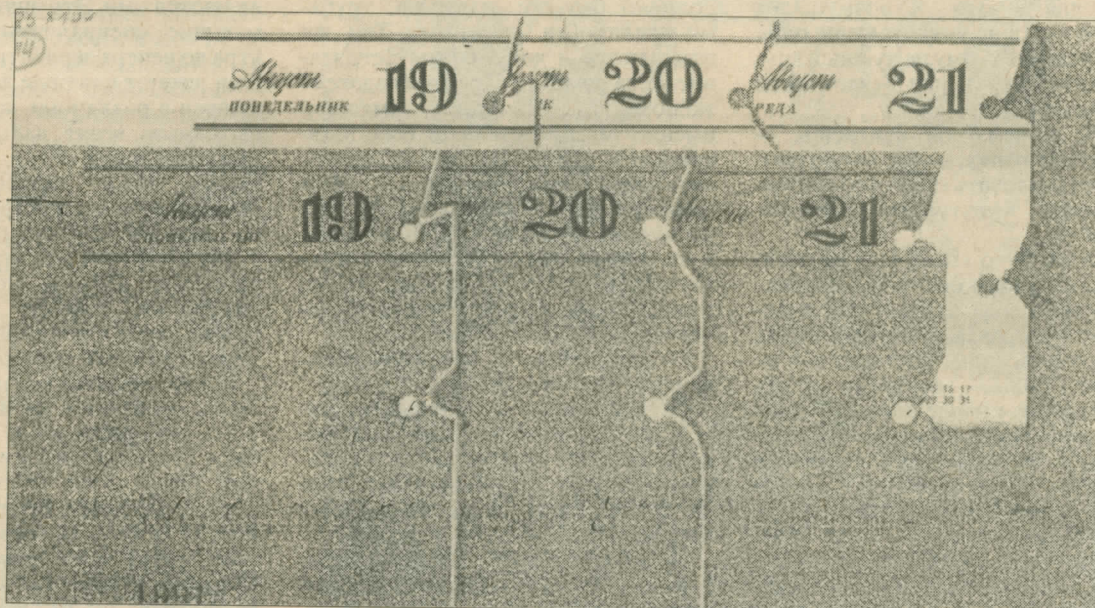
представляют:

"Девятнадцатое,  
двадцатое,  
двадцать первое..."

Свободное радио  
для свободных людей.

Три дня переворота  
глазами журналистов "Радио-М",  
документы, фотографии.  
Первая книга по горячим следам событий.

"Шакур-Инвест" принимает заявки  
по телефону 928-92-57.



Алексей МИТРОФАНОВ

# МУЗЕЙНЫЕ ОБИТАТЕЛИ. ИХ БЫТ И ПРАВЫ

Знакомая сотрудница Пушкинского музея, что на Пречистенке, отловила меня как-то в Исторической библиотеке.

— Ой, как хорошо, что я тебя встретила! Мы проводим рекламную кампанию в прессе! Освобождается здание райкома КПСС, нужно, чтобы его нашему музею отдали. А то у нас тесно. Напиши об этом.

Я сердился. Я обвинял ее в эгоизме. Говорил о длинных очередях в поликлиниках, о дефиците койкомест в больницах. Ругался, что усадьба Хрущевых-Селезневых, где размещается музей, знаменита только по двум статьям. Во-первых, здесь ни разу не был Пушкин, и, во-вторых, там почти нет предметов, поэту принадлежавших. В лучшем случае они «чрезвычайно характерны для эпохи». Я возмущался тем, что в городе появится еще один пустующий и никому не нужный дом, где станут гонять чай бездельники и бездельницы...

— Но почему ты считаешь, — спросила девушка, — что мы не сможем организовать там что-нибудь интересное? Культурный центр какой-нибудь...

— Потому что вы ничего не организовали в своем основном здании.

...Полтора года назад я сам работал в музее, правда, не Пушкинском, а истории Москвы. Пил там чай да винишко, водил экскурсии и составлял квартальные планы... И мне снова захотелось глотнуть родного пыльного воздуха. Вот и решил побывать в каком-нибудь литературном музее. Открыл справочник и понял: выбор у меня есть. Их больше двадцати. Остановился на самом, как принято считать, современном — музее Маяковского, что в доме № 3/6 по проезду Серова. В проеме угрюмого серого дома пугает про-

хожих лысый Маяковский с оттопыренной нижней губой. На стене — афиша. Театрально-концертная студия «Артист» зовет на спектакль «Веселая встреча» со «сладким аукционом». Во дворе — четырехэтажный фасад, спроектированный в 1899 году архитектором Бугровским. «Живу в домах Стахеева я, теперь Везсэнха». Это и впрямь один лишь фасад — внутренность дома, построенного для лесоторговца Стахеева, вынута создателями мемориала. Осталась лишь лестница да комната, где «горлан» сочинял поэмы «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин». «Я в комнатенке-лодочке проплыл три тыщи дней». Здесь же он и застрелился. Уже не «горлан», а просто человек.

Все остальное пространство заполнено битыми стеклами, трубами, железками, мусором... Там же попадаются и документы. Нет, здание не на ремонте. Просто создатель экспозиции Евгений Амаспюр именно так представляет себе Маяковского. Но, несмотря на оригинальность его взгляда, я был единственным посетителем. Бродил по художественной стройплощадке и невольно слушал громкую беседу глухих слуховых смотрительниц, гулко отдающуюся во всех этажах. Судачили отнюдь не о поэзии.

Может, «сладкий аукцион» соберет народу поболее...

Оттуда — в самый главный литмузей. Он так и называется — Государственный ордена Дружбы народов литературный музей. Находится на Петровке, в помещении Высоко-Петровского монастыря.

— Здание хочет забрать патриархия, — сетует заведующая отделом научной пропаганды Нина Анатольевна Юлыгина. А куда нам деваться — неизвестно.

В музее уже около года проходит одна и та же выставка — «Столетье безумно и мудро». Посетителей нет. Но это не смущает сотрудников, и они продолжают свою обычную жизнь.

Так кто же они такие — музейщики?

Сразу отседем множество тетушек, полностью обеспеченных своими мужьями. Они приходят на работу, чтобы беседовать там о всякой всячине, пить чай и читать интересные редкие книги. Чему немало способствует тот факт, что музеи размещаются в старых, добротных домах, где летом прохладно, а зимой тепло.

Есть еще одна категория — семейные мужчины. Они приближаются к истинным музейщикам, но еще не являются ими. Это знающие и понимающие специалисты, которые с утра до вечера зарабатывают деньги. Они читают платные лекции, публикуются в различных журналах, а по выходным возят дальние автобусные экскурсии. Если хорошо вернуться, можно заработать рублей семьсот в месяц. Но такой ритм уже не дает удовлетворения от своего труда и наносит непоправимый вред здоровью. Они — потенциальные смертники. Инсульт поражает их прямо перед слушателями, когда до пенсии еще так далеко...

И вот остаются истинно музейные люди, особенные, не похожие ни на кого. Бессребреники, они живут в мире старых вещей и высоких понятий. Редко моют голову, довольствуются старым свитером, рваными кедами и бугтербродом с горчицей. Они тратят множество времени на познание и уяснение всевозможных сущностей, но не стремятся превратить свой опыт в деньги. Может показаться, что они приемлют лишь

«духовную» часть чеховского афоризма о том, что «в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Но на самом деле — отвергают и ее. Эти, казалось бы, одухотворенные люди — жуткие снобы и эгоисты. Дети ждут, что отец принесет в дом что-нибудь поесть, а он приносит несколько старых открыток и весь вечер сам ими наслаждается, а наутро уносит обратно. Ждет жена, что муж подарит ей новые сапоги, он же — читает древние стихи.

Музейщик не прочь, чтобы появился какой-то предприимчивый человек и стал зарабатывать для музея деньги — издательской деятельностью, торговлей сувенирами, факсимильными копиями экспонатов. Однако сам он не только презирает подобный труд, но будет презирать и человека, им занимающегося и повышающего его же доход.

Между тем музейщик — трогательный и милый человек. Вряд ли где еще встретишь столько вежливости и такта. Обращения «сударь» и «милая моя» остались в их лексиконе еще с университета.

Музейщики легкоранимы: даже дружелюбным, но неосторожным замечанием можно на неделю выбить какого-нибудь старшего научного сотрудника из колеи. Сам он может подтрунивать над собой («если ребенок книжки не хочет читать, а только по улицам бегаёт — нормальным человеком вырастет, а если наоборот — научным сотрудником»), но другим такого права не дано. Мне сейчас уже становится неловко за свою публикацию — сколько отрицательных эмоций она принесет! Но музейщик легко ранит сам — он может долго и искренне выражать свое расположение, клясться в лучших чувствах, договориться с тобою о встрече, ты поломаешь все свои планы — а он не придет и даже не извинится, только радостно поведает, какому интересному занятию он предавался в то время, когда ты мок под дождем. А попробуй пожуричь его — обидится.

Музейщик в своей работе выше всего ставит факт. И часто им и ограничивается. Валентин Пиккуль — главный идейный враг музейщика. Потому что он мог использовать в своем романе какую-нибудь недостаточно проверенную легенду. И художественные достоинства уже не в счет. Работой, бытом и всей жизнью своей музейщики пребывают в



Фото В. Шишова

особом замкнутом мире, никак не связанном с проблемами и интересами других людей. И, как следствие, — музеи становятся непопулярны, на выставки, созданные с таким огромным старанием, никто почти не ходит. Сотрудники не видно, они сидят по своим отделам, куда «вход воспрещен», в залах же правят бал бабушки-смотрительницы: смотрят на редкого посетителя как на врага, пришедшего сюда специально, чтобы что-нибудь поломать, кое-что утащить и, главное, отвлечь смотрительниц от увлекательных сплетен. И если им покажется, что злодей непозволительно близко подошел к копии неизвестного художника с портрета неизвестного мальчика, они отташат его за рукав. Но есть и другая крайность — добренькие и приветливые бабушки, которые, пользуясь отсутствием людей компетентных, сами дают пояснения и даже проводят экскурсии, неся при этом такую чепуху, что некоторые гости начинают смеяться, как на концерте Хазанова.

Так нужны ли такие музеи кому-нибудь, кроме самих чудаков-сотрудников?

Конечно, нужны. Они нужны случайному прохожему, укрывающемуся в них от дождя или ожидающему открытия магазина, нужны психу-фанатику, ищущему слушателей для своих бредовых идей, нужны студенту, готовящему курсовую работу, нужны безвучным пенсионерам, не знающим, куда деть время. Но студенту гораздо полезнее оказались бы сейчас чаще всего закрытые для него фонды, прохожий охотнее зашел бы в уютное кафе, а психически нездоровым людям нужны психиатры, а не беззащитные посетители музеев. Остаются пенсионеры.

Так кому нужны эти огромные музейные залы? И нужны ли они вообще? Конечно же, нет. Больше того — вредны! Ибо своим существованием создают иллюзию исторической культуры нашего города, которой (культуры, конечно), по сути, у нас нет. И в ближайшее время, пожалуй, не будет. Ведь, чтобы музеи стали популярны, нужны люди, способные говорить с посетителем на понятном и желанном ему языке. Но таким людям надо платить. А платить им никто не собирается. На музей махнули рукой, они как бы есть, и Бог с ними. Сами же музейщики, равнодушные к собственной нищете, зарабатывать не станут. Раз-



ве, чтобы премию за план (по посещаемости!) не сняли, уничтожат кучу бесплатных билетиков. Поди проверь, сколько военнослужащих приходило на самом деле.

И замыкается круг. Духу и культуре протягивают блюдо, богатое калориями, но отвратительное на вкус. Есть его не хочется. Поэтому дух и культура умирают от голода при наличии высококалорийного питания.

Где же выход?

..Недавно появился у нас еще один литературный музей — музей экслибриса. Он разместился в доме бывшего Суздальского подворья (Пушечная улица, 7).

Рассказывает главный хранитель музея Владимир Васильевич Лобурев:

— Я хочу вернуться к практике 20-х годов прошлого столетия. Тогда любой посетитель книжной лавки мог, полистав каталог с образцами работ различных художников, здесь же заказать для себя экслибрис. Нужно, чтобы в музей приходили

не только пробежаться по очередной экспозиции, но и посидеть, пообщаться, обменяться экслибрисами. У нас есть гостиная, уникальная библиотека. По доступной цене мы продаем журналы, календари и миниатюрные издания. На улице, с лотка их моментально расхватали бы. Но мы хотим, чтобы за книгами приходили сюда, в музей.

Владимир Васильевич — энтузиаст, но и реалист. Он понимает: чтобы выжить, музею нужно зарабатывать деньги.

Может быть, это и есть музей нового типа?

Нового для нашей страны.

# ЕСЛИ ВЫ ПРОСНУЛИСЬ УТРОМ И У ВАС НИЧЕГО НЕ БОЛИТ, ЗНАЧИТ ВЧЕРА ВЫ БЫЛИ У “ДОКТОРА НА ЦВЕТНОМ”

Михаил ПОПОВ, председатель лечебно-оздоровительного  
комплекса “Доктор на Цветном”:



— Наш многопрофильный универсальный медицинский комплекс существует уже четвертый год. Что привлекает к нам многочисленных пациентов? Конечно же, высокий профессионализм наших врачей в сочетании с уникальным лечебно-диагностическим оборудованием. Некоторые приборы и методики оздоровления, применяемые у нас, не имеют аналогов в столичной медицине.

## К ВАШИМ УСЛУГАМ:

**КВЧ-ТЕПАЦИЯ** — впервые в Москве безмедикаментозное и безболезненное лечение язвы желудка и 12-перстной кишки, мастопатии, гинекологических воспалительных заболеваний, эрозии шейки матки, гнойных ран и др. Вниманию молодых мам: 3-5 сеансов КВЧ-терапии вызывают обильную лактацию.

*Аппарат крайне высоких частот — КВЧ — не имеет противопоказаний.*

**ПУВА-ТЕРАПИЯ** — лечение хронических дерматитов.

**ЛАЗАРО-ТЕРАПИЯ** — лечение заболеваний нервной системы, нарушения функций молочных желез, сосудисто-патологий головного мозга, комплексная восстановительная терапия после инсульта, заболевания суставов.

**КРАСОТА, ГРАЦИЯ, ЗДОРОВЬЕ** — избавление от лишнего веса. 10-15 кг за месяц, избавление от никотиновой зависимости.

**ДИЕТОЛОГИ, ГОМЕОПАТЫ, ЭКСТРАСЕНСЫ.**

Открыт **МАССАЖНЫЙ САЛОН.**

**ЭЛЕКТРОПИЛЯЦИЯ** — наиболее эффективный метод удаления волос.

**ВИБРОМАССАЖ** лица в сочетании с косметическими процедурами (питательные маски).

**ЭРЕКТОР** — квалифицированная помощь в экспресс-коррекции частичной или полной мужской импотенции, лечение урологических заболеваний. Не надо лечиться месяц, если Вам подобран ЭРЕКТОР, через 20-30 минут Вы вновь чувствуете себя мужчиной.

**СЕКСОПАТОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ** — лечение импотенции, фригидности, определение эrogenных зон, супружеской совместимости (на специальных приборах).  
**ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, СПЕРМОГРАММА.**

**ГИНЕКОЛОГ** — лечение патологии женской половой сферы.

**МАММОЛОГ** — консультации и лечение заболеваний молочных желез.

**ПСИХИАТР** — лечение эпилепсий, шизофрении, невротических расстройств, психических нарушений после травмы головы, климакса, нейроинфекций.

**ЛЕЧЕБНЫЙ ПЕДИКЮР** — безболезненное и эффективное лечение грибковых заболеваний ногтей.

**ДЕТСКИЙ ДЕРМАТОЛОГ** — удаление моллюсков.

**МЕТОД ФОЛЛИЯ** — диагностика скрытых заболеваний, медикаментозное тестирование и лечение.

**ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ** — лечение остеохондрозов, радикулитов, артрозов, невралгий любой этиологии, гипертонии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гинекологических заболеваний, гипоплазии (малой выработки молока), сексуальных невралгий, ночного энуреза (дети с 7 лет), заболеваний дыхательных путей, аллергии.

**ЭЛЕКТРОПУНКТУРА** — воздействие на биологически активные точки без укола.

Адрес:

Колокольников пер., дом 2/6.

Тел. 208-67-46

Филиал:

ул. Кржижановского, дом 9.

Тел. 125-01-04

# АНКЕТА ИСТИННОГО ДЕМОКРАТА

**I. Так кем же лучше быть:**

бедным и больным? — 1 очко  
здоровым и богатым? — 2  
а может быть, народным депутатом? — 3

**II. Следует ли перед приватизацией имущества КПСС провести ее презентацию с участием популярных артистов театра, кино, звезд советской и зарубежной эстрады?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**III. Ваша любимая аббревиатура (ненужное зачеркнуть): ГАИ, ОВИР, ОФТ, КПСС, ДДТ, ЦСКА, ЦКК, МВТУ, ЦДЛ, ГКЧП, РКП, ОМОН, МДГ.**

Каждая буква в аббревиатуре оценивается в 1 очко.  
По количеству букв в незачеркнутых аббревиатурах подсчитывается сумма очков.

**IV. На приеме у английской королевы Вам повстречался народный депутат Л.Сухов. Станете ли Вы после этого убежденным сторонником республиканской формы правления?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**V. Если Вам на голову упал кирпич, станете ли Вы после этого приверженцем крупнопанельного до-мостроения?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**VI. Депутат Вашего избирательного округа побывал на концерте Л.Зыкиной. Будете ли Вы требовать его отзыва?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**VII. Виноват ли П.И.Чайковский в том, что написал балет «Лебединое озеро»?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**VIII. Подпишетесь ли Вы на журнал «Столица», если подписку придется оплачивать табачными и водочными талонами?**

Затрудняюсь ответить — 1  
Нет — 2  
Неприменно, не колеблясь — 3

**IX. Надо ли мыть руки после чтения журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник»?**

Затрудняюсь ответить — 1  
Нет — 2  
Да — 3

**X. Угодив в ад, какую кару Вы себе предпочтете?**

Вариться в кипящей смоле — 1  
Перечитать все романы А.Чаковского — 2  
Каждый день смотреть фильм Н.Бурляева «Все впереди» — 3

**XI. Повесите ли Вы у себя в квартире репродукцию новой картины И.Глазунова «Анатолий Собчак, стоя на бронетранспортере, призывает питерцев к штурму Смольного»?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

**XII. Следует ли присвоить существующему в Москве пляжу nudистов имя писателя Валентина Распутина?**

Нет — 1  
Затрудняюсь ответить — 2  
Да — 3

**XIII. 13-го числа у дома № 13 Вы попадаете под троллейбус, следующий 13-м маршрутом. Будете ли Вы после этого верить в приметы?**

Да — 1  
Нет — 2  
Затрудняюсь ответить — 3

Ваши анкетные данные (возраст, пол, 5-й пункт и наличие судимостей указывать не обязательно):

---



---



---

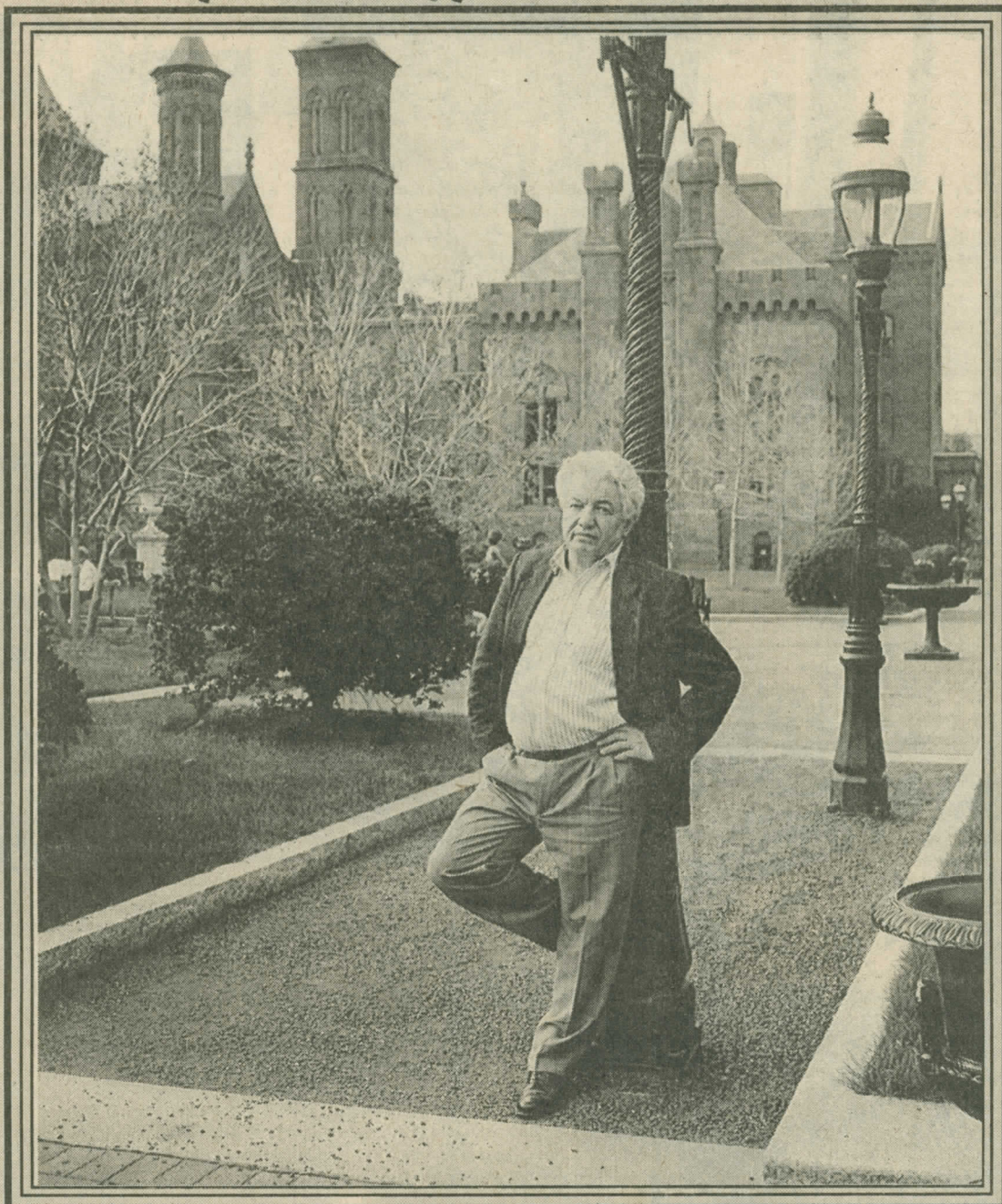
Если Вы набрали 15—20 очков — Ваши цели ясны, задачи поставлены, верной дорогой идете, милостивые государи!

26—30 — Вы христианский демократ с небольшим уклоном в анархосиндикализм.

31 очко и более — Вы нормальный обыватель. С чем Вас искренне и поздравляем. Так и живите.

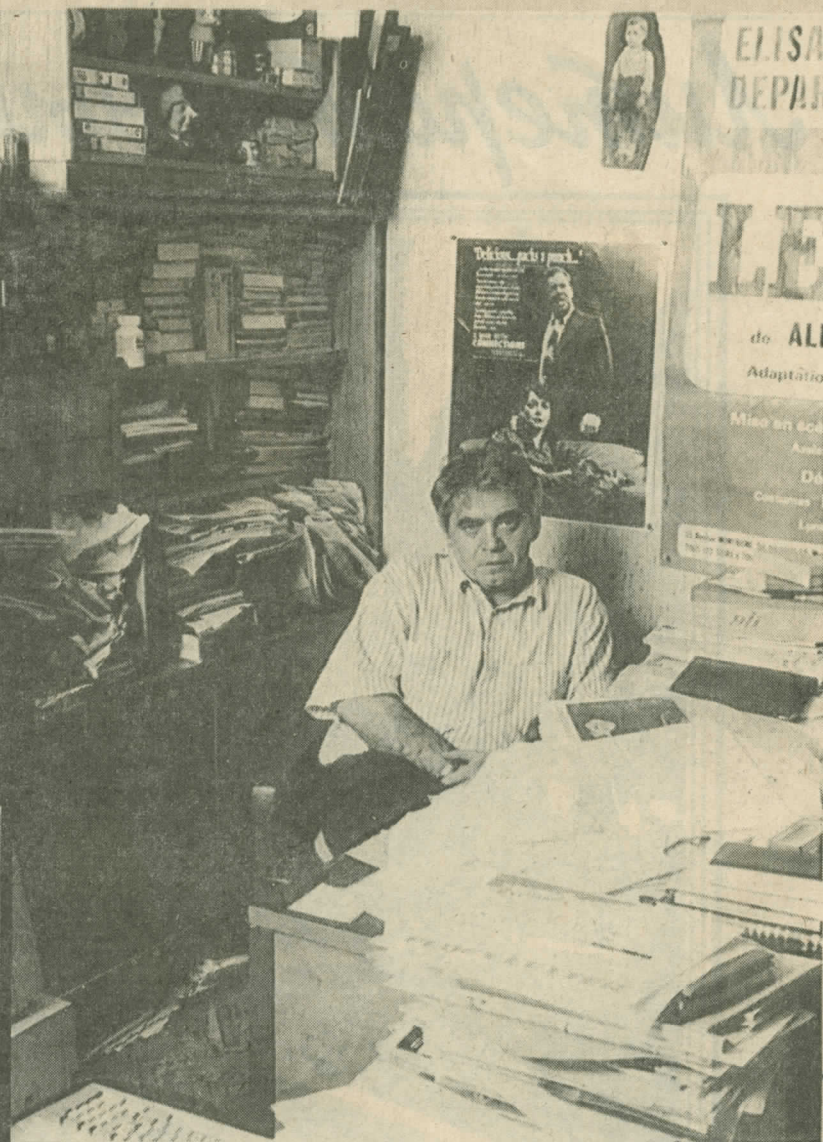
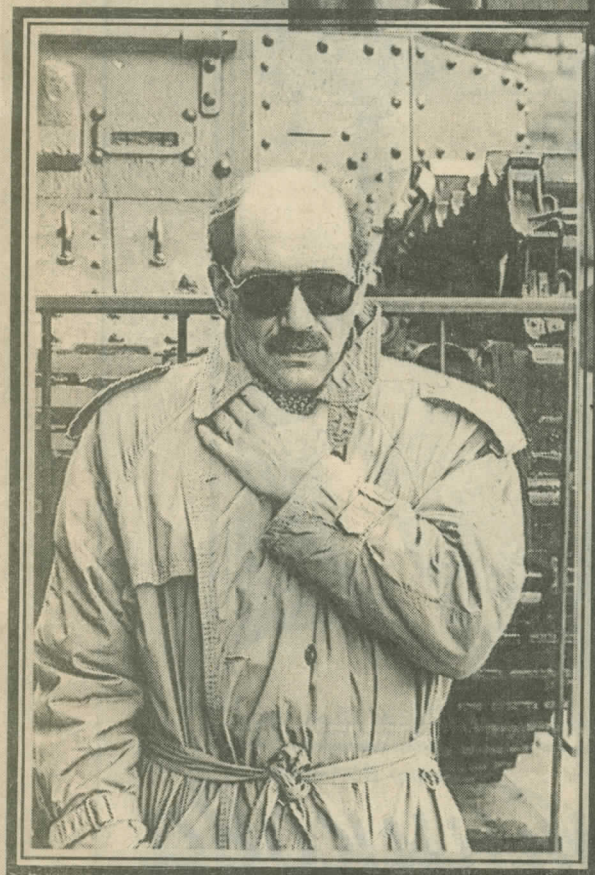


# Литературный салон



Владимир ВОЙНОВИЧ

# Валерия Плотникова

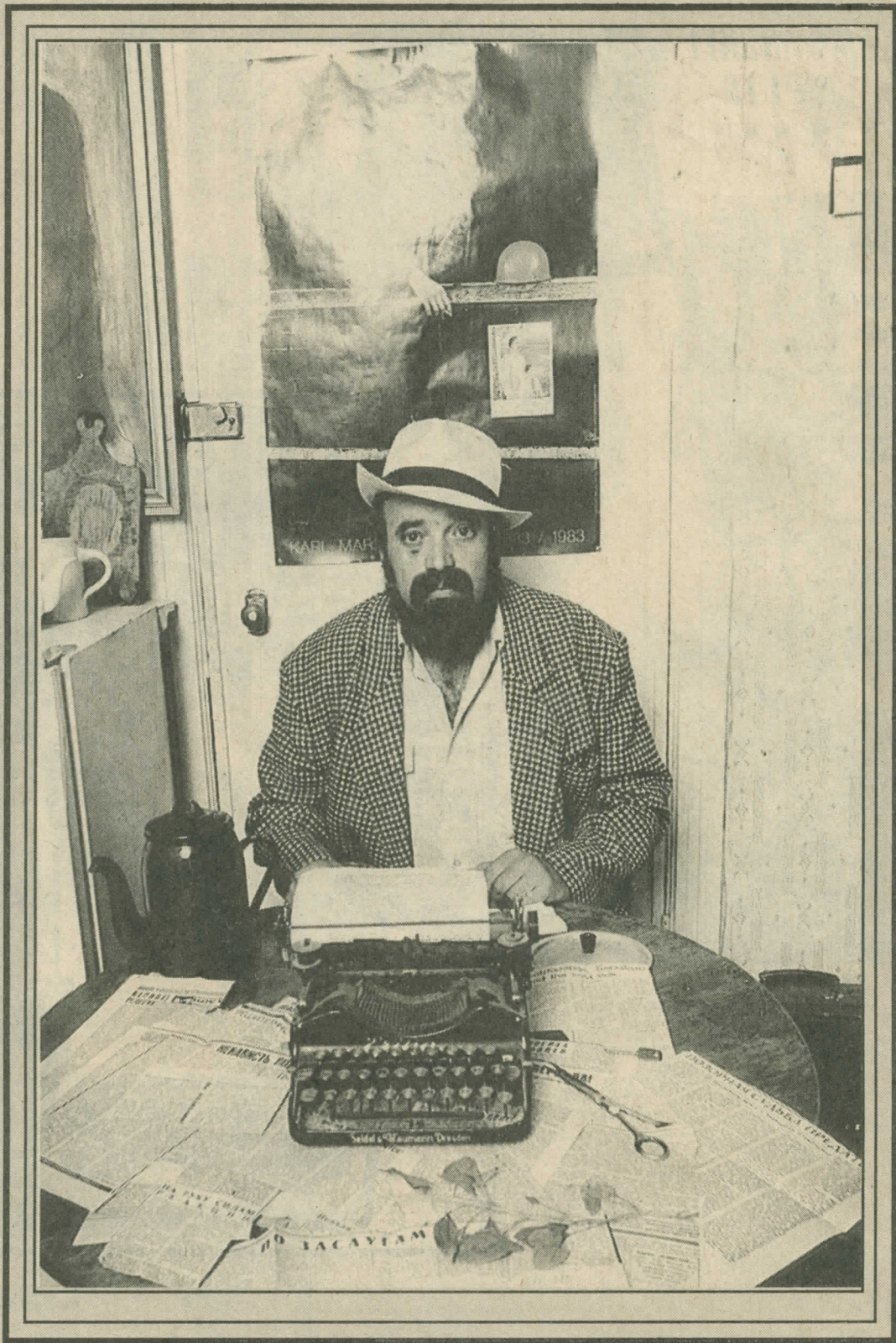


Александр КАБАКОВ

Александр Гельман

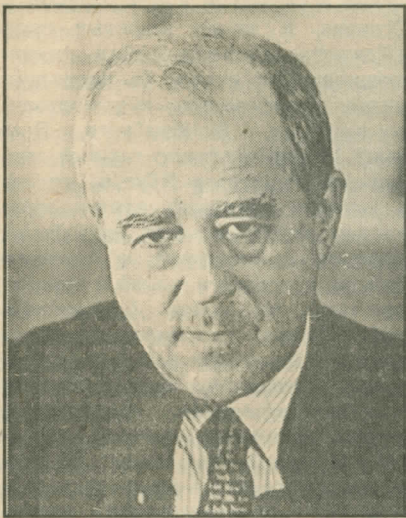


Людмила Петрушевская



Евгений ПОПОВ

# КОРОТИЧ ГОВОРЯ: «ОГОНЕК» — ЁК?



**Виталий КОРОТИЧ:**  
«... Я решил уйти из «Огонька», потому что понял, что через пару лет меня... будут любить меньше, скажем так. Но я понимаю, что оставляю не только друзей...»

Из интервью газете  
«Московский  
комсомолец»

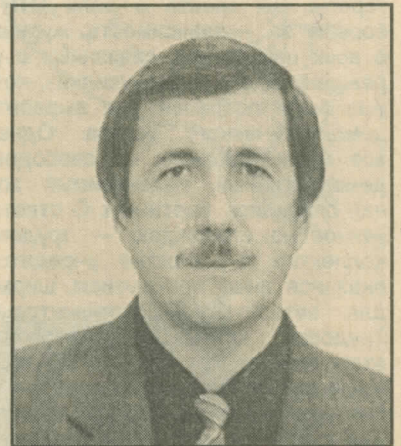
В канун нового, 1991 года четырнадцать сотрудников журнала «Огонек» демонстративно заявили о своем уходе с работы. В их числе было пять членов редколлегии. О причинах раскола в «Огоньке» ходило множество слухов: некоторые из них — весьма противоречивые — просочились в печать, но вскоре же и заглохли. По некоторым сведениям, ушедшие «огоньковцы» заключили с теми, кто остался, джентльменское соглашение не предавать обстоятельства дела огласке — учитывая активизацию реакционных сил в стране и тактические уступки этим силам со стороны президента. К тому же в январе 91-го произошли другие события, на фоне которых скандал в ведущем журнале эпохи гласности выглядел просто-напросто «бурей в стакане воды».

Впрочем, «Столица» еще тогда предлагала председателю совета трудового коллектива В.Вигилянскому напечатать его «Открытое письмо», распространенное им среди сотрудников «Огонька», с необходимыми комментариями и получила отказ.

Сегодня реальные мотивы, побудившие В.Вигилянского и его товарищей уйти из журнала молча, уже не так актуальны — особенно после знаменитого интервью Виталия Коротича радио «Свобода» и свершившегося вслед за тем «огоньковского переворота», посадившего в кресло редактора журнала Льва Гуцина.

На наш взгляд, эта история, ее развитие и финал («клиническая смерть» лучшего политического еженедельника страны) — многозначительнее и шире кулуарных баталий.

Выслушав одну сторону, мы, впрочем, готовы предоставить слово и другой стороне...



**Лев ГУЦИН:**  
«Меня очень беспокоит, что руководители страны до сих пор, после августовских событий, не нашли времени встретиться с главными редакторами газет и журналов... Михаил Сергеевич такую встречу в ЦК КПСС последний раз провел год назад. Это очень плохо! нам надо все время стрелочки сводить...»

Из интервью телепрограмме  
«Добрый вечер, Москва!»

Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ

# ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

Год назад, когда вы оказали мне доверие, избрав председателем СТК, я обещал отстаивать ваши интересы. Вы знаете о роли СТК в борьбе за независимость журнала, о всех перипетиях, связанных с учреждением его, о тех усилиях, которые были потрачены на выработку демократического устава. Однако все наши надежды на свободный, демократичный, независимый журнал оказались тщетными. С ответственностью утверждаю — трудовой коллектив в качестве учредителя оказался лишь прикрытием, ширмой для авторитарной администрации. Трудовой коллектив фактически отстранен от обсуждения вопросов, имеющих основополагающее значение для жизни и работы журнала. Как и прежде, все важные решения принимаются исключительно в кабинетах главного редактора и его заместителя. Всякие попытки председателя СТК назначить собрание и обсудить насущные проблемы журнала — результаты ревизии, контрактную форму взаимоотношения администрации и сотрудников и т.д. — натываются на преграду, на категорический запрет любых собраний до середины января. Отсутствие гласности в стенах редакции привело к дезориентации коллектива, поставило его на грань нравственного и организационного банкротства. Я имею в виду поведение тех сотрудников, которые были вовлечены в кампанию по дискредитации одного из членов ревизионной комиссии, человека в журнале нового, вместо того, чтобы привлечь к ответу истинных виновников.

Кстати о ревизии. Проверка финансово-экономической деятельности всех структурных подразделений журнала была поручена ревизионной комиссии главным редактором (согласно приказу от 23 августа и 6 ноября). Однако выполнить этот приказ комиссия в полной мере не

смогла. Ответственность за срыв проверки комиссия возлагает на Л.Н.Гущина, систематически блокировавшего ее работу. И тем не менее та минимальная информация о деятельности рекламного отдела, советско-британской ассоциации, ТПП «Вариант», «Огонька-видео», о внешнеэкономической деятельности журнала и т.д. свидетельствует о том, что редакция и трудовой коллектив, мягко говоря, обобранны. По самым приблизительным и заниженным подсчетам, денег в рублях и в валюте на нашем счету в десять раз меньше, чем должно было быть. Речь идет о тех суммах, которые уже давно могли бы кардинально изменить материальное положение каждого из наших сотрудников, как это давно уже сделали многие редакции куда менее популярных и маломощных изданий.

В такой ситуации трудовой коллектив как высший законодательный орган нашей редакции вправе потребовать отчета даже от главного редактора, не говоря уже о его заместителе. Вправе он задавать вопросы о плачевном состоянии нашей казны и банкротстве журнала-миллионера. Он может также спросить распорядителя счетов Л.Н.Гущина: многие ли члены редакции знают, что уже год в Германии функционирует офис журнала «Огонек». Почему за публикацию реклам платёжеспособных фирм взимается сумма не то чтобы скромная, но, можно сказать, символическая (как, например, это было с публикацией рекламы «Ласкового мая», когда на двух заседаниях редколлегии А.Хромов, В.Юмашев и Л.Гущин заверили ее членов в том, что этот сомнительный в моральном отношении ансамбль оплатит 75 тысяч, а на самом деле с него было получено наличными всего 25 тысяч рублей)? Куда ушла валюта за многомесячное обслуживание сот-

рудниками «Огонька» японской фирмы? Где деньги (опять-таки в валюте) за продажу прав во Франции, Англии и Германии книги «Письма в «Огонек», а также мировых прав дайджеста «Огонька»? Где причитающиеся нам суммы за посредничество в проведении художественных выставок в Люксембурге и Лондоне? Имеет ли право первый зам. главного редактора Л.Гущин втайне от авторов продавать статьи зарубежным изданиям (как это было, например, с продажей за границей слайдов с рисунков нищей и парализованной лагерницы Е.А.Керсновской)? Почему в качестве издателя многих самостоятельно подготовленных «Огоньком» книг выступает советско-британская ассоциация, членом правления которой является Л.Н.Гущин? Прибавляет ли славу нашему первому заму его имя в качестве «ответственного редактора» книг Саши Соколова и В.Аксенова, хотя он и не прикасался ни к текстам, ни к гранкам этих изданий? Где, наконец, сотни тысяч от ТПП «Вариант»? Как могло произойти, что «Огонек-видео» существовал многие месяцы нелегально, не будучи даже зарегистрированным и не платя налоги государству? Не благодаря ли «крыше» редакции видеокассеты «Огонька-видео» продаются во многих странах мира, ставя журнал под угрозу быть обвиненным в незаконных валютных операциях?

Попытку ответить на эти и многие другие вопросы ставила ревизионная комиссия. Ни на один из них руководитель хозяйственно-экономических подразделений не ответил. Бессспорно, если бы коллектив был в курсе коммерческой деятельности журнала, не было бы многих злоупотреблений и правонарушений, отмеченных аудиторской проверкой, как невозможна была бы без ведома редколлегии и СТК выплата многотысячных гонораров ав-

торам «Огонька-видео» из неприкасаемой казны журнала, а не из прибыли этой фирмы. Я не против того, чтобы некоторые наши сотрудники бесплатно занимались спортом, бесплатно ходили на всевозможные курсы, как не против, чтобы наши общие деньги тратились на прием в ресторанах иностранных гостей, на зарубежные командировки, но делать это надо гласно, с разрешения хотя бы редколлегии, не говоря уже о трудовом коллективе. Я не намерен также считать деньги в чужих кошельках, мало того, я за то, чтобы за работу сотрудникам платили много, но мне не безразлично положение, когда эти деньги берутся тайно из кармана трудового коллектива.

Злоупотребления, вскрытые в ходе ревизии, были настолько велики, что комиссия совместно с редактором решила не обнародовать все эти факты, чтобы не навредить репутации и престижу журнала «Огонек» (впрочем, рев. комиссия рекомендовала гл. редактору поставить в известность редколлегию). Однако Л.Н.Гущин первым нарушил «джентльменское» соглашение. Он организовал (или по крайней мере благословил) шельмование Л.Г.Айрапетяна, члена ревизионной комиссии. Журнал, который сам на своих страницах многократно разоблачал кампании по дискредитации, десятки раз писал о расправах над правдолюбцами, допустил, чтобы в его стенах произошел акт коллективного лжесвидетельства. Или подписи под воззванием «выбивались» шантажом, обманом, угрозами? Ведь подписали его даже те люди, кто никогда не видел в глаза Л.Айрапетяна. Именно это письмо стало окончательной причиной раскола редакции.

Следующим актом спектакля был донос в прокуратуру на Айрапетяна, что он якобы незаконно открыл в Ленинграде филиал «Огонька-антиСПИДА». Туда незамедлительно пришли с проверкой — однако обнаружили там письмо об открытии филиала, подписанное... Л.Н.Гущиным. Память подвела? Или месть затмевает разум?..

Странную позицию занял главный редактор В.А.Коротич, который, на словах осуждая это клеветническое письмо, на деле вывел из редколлегии Айрапетяна, добросовестно выполнившего его же собственный приказ о проведении финансовой проверки. Неужели жизнь не нау-

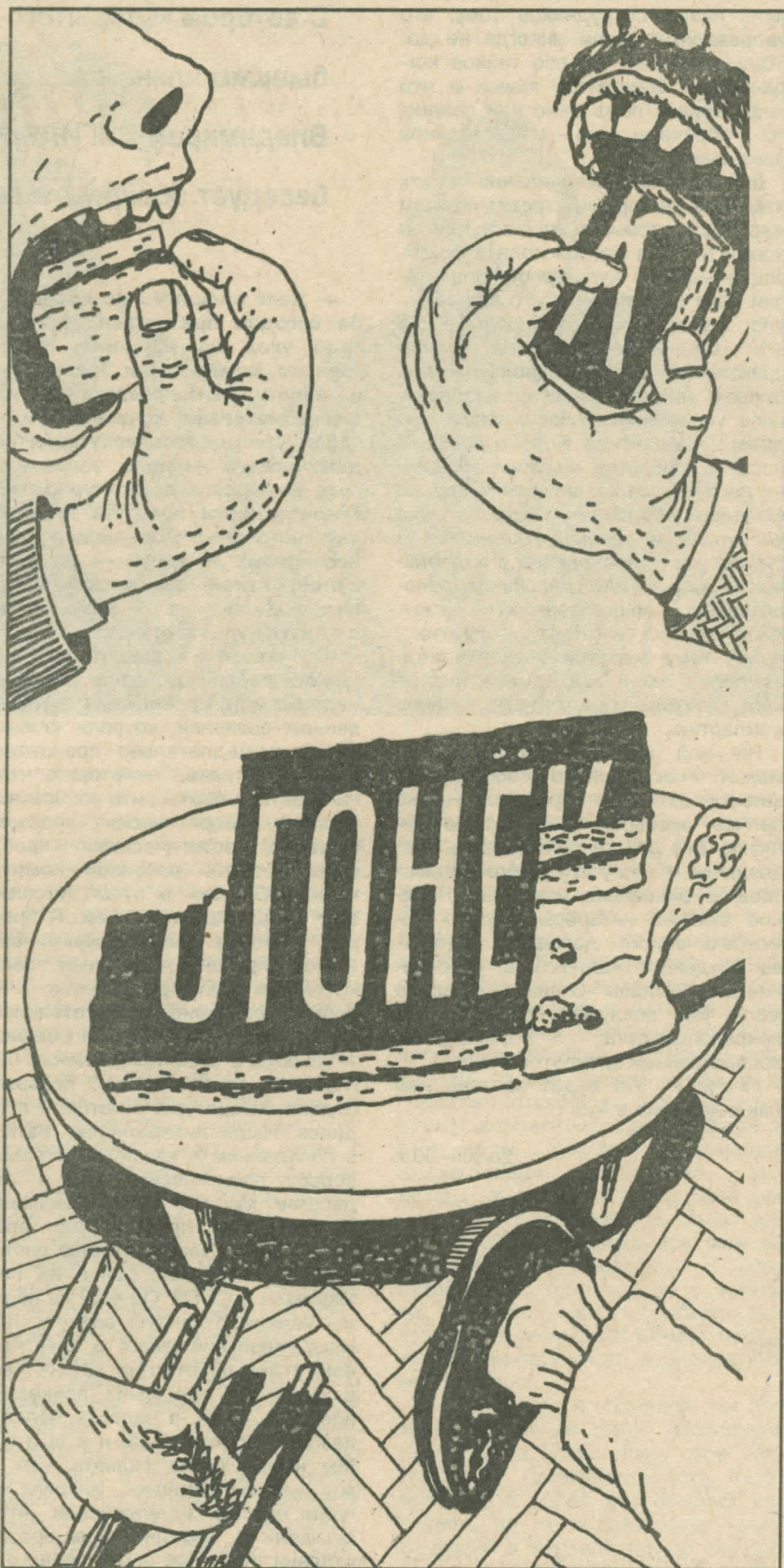


Рис. В. Пасичника

чила наших сотрудников тому, что неправедным путем никогда не достичь согласия, что все тайное когда-нибудь становится явным и что лицемерие и ложь рано или поздно, но обречены на общественное презрение?

Дальнейшее замалчивание наших язв и противоречий грозит крахом журналу, который и так вступает в новый год без четкой политической, социальной и культурной ориентации. Уже сейчас ясно, что все высокие идеалы, провозглашаемые на его страницах, попорчены самой практикой редакционной жизни. Борьба за права человека обернулась ущемлением прав членов трудового коллектива. Борьба за гласность в обществе никаким образом не согласуется с закулисной возней в стенах редакции. Разоблачение коррупции и теневой экономики в стране идет параллельно с подпольными делишками. Требование деполитизации общественных и государственных институтов противоречит тому, что три четверти редколлегии, как и вся административная верхушка, состоят из членов компартии...

На мой взгляд, снести журнал может немедленное обсуждение затронутых мною проблем. Нужно срочно провести комплексную ревизию. Все деньги должны быть возвращены в кассу трудового коллектива, а виновники наказаны. Никакие высшие интересы (судьба демократического движения, единство трудового коллектива, сохранение былой славы «Огонька» и т.д.) не могут уже послужить поводом для покровительства финансово-хозяйственных злоупотреблений.

Иначе — это будет зачтено нам как соучастие в них.

28/XII—90 г.

**С автором «Открытого письма»,**

**бывшим членом редколлегии «Огонька»**

**Владимиром ВИГИЛЯНСКИМ,**

**беседует обозреватель «Столицы» Михаил ПОЗДНЯЕВ**

— Дело прошлое... но должен тебе сегодня признаться, что меня твой уход из «Огонька» удивил гораздо меньше, чем приход туда на работу. Ты никогда не был профессиональным журналистом, за тобой утвердилась репутация академического ученого, занимающегося на досуге литературной критикой (многим памятна твои острые памфлеты о Евтушенко и Вознесенском). И вдруг — журнал с самой, какой бы смысл мы ни вкладывали в эти слова, скандальной славой...

— Я пошел в журнал по двум причинам: во-первых, чтобы быть участником той революции в общественном сознании, которая слишком робко и медлительно происходила в нашей стране; во-вторых, чтобы на практике претворить то, чем я занимался теоретически: художественными, эстетическими проблемами средств массовой коммуникации. «Огонек» в этом отношении был идеальным изданием. Я приобрел, работая там, огромный опыт. Одной из многочисленных заслуг «Огонька» было разрушение в массовом сознании притягательности идеологии национал-большевизма — работа в этом направлении была главной политической доктриной отдела литературы, в котором я трудился. Наши литературные баталии с попаданием в «десятку» отражали борьбу политических сил в государстве. Мы без усталости расширяли литературное пространство эпохи, впервые открывая читателю десятки русских писателей, ранее не представших в СССР. Одними из первых мы начали открытую войну с КГБ... Наш маленький (всего в пять человек) отдел работал по 12—14 часов в сутки, но это были прекрасные времена: треть, а часто и половина каждого номера были н а ш и м и... Мы имели право сказать, что это мы делаем «Огонек»... Интриги журнала нас не интересовали, что-то слышали о перманентном противостоянии Коротича и его первого за-

местителя, бывшего секретаря райкома, но их вражда была нам на руку: если один проявит трусость и запретит материал, мы обращались к другому — и тот, часто из чувства мести, шел нам навстречу.

Конечно, я не мог не видеть «совковости» большинства членов редколлегии, но это была общая болезнь страны и ее выдвиненцев. Кроме того, на Коротича напали отнюдь не за его «совковость», а, наоборот, — за расшатывание правящей идеологии, поэтому номенклатурный характер его натуры всегда оставался в тени.

Но в 90-м году, когда печать получила свободу, а «Огонек» — самостоятельность, «совок» полез из всех щелей, и редакцию заволочло смрадом. Журнал агонизировал, лучшие его силы уходили на борьбу с внутренней цензурой, не менее унылой, чем коммунистическая, — короче, шло медленное загнивание еще совсем недавно здорового плода.

Кризис «Огонька» был проявлением кризиса перестройки в ее «горбачевском» и — если шире — в ее «шестидесятническом» варианте.

— Когда сегодня, в октябре 91-го, ты согласился наконец поговорить прилюдно о том, что же все-таки случилось в декабре 90-го, ты поставил условие: непременно напечатать твое «Открытое письмо». Как ты его расцениваешь сегодня? И какова была на него реакция твоих коллег — тогда?

— Мое письмо — это уже «история». Я писал этот текст, не имея времени на обдумывания формулировок, на стилистические изыски... Вообще я должен «дозреть», прежде чем написать любой текст. И тут был тот самый случай: я «дозрел». Еще деталь: я вынужден был в своем «Открытом письме» балансировать между фактами, которые не имел права обнародовать в сложившейся ситуации, и той информацией, которая могла бы расшевелить совесть сотрудников...





В те дни в редакции были запрещены любые собрания, несколько недель не собиралась редколлегия — Коротич боялся утечки информации. И вдруг — назначается «праздничная», предновогодняя летучка. Я понимал, что говорить мне не дадут, поэтому едва ли не впервые в жизни выступил в «эпистолярном» жанре.

Мы — пять человек, причастных к ревизии, — знали о том, что Коротич окончательно сделал свой выбор, поэтому прихватили на собрание заявления об уходе из журнала. Надежды на то, что он одумается, у нас не было — на доске объявлений висел его приказ о назначении Гущина первым заместителем главного редактора, хотя одной тысячной из собранных Коротичем фактов было бы достаточно, чтобы указать Гущину на дверь. Коротич этого не сделал — тем самым превратив нас в соучастников своей трусости и беспринципности.

...А ведь у каждого из нас было что терять! Я год добивался, чтобы при «Огоньке» было создано книжное издательство и литературное агентство. Я был уже назначен редактором этого нового отдела, введен в редколлегию, должен был получать оклад, раза в четыре боль-

ший прежнего. Отдел литературы, возглавляемый Олегом Хлебниковым, полным своим составом подавший заявления об уходе, был едва ли не лучшим отделом журнала! А какое будущее было у Дмитрия Бирюкова с его весьма перспективным новым отделом социального прогнозирования! Сергей Клямкин, безусловно, был «скрытой пружиной» редакции: искусство «лепить» номер он довел до виртуозности. Коротич, уезжая в свои постоянные заграничные вояжи, фактически оставлял журнал на Клямкина: надежды на Гущина, полностью отошедшего от редактирования номеров в связи с бурной коммерческой деятельностью, не было никакой. Планы нашего нового коммерческого босса Левона Айрапетяна позволяли вскорости превратить журнал в мощную информационно-издательскую корпорацию. Короче говоря, жизнь в «Огоньке» для нас только начиналась...

Что касается реакции на мое письмо, то Гуцин с ближайшим своим сподвижником Валентином Юмашевым, вместо того чтобы как минимум хотя бы сделать вид, что они оскорблены, и потребовать новой ревизии с послушным им составом комиссии, в открытую несколько дней праздновали победу — с шам-

панским, обильной закуской и цветами. Они прекрасно знали, что имеют дело с «чистоплюями»... Коротич расстроился ужасно. Нас ему жалко не было, ему было жаль себя. Он ходил по редакции, как сомнамбула, бубнил, что дни его сочны и в ближайшее время его «слопают с потрохами». Коллектив был дезорганизован тем массовым актом лжесвидетельства, о котором я написал в письме. Члены редколлегии вели себя согласно партийным привычкам (после нашего ухода редколлегия осталась на сто процентов коммунистической): одни набрали в рот воды, другие поддакивали «вышестоящим товарищам». Надежды на нового второго зама редактора А.Щербакова не было никакой. Прекрасно зная, как бывший ответственный секретарь, о всех безобразиях, творившихся в журнале, он чутко уловил колебания Коротича и в решающий момент поставил на беспощадного в аппаратных играх Гущина.

А вот на кого я надеялся, так это на авторитетный голос нескольких журналистов, доказавших свое бесстрашие и принципиальность, казалось бы, в более рискованных ситуациях, но их недовольство происходящим в журнале так до сих пор

и осталось кулуарными разговорами. Надеялся я и на так называемый «Редакционный совет» с уважаемыми Буничем, Евтушенко, Захаровым, Никулиным, Федоровым и Черниченко — думал, что хоть один из них поинтересуется у нас, почему 14 человек ушли из редакции. Но, видимо, красоваться на обложке массового журнала — вполне достаточная награда за неучастие в делах этого издания. Впрочем, это в духе «шестидесятников»... Исключением было поведение Владимира Глотова. На следующий день после «летучки» он распространил в редакции свое заявление. С позволения автора привожу его в сокращении:

Главному редактору  
журнала «ОГОНЕК»  
Виталию КОРОТИЧУ  
и всем моим товарищам

#### ЗАЯВЛЕНИЕ Почему я ухожу из «Огонька»

В условиях, когда достойные люди, которым известны материалы аудиторской проверки, уходят из редакции, мотивируя этот шаг нежеланием быть соучастниками сокрытия негативных фактов, а руководитель редакции упорно не хочет сделать эти факты достоянием гласности (даже для членов редколлегии), — невозможно вступать с ним и в его лице с редакцией в какие-либо деловые отношения, заключать контракт.

Это может сделать либо слепой, либо откровенно циничный человек, готовый пить из чаши, не брезгуя ничьим к ней прикосновением.

Я был ответственным секретарем «Огонька» в его золотую пору, я застал, увя, и время, когда иные его лидеры деградировали, утратив творческие и моральные качества. Они у власти и правят бал — вполне в духе нового времени, окружая себя откровенными мерзавцами и весьма серыми личностями. (...)

До свидания, все те, кто делал наш журнал. И те, кто, дрогнув, не может пока поступить по совести, и те, кто ее утратил, — прощайте. Если здоровые силы редакции сумеют одуматься — позовете, вернусь. А нет? Это ваша проблема.

Дело, которое я всю жизнь — за долгие до «Огонька» — делал, я продолжу за стенами партийного издательства. Тем более что дух партий-

ности — чуждый мне — незримо витает в наших кабинетах власти, и мне, вышедшему из партии, логично быть свободным человеком. А то, что у нас произошло, я бы в шутку назвал «коммунистическим переворотом», где на первые роли выдвинуты местные редакционные ползковы.

Вы знаете, что меня больше всего поразило и ранило душу? Легкость, с какой Коротич — наше знамя! — согласился с уходом из редакции ее цвета. Тех, кто приложил руку и к его славе. Все повторял, как во сне: «Ну кто? Кто еще?» Как будто выкрикивал выступающих на летучке.

А мы — и я тоже — сидели потрясенные. Молчали. А кто и возмущался, что им испортили новогоднее настроение.

Промолчали, дали состояться этому исходу.

Но теперь-то прошла ночь. Было время подумать. Неужто я один пишу такое заявление?!(...)

Тем, кто останется, наверное, действительно (как не устает повторять главный редактор) достанется немалый капитал.

Но он не только ваш, не забывайте.

Вы, оставшиеся, будете пользоваться трудом и талантом тех, кто ушел, кому вы позволили уйти.

И посмотрите — уже и наниматься приходят: воронье слетается на поклевы.

**Владимир ГЛОТОВ**  
29 декабря 1990 года

— Автор этого письма высветил, так сказать, политическую подоплеку вашего «новогоднего демарша». Репортеры «Коммерсанта» и других газет делали акцент на экономической стороне «дела» — прошу набрать это слово в кавычках, ибо в печати тогда еще, в начале января, довольно прозрачно сообщалось, что окончательный диагноз «огоньковскому синдрому» может поставить скорее всего юрист...

— Очень не хочется снова копаться в этой грязи — но если и вспоминать сегодня нашу историю, то лишь затем, чтобы показать, как наше общество все еще не способно стать свободным, как старые аппаратные методы превосходно работают в «демократических обстоятельствах»...

С января 1991 года «Огонек» становится экономически независимым,

самостоятельным предприятием. Для этого нужно было создать свою бухгалтерию, открыть в банке счет, проверить, все ли долги нам выплачены. Короче говоря, надо было провести ревизию. Кроме руководителя рекламно-коммерческого отдела Левона Айрапетяна, никто из членов ревизионной комиссии не смыслил в экономических делах, поэтому мы с большой неохотой принялись за дело.

Коммерческие подразделения, руководимые Гуциным, сдавали нам липовые отчеты, однако внимательное прочтение их даже нам, несведущим, сразу открыли серьезные злоупотребления. Но формально подтвердить их мы не могли, поскольку Гуцин самих документов нам не отдавал.

Вдруг Коротич, который всегда страшно боялся своего зама, осмелел и пригласил независимую аудиторскую службу для ревизии «Огонька-видео» (а таких подразделений в журнале было штук пять). Результаты были ошеломительны! Выяснилось, что эта фирма, учрежденная журналом, официально нигде не зарегистрирована, никому не платила налогов, продукцию свою под крышей «Огонька» продавала (в том числе и на Запад) незаконно, все отчисления редакции журнала растрчивались Гуциным и Юмашевым так, как будто это были их личные деньги. По документам получалось, что всю финансовую ответственность за фирму несет журнал и, если платить финорганам штраф и задолженность по «абалкинскому налогу», сумма получалась бы фантастическая, что сначала бы привело к экономическому банкротству «Огонька», а затем — к политическому! Гуцин стал заверять всех, что подключит лучших экономистов из ельцинского окружения, которые задним числом регистрируют на льготных условиях «Огонек-видео», что налоги будут уплачены в течение десяти дней. Потом мы узнали, что это был блеф, никто не был подключен, да и вряд ли кто-нибудь согласился бы помогать Гуцину так обходить закон. Но Коротич понимал: выйдя эта информация наружу — журнал прекратит свое существование. Взяв с нас слово, что мы до поры до времени будем молчать, и пообещав, что после отчета Гуцина он его «с треском» уволит, Коротич скрылся на очередном Съезде народных депутатов. Именно в этот момент Гуцин и его вассалы сочини-

ли письмо-донос на Л. Айрапетяна.

До сих пор не могу понять, как Гуцин не побоялся Левона, единственного человека (кроме Коротича), хранящего у себя копию отчета аудиторской ревизии? Неужели настолько верил в его порядочность?

Получив это письмо, Коротич дрогнул. Он понял, что задействованы слишком большие силы. Впрочем, я уверен, были подключены и еще какие-то рычаги давления на него. Помню, как главный редактор причитал в эти дни: «Это мафия! Настоящая мафия!» Именно в это время с политической арены сошли покровитель журнала А. Яковлев, а также В. Бакатин и Э. Шеварднадзе. Горбачев поспешил опереться на будущих путчиков — Янаева, Пуго, Крючкова, Язова. Чуткий к политическим переменам, Коротич сообразил, что иметь под боком партийно-номенклатурного бонзу Гуцина, чья общественная роль в последнее десятилетие совершенно ясна (его легко перебрасывали из райкома в «Московский комсомолец», затем в «Советскую Россию», потом в «Комсомольскую правду» и, наконец, в «Огонек»), чей друг и покровитель, приложивший руку к его карьере, вездесущий и непотопляемый заместитель Кручины в ЦК КПСС, — все это намного надежнее, чем прислушиваться к каким-то журналистам, за спинами которых никого нет, кроме таких же хлипких «интеллигентиков». Выбор был сделан. «Огонек-видео» прикрыли, его сотрудников выгнали на улицу. «А был ли мальчик?»

По редакции пошла «ползучая контрреволюция»: виноватыми во всем оказались мы, этакие жесткие популисты, мечтающие свергнуть будущего благодетеля редакции. «Будущий благодетель» именно в эти дни с согласия Коротича подписал втайне от редколлегии и всего трудового коллектива кабальный договор с издательством «Правда», по которому все 100% дохода от книжного приложения и чуть ли не 70% — от журнала ложились, как и в прежние годы, в карман любимой партии.

— Но ты понимаешь, что сегодня, когда КПСС как бы и нет, когда швейцарские банкиры заявляют, что будут охранять тайну партийных вкладов до последней капли крови — по крайней мере, пока не получат из России основательных аргументов в доказательство необходимости раскрытия этой ве-

личайшей тайны, когда десятки и сотни малых предприятий здесь, у нас, круглосуточно отмывают коммунистические денежки, — твои слова... как бы сказать... повисают в воздухе?

— Я ничего не хочу доказывать, я не следователь и не прокурор. Я просто хочу сегодня рассказать правду, которая может послужить уроком для других. Потом я не уверен, что эта история просто так закончится. Есть вещи, которые до сих пор всплывают то здесь, то там. Когда я ушел из журнала, ко мне обратилась с претензией автор «Огонька» Людмила Петрушевская. Она спросила меня, по какому праву я передал ее рассказ в немецкое издательство «Ровольд», опубликовавшее дайджест «Огонька». В то же самое время зарубежный агент Петрушевской давно уже продал этот рассказ в другое германское издательство. Я написал письмо в «Ровольд». Мне ответили, что правами на все материалы, опубликованные у них, обладает «Огонек» в лице господина Гуцина (именно с ним они заключили договор как с составителем) и что гонорар они уже давно выслали в Лондон. Я полюбопытствовал у других авторов дайджеста, знают ли они о зарубежных публикациях. Никто, конечно, об этом ничего не знал и гонораров не получал! Уверен, что дайджест с предисловием Коротича распродан во многие страны. То же самое с зарубежными изданиями другой книги — «Письма в «Огонек», опять-таки с предисловием Коротича.

**— Но разве «Огонек» не имеет права распоряжаться материалами, которые прошли в журнале?**

— Нет, конечно! Авторское право остается за автором, если не был заключен специальный договор, в котором оговорена передача автором журналу своих прав. Такие договоры «Огонек» никогда ни с кем не заключал, поэтому все публикации на Западе материалов без ведома автора — грубейшее нарушение законов, а получение гонораров за авторов — просто воровство!

— В твоём письме упоминается продажа Гуциным слайдов с рисунков Ефросинии Керсновской. Чем закончилось это дело?

— Подробности этой истории уже просочились в печать — например, в парижскую «Русскую мысль» за 16 сентября 1991 года или «Экспресс-хронику», № 37 за 1991 год (статья Александра Подрабиника «Дважды

раскулаченная»). Расскажу, что знаю. После моей публикации в «Огоньке» ее «лагерных» рисунков и статьи о ней десятки издательств боролись за право первыми выпустить книгу Керсновской целиком. Еще в прошлом году с одним очень престижным английским издательством почти уже был заключен договор на очень выгодных для автора условиях. Однако в последний момент английская сторона отказалась от издания. Причина? Публикация в «Обсервере» ее нескольких рисунков. Эксперты издательства оценили эту непрофессиональную публикацию как антирекламу будущей книги. Доверенное лицо Керсновской стал докапываться, кто продал слайды. Оказалось — Гуцин, причем за очень круглую сумму.

Через некоторое время выяснилось, что такие же слайды были проданы и в другие страны. И вот — типичный для Гуцина и Коротича поступок — они оба пишут письма: один в — ВААП, другой — Е. Керсновской с доносом на поверенного в ее делах, с намеком на то, что тот нечист на руку. И это — про человека, который в 70-е годы подпольно работал в солженицынском Фонде помощи советским политзаключенным! Но не на ту напали! Она перевидала на своем веку сотни вертухаев, особистов, парторгов, доносчиков и уголовников и научилась различать, когда люди говорят правду, а когда — ложь. Английский адвокат, ведущий дела Керсновской на Западе, давно предлагает подать в суд на «Огонек», но она считает ниже своего достоинства затевать денежную тяжбу. Да и с деньгам у нее отношение такое, что Гуцин наверняка считает ее сумасшедшей, — все свои гонорары она собирается отдать на благотворительные цели...

— В то, что ты рассказываешь о Гуцине, трудно поверить. Или, скажем так, будет трудно поверить тем, кто все эти годы был о нем решительно иного мнения. В журналистском мире его репутация не из худших, среди его ближайших друзей — самые острые перья эпохи «гласности»... Я помню ваши рассказы о том, как благодаря именно Гуцину выходил в «Огоньке» тот или иной текст, пугавший Коротича до обморока... Кошка дорогу перебежала? Нашла коса на камень? Или что-то третье?

— Что-то четвертое...

Я всегда знал, что редактор и жур-

налист все-таки очень разные профессии. Я помнил, что Гущин, кроме официальных документов, не написал в своей жизни ни одной строчки, но отдавал ему должное как организатору журналистского дела. В некоторых идеологических вопросах он действительно был смелее, чем Коротич. Держался всегда в тени, не лез на трибуны, не давал интервью...

Но, знаешь, есть несколько искушений, которые очень трудно достойно вынести: это искушение славой, властью и деньгами. Очень многие ломались, не выдержав этих испытаний. Кроме этого, наблюдая в своем родном «Огоньке» за бывшими аппаратчиками, перекрасившимися в демократов, я обнаружил некоторые качества, по которым элементарно распознается ничем не вытравляемый большевизм. Их стихия — интрига, сговор, шантаж. Еще лучше «большевик по крови» распознается по тому, как он относится к коллегам и подчиненным. Он всех делит обязательно на «верных» и «неверных». Независимость человека ценит только в том случае, если тот лично предан ему. Меня поражало в «Огоньке» пренебрежительное отношение к талантам. Гущин перекрывал кислород тем, кто не превращался в его холуев, да и Коротич с невероятной легкостью расставался даже с ценными и незаурядными журналистами. Из «Огонька» во время моей работы там ушли: Владимир Яковлев (ныне — главный редактор «Коммерсанта»), Андрей Караулов (член редколлегии «Независимой газеты»), Артем Боровик и Дмитрий Лиханов (главный редактор и член редколлегии «Совершенно секретно»), Андрей Чернов (собкор «Московских новостей»), Валерий Выжutowич (обозреватель «Известий»).

Заметь, это все люди молодые, фонтанирующие идеями. Но с одним недостатком — не смогли с потрохами войти в «команду» Гущина.

**— Но ведь избрали его главным редактором в августе, как говорят, демократично и единогласно?**

— Не знаю, называются ли выборы демократическими, если они безальтернативны, а голосование — открытое. К тому же контракты с сотрудниками администрация заключила только на год, и уже подходит срок их продления... И вот что еще любопытно — членов редсовета на выборное собрание «случайно забыли» позвать. Впрочем, редсовет этого, как и всего, что происхо-

дит с «Огоньком», и не заметил.

**— Для меня загадкой является политическая судьба В.А.Коротича — слишком уж неожиданным получил ее конец...**

— А мне все понятно.

Я как-то сразу раскусил его политическую и общественную сущность, обнаружив его двойника. Вернее, он был своеобразным двойником — не удивляйся! — Горбачева. Совсем не случайно, когда речь заходила о лидере государства, в редакции многие оговаривались и называли его... Коротичем! И наоборот.

Ни у кого на нашей политической арене не было такого странного сочетания — отчаянной смелости и патологической трусости, умения просчитать свои поступки на десять ходов вперед и делать чудовищные зевки в простейших комбинациях.

Оба принадлежат к одному поколению, оба — «лимитчики», пробившиеся в столицу и быстро завоевавшие в ней фантастическую популярность, но столь же скоро ее и потерявшие. Зато за границей и тот и другой до сих пор пользуются устойчивой славой. Обладая политической интуицией и развитой слепотой в отношении к окружающим, они прекрасно себя чувствовали, лавируя среди враждующих групп, подлизываясь к недругам и обличая единомышленников.

На людях они — «душки», говорливы и обаятельны, производят впечатление людей, обладающих множеством друзей, но по сути — трагически одиноки. Оба легко меняли свои взгляды, быстро совершенствовались, но у каждого — свой потолок, который невозможно прошибить. И тот и другой прочно, до последнего держались за свои партбилеты и клялись в верности Ильичу, но оба, как никто, много сделали, чтобы развалить компартию. Прирожденные дипломаты, они обладают талантом обволакивать собеседника складной речью, из которой потом, к сожалению, не запоминается ни одно слово.

Даже опирались они на одного и того же человека — Александра Николаевича Яковлева, оказавшего на них очень сильное влияние, но в какой-то момент, утратив его поддержку, Горбачев и Коротич одновременно сделали ставку на янаевых-гущинных...

Для меня они мистически так связаны, что я уверен: за отставкой Коротича вскоре последует отставка Горбачева.

Оба войдут в историю как великие реформаторы, но и как люди, развалившие свои детища: один — журнал «Огонек», другой — «обновленный Союз».

**— Напоследок, Володя, — два вопроса. Почти год прошел, как ты и еще тринадцать твоих коллег покинули «Огонек». Что с вами? И — что сегодня с «Огоньком»? Какова, по-твоему, будет реакция на эту нашу публикацию тех, кто работает там сегодня?**

— Буквально на другой день после того грустного новогоднего праздника каждый из нас стал получать лестные предложения. Но мы не захотели расходиться по углам — слишком много соли вместе съели — и решили издавать свой журнал. Крышу — в буквальном и переносном смысле — нам дали «погорельцы», «Московские новости», мы им признательны за эту искреннюю профессиональную солидарность. Ищем благотворителей. Кажется, нашли. Так что журнал «Русская виза» — на выходе...

Что касается наших бывших коллег — не говорю о рядовых сотрудниках «Огонька», многие из которых так и не осознали, что же произошло... Бог им судья... Но Гущин и его «команда»... Даже и не хочется влезать в их шкуру, но методы их мне известны. Они ужасно самолюбивы и мстительны. Главное их оружие — демагогия и клевета.

Коротич очень любит на тех, кто ему насолил, навешивать ярлык «агента КГБ». О ком я только от него это не слышал! Что касается Гущина — здесь в ход может пойти весь большевистский набор способов уничтожения врага. Обычно — чужими руками и втихую. Как минимум, организует «коллективку». Для этого у него всегда под рукой «заболоченный» отдел публицистики, доказавший свою небрежность прошлым письмом-доносом.

Но все это, честно говоря, мелочи по сравнению с тем, что произошло с нашим журналом, так до сих пор и не отказавшимся от блуждающей идеологии центризма, абстрактного либерализма и от умирающей эстетики шестидесятничества и потому — превращающимся по сути в тусклое приложение к собраниям сочинений Дюма, Конан Дойля и «Библиотеке сатиры и юмора».

## ОБЛОМКИ ЕСТЬ. А ИМЕНА НАПИШУТ

На протяжении долгих лет я наблюдал дружную совместную работу РК КПСС и райисполкомов. Раньше эти два органа имели и общие газеты. А теперь исполкомы ведут себя как дети и говорят: «Я сам, я сам!»

Мне вспоминаются годы моей молодости, когда многие скрытно говорили: «Мы за Советы, но без коммунистов». Все знали, что таких людей нужно наказывать по суду. А сейчас то же самое все вокруг говорят открыто. Но никто не знает, что таких людей надо строго наказывать.

Ваш еженедельник существует не в отдельно взятой стране или городе. Неужели получается так: на обломках партаппарата будем писать беспартийные имена?

Москва Ф.ШАШЕНКОВ

## ВЕРНИТЕ ЛЕНИНА В МУЗЕЙ, А ТО УЕДУ!..

Уважаемая редакция!

В КПСС я никогда не был, но знаю — партия и Ленин — близнецы-братья. Сейчас деятельность КПСС приостановлена и ведется расследование причастности ее к государственному перевороту. И если это подтвердится, КПСС не должна больше существовать — ее надо судить. С этим я согласен. Но все документы партийных архивов, в том числе «секретные», должны быть опубликованы целиком и полностью.

Я знаю, что Ленин просил никогда не ставить ему памятников и не делать из него культа. Здесь я могу согласиться со сносом его памятников, хотя представляющие художественную ценность можно и оставить. Это будет память нашей истории.

Мэр Ленинграда А.Собчак заявил, что есть завещание Ленина с просьбой похоронить его с матерью в Петрограде на Волко-

вом кладбище. Но нигде это завещание не публикуется. Если это только слова, то большего глумления над памятью вождя нельзя и придумать. Прошу вас способствовать немедленной публикации этого завещания.

Но самое главное — вопрос о музее В.И.Ленина. Мэрией принято решение, но всем известно, что это — прямое его уничтожение.

Это музей не только Владимира Ильича, но и нашей с вами истории, нашей жизни, нашей памяти. Сейчас поднимаются вопросы причастности Ленина к репрессиям в годы гражданской войны, уничтожению духовенства и пр. Но если это так, то надо опубликовать все архивные документы ленинского времени. А лучше всего их в подлиннике поместить в том же музее Ленина для всеобщего обозрения и показать нам, кто же был Ленин. Я думаю, работники музея с большим удовольствием примут любой документ, подписанный Владимиром Ильичем.

А пока этих доказательств нет, я прошу Вас содействовать тому, чтобы музей не был выселен и сохранилась историческая память нашего народа.

Прошу Вас отнестись к этому письму со всей серьезностью. И если, несмотря на мою просьбу, музей будет выселен, я буду считать невозможным дальнейшее проживание с мэром Москвы и депутатом Верховного Совета СССР в одной великой и так сейчас несчастной стране.

Пока с уважением,

Москва Б.Г.ЖИЛЬЦОВ

## РАЗДЕВАЙТЕСЬ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!

В стране идет массированная атака на эротику, наготу, красоту.

В этом налицо конфликт отцов и детей. Доколе же мы, молодые, будем слушаться приказов тех, для кого молодость и секс давно ушли в прошлое?

Поэтому мы обращаемся к

вам с настоятельной просьбой — публикуйте на страницах вашего издания художественные фотографии молодых, красивых женщин и мужчин без одежды, публикуйте репортажи с людьми раскрепощенными, избавленными от комплексов.

Напишите, не стесняйтесь, о движении «натуралистов» (это более точное слово, чем «нудизм»). Это не эротика и даже не порнография. Это вполне приличные люди, хоть они и без трусиков и лифчиков. У нас бывают даже иностранцы.

Товарищи журналисты, приходите к нам в гости! Посмотрите, поговорите, опубликуйте репортаж. Ведь быть натурастом — это неизмеримо лучше, чем драться, хулиганить, спекулировать, даже будучи облаченным при этом в костюм-тройку.

Москва Э.АГАТОВ

## НОС, РУКА, НОГА... ЧТО ЖЕ СЛЕДУЮЩЕЕ?

Очень меня удивляют обложки вашего журнала. Там постоянно печатают фотографии разных частей и органов человеческого тела, никак не объясняя с какими именно публикациями в журнале это связано.

Я уже успел увидеть: руку, чью-то несимпатичную физиономию с закрытым глазом, еще одну физиономию со ртом, застегнутым на молнию, ухо, босую ногу, сердце и очень много разных голов (одну даже обезьянью).

Количество частей тела, которые вы еще не использовали, опасно сокращается. Остаются, видимо, самые интересные...

Придется продлить подписку и на следующий год.

Калуга В.РЫБНИКОВ



# Дневник И.



## ЖИВОЕ СЛОВО

**С.Н.Булгаков.**  
**«Православие»**  
М., «Терра»

Стоило вкусить прелестей татарщины, стоило принять муку раскола, обратившего в незаживляемый свищ темное ощущение вины за разъединенность со ставшими «безмолвствующими» сородичами, стоило пройти через искуса дважды поверхностного европейского вольнодумства и через соблазн интимного вчувствования в ледяные доктрины марксизма, стоило рубануть, наконец, не по суку — по дереву собственной жизни оксюмором 2-го десятилетия этого века («апокалипсис нашего времени»), чтобы внятно заговорить по-своему и о своем: такова цена слова. А.Хомяков и Вл.Соловьев, К.Леонтьев и В.Розанов, Н.Бердяев и П.Струве, о.П.Флоренский и Г.Федотов, о.Г.Флоровский и — о.Сергий Булгаков, маленькую книгу которого, репринт с издания «Имка-пресс» 1964 г., от щедрот теперешних нам данную, мы держим в руках, — все это, вплоть до современников наших, таких, как Д.С.Лихачев и С.С.Аверинцев, — есть

Православие. Единая и единственная, поздняя, но пышная, живая и оригинальная традиция свободного религиозного отечественного философствования. Действительно глубокое чувство само-стояния на этой земле, достаточно пошельмованное в полемической неразберихе последних лет заодно с карикатурным доморощенным нацизмом, теперь (если уж нельзя было раньше) особенно своевременно. Вчитаться «для начала» в небольшой и емкий компендий о.Сергия, вслушаться в его слова: «Православие не только еще не выразило, но лишь начинает себя выражать на языке современности и для современного сознания» — редкое и благотворное наслаждение. Еще одно. Книга эта вопреки аннотации не «рассчитана на всех интересующихся проблемами»: даже самый непосредственный культурологический восторг неоправимо беден без понимания жизненной действительности православного образа мысли. Слово открыто для каждого; но прежде чем познать Его, желательно найти выход из Вавилонской библиотеки.

Михаил СМОЛЯНИЦКИЙ

## ДЫК, ОФИЦИАЛЬНО, ЕЛЫ-ПАЛЫ...

**В.Тихомиров. «Золото на ветру»**  
М., «ИМА-пресс»

До сих пор никто толком не знает, что такое митьки. Не КТО они такие — фамилии их уже у всех на слуху. А именно — ЧТО: гениальная мистификация, «стёб» или все-таки явление искусства. Книга В.Тихомирова, давно знакомая читателям самиздата, вряд ли поможет разобраться в этом, но, несомненно, приобщит к творчеству и мировоззрению митьков тысячи тех, кто не мог или не успел посетить их выставки, побывать на их хэппенингах. Так что, несмотря на то, что издание книги — всегда событие для автора, в данном случае — это, скорее, событие для читателей. Книга издана здорово, не в смысле — богато, а в смысле — с выдумкой, старанием, весельем. Бесплезно пытаться расказать авантюрную историю, проиллюстрированную А.Флоренским, в которой мы знакомимся с героями подпольной культуры: Львом Борисовичем Хоботом, Народным Мстителем Матросом Терентием, инспектором Каверзневым и другими. Лучше выразим вместе с автором предисловия Б.Гребенчиковым восторг в связи с тем, что книга эта вышла в официальном издательстве и напечатана в настоящей типографии. Действительно, повезло нам, елы-палы...

А.Г.



## ТЕАТР ПАРАДОКСА



## ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

**«Театр парадокса»**  
М., «Искусство»

Игорь Дюшен, составивший трехсотстраничную антологию пьес «театра абсурда» (или, как настаивает он сам, «театра парадокса»), в предисловии сочувственно ссылается на высказывание Михаила Чехова: «Будущие пьесы, наверное, неудобно будет читать, их можно будет только играть». Парадоксальность (или абсурдность) ситуации заключается в том, что по нынешним нашим временам как раз играть вещи Ионеско, Беккета, Мrożека, Жене, Аррабаля, Пинтера у нас некому, а вот книжка с картинками Л.Тишкова вышла — и чувствует себя превосходно. Она будет раскуплена так же стремительно, как лежала германская тушенка — фирма гарантирует качество вопреки сроку хранения. Сетовать на то, что она появилась поздно, не стоит. Гуманитарная помощь всегда приходит вовремя. И точно по адресу. Жуткие же персонажи изящных тишковских рисунков (комментарий не к тексту, а к процессу чтения) выглядят как русскоязычные этикетки на импортных банках. Ими уходящий театр парадокса вращает в нашу собственную жизнь: имеет на то основания. Последняя фраза в книге: «Фигурка, размахивая руками, быстро удаляется, исчезает в перспективе дороги». Ну, здравствуйте! Наконец-то!

Александр СОКОЛЯНСКИЙ

## МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ?

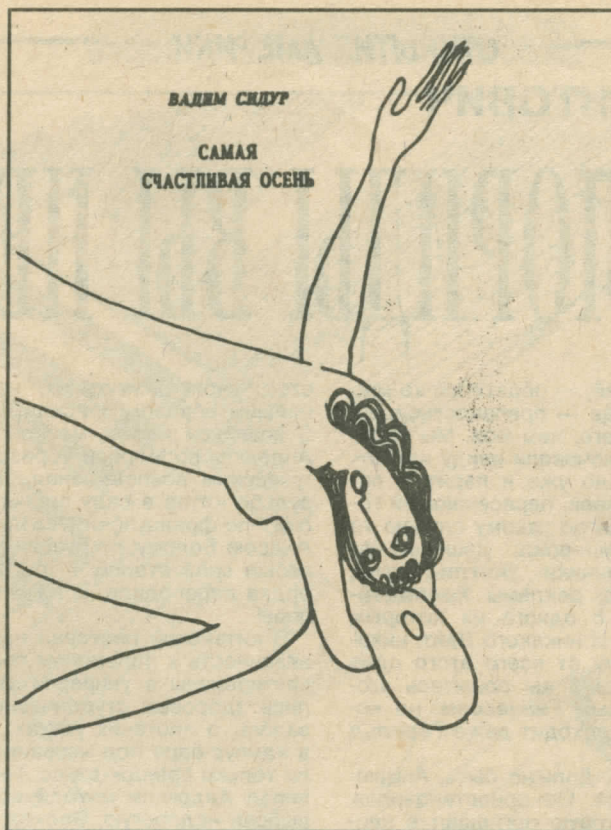
«По Москве»  
М., «Изобразительное искусство»

Ленин как-то сказал о перестройке столицы первого социалистического государства: «Мы должны дать этот пример здесь, в Москве, пример, какие Москва уже не раз давала». К сожалению, на нашу долю выпал в большей степени пример, обещанный вождем пролетариата, и в меньшей — все остальные.

Есть города, сразу привлекающие взгляд ясной гармонией целого, — таков Петербург. Есть города, пестрые по стилю, красота которых раскрывается постепенно, в неожиданных частностях, — такой всегда была и, надеюсь, останется Москва. И есть города, путеводители по которым превращаются в мартиролог всего за 70 лет и 4 года. Так и хотелось сначала назвать это репринтное воспроизведение издания М. и С. Сабашниковых 1917 года. Однако вовремя пришедшая в голову мысль о всеобщей усталости от



апокалиптических стонов удержала от этого. «Начинается земля, как известно, от Кремля...» — ну Кремль-то на месте. Нет памятников императорам? Так, слава Богу, нет больше и памятников убийцам. Конечно, хочется охнуть по поводу знаменитых «сорока сороков», но почему-то не верится, что Москве вернет ее неповторимый облик слепленный из современных конструкций храм Христа Спасителя, поскольку наши



мысли и души достаточно «загромождены хаотической и малоинтересной позднейшей застройкой», как часто пишу о сохранившихся до наших дней соборах и монастырях. А книжку эту и без моего совета, наверное, многие москвичи уже захотели иметь в домашней библиотеке.

Ирина ЛЮБАРСКАЯ

### «ЗНАЧИТ, Я ЕЩЕ НЕ УМЕР...»

В. Сидур. «Самая счастливая осень»  
М., Отдел культуры исполкома Перовского райсовета

Почти 100 стихотворений и более 40 рисунков составили маленький сборник гениального Вадима Сидура. Неисповедимы пути отечественного книгопечатания! Книжка Сидура, судя по всему, не появилась бы, если бы в Перово не открыли его постоянную выставку. Именно к ней и было подготовлено это издание, вышедшее из

печати несколько месяцев назад, но лишь недавно появившееся в книжных магазинах. Стихи Сидур начал писать в 1983 году и делал это до самой смерти в 1986-м. Три с половиной года смертельно больной скульптор обращался к поэзии, когда на основную страсть не хватало физических сил. Он никогда не считал себя поэтом, хотя относился к своим стихам так же требовательно, как и к любой другой форме творчества. Может быть, поэтому его стихотворения одновременно и наивны, и совершенны. Вряд ли так написал бы профессиональный поэт, но в то же время ни одна строчка, ни одно слово не кажутся случайными, лишними. Наверное, многие не согласятся с тем, что эта тоненькая книжка обогатит нашу поэзию. Но несомненно, что она обогатит нашу культуру и человечность.

Андрей ГАВРИЛОВ

Дневник И.

P.S.: ВИДЕО

Ведет Андрей  
ГАВРИЛОВ

## ГРУДЬ — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

«Видеоглобус», № 1

В этом журнале не указан ни издатель (разве что ВО «Союзинформкино», скрытое где-то в недрах выходных данных), ни редколлегия (если таковая имеется). За исключением пяти фамилий авторов статей. Но, в общем, это неудивительно. Не думаю, чтобы кто-то горел желанием признать свою причастность к этому выпуску. Обязательный набор банальностей — как в любой видеобульварщине: Шварценеггер, Мария Шнайдер, «Эммануэль». Обязательный набор ошибок и неточностей: неправильно названа фамилия Ким Бэйсингер, Джон Маскер назван Мескером, всемирно известный сценарист Жан-Клод Каррьер превратился в Каррье. Все это, конечно, плохо, досадно, но хуже другое. Издатели журнала, судя по всему, впитали большевистскую философию, по которой видео и порнуха, как Ленин и партия, — близнецы-братья. То, что так долго пытались вбить в нас «Правда», «Сов. Россия» и тому подобные издания, к сожалению, не прошло бесследно. Иначе чем еще можно объяснить, что для первого выпуска не нашлось других фотографий кинозвезд, кроме как запечатлевших грудь Н.Кински, грудь М.Шнайдер, грудь Н.Угер, грудь неизвестной мне советской актрисы, грудь и прочие прелести неназванной черноркожей киногероини? Эти попытки завлечь читателя в качестве материалов, не точностью информации, а тем, что называется «половушкай», отвратительны. Так и хочется, вспомнив старый анекдот, спросить: «Скажите, а у вас нет другого глобуса?»

Николай КЛИМОНТОВИЧ

## ТАКОЙ ФЛОРИДЫ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

— Не скрою от вас, любезнейший, — обратился ко мне Андрюша, — что эта ваша Флорида — препакопнейшее местечко. Флорида была скорее его, чем моя. Мы только что покинули мотель, где переночевали ввиду известных обстоятельств. Раннее утро, но уже и парит, и палит; дежурный американский хайвей, пересекающий городишко Теллахасси и сделавшийся по такому случаю то ли Вашингтон-авеню, то ли Линкольн-роад; дешевые забегаловки **Макдоналдс**, магазинчики **Воггли-Поггли**, бензоколонки трех разных пород, рекламы **Холлидей-Инн** и китайские ресторанички, с одного из которых, **Даг-Палас**, все вчера и началось. И никакого **Лайт**, никакого **Будвайзера**, не уговаривайте, от всего этого одна изжога. Конечно, не откажусь, коли вы решитесь угостить старшего товарища холодным **Гиннесом**, но какое там — сюда, вы говорите, не доходит даже **Геральд Трибюн!**

Ничего подобного я не говорил. Должно быть, Андрюша имел в виду **Вашингтон Пост**. Он приостановился, бросил жевать **Тутти-Фрутти**, которую поглощал в немомверных количествах («Не дождался в детстве, — пояснял он, — ведь мы, дети международного фестиваля молодежи и студентов, в отличие от вас, молодых, в шестнадцать только начинали фарцевать»), и, насупившись, прислушался к чему-то позади.

— Льет, — констатировал он, — как из крана. Как пошло утром, так и не останавливается. Каково — ходить по столице штата с промокшим задом! Хоть тампон засовывай. И что подумают о вас, натуральнейший, чопорные южане, скромные белые англо-саксонские протестанты?

Он с укоризной покачал головой, чуть пританцовывая, и белесое флоридское небо тоже качнулось в его элегантных очках. Я взглянул сзади на его ситцевые, в голубую полоску, шорты по колено, приобретенные нами вчера в магазине **Дресс фо Лесс**, все было сухо, чистая мнительность.

— Что ж, сегодня придется отдохнуть, — продолжал он и принялся жевать. Мы двинулись дальше. — Возьмем-ка мы у хозяев ихнего **кролика** и — черт с ним, с кондишном — махнем на океан!

Хозяева наши, немолодая русско-американская пара, невеста как занесенная в здешний университет, помимо весьма норовистого и молодежавого форда, имели и маленький **фольксваген-раббит** с испорченным кондиционером (что по флоридским понятиям равносильно отсутствию двигателя), на него-то и покушался Андрюша, запасшийся в Москве интернациональными правами, которые, впрочем, для флоридских полицейских, должно быть, есть филькина грамота.

— На Мексиканский залив, — возразил я, — на океане холодно. А нам ведь нужно искупаться.

— Да, в Панама-Бич! — вскричал Андрюша. — Ибо после такого искупаться необходимо! Не для бассейна же мы приобрели красивые купальные трусы! Нет, вы представьте, приятнейший, — он прищурился, — мы залезем в теплую водичку, потом вылезем и сожрем какую-нибудь местную си-фуд, запивая холодным калифорнийским. Представьте себе, — бодро шагал он, — свеженьких устриц, только что пойманных под сваями Сент-Джордж-бридж, прохладнейший рестораничок с видом на Мексику, хозяин — из отставных контрабанди-

стов, кубинец-эмигрант, наша мадам мне преподобнейшим образом описала маршрут вчера за завтраком... С хозяйкой нашей, московской еврейкой и сокурсницей Андрюши по Мориса Тореза, он часто предавался хемингуэвским воспоминаниям и разворачивал дискуссии о судьбе котов в саду виллы на Ки-Уэст, причем говорили они по-французски: хозяин-ирландец, специалист по Андрею Белому, по-русски не понимал, а Андрюша давно забыл свой второй — английский. Из приличия мне изредка переводили. И ни слова больше об американском пиве!

В китайский ресторан нас привела национальная привязанность к пельменям после бани. С утра мы были дезантированы в университетский бассейн, где насмотрелись здоровых студенческих тел, не помышлявших, казалось, о плотских утехах, лишь о рекордах в спорте, а в кампус-баре под названием **Phirst** в это время подавали только орандж-джус. Текилу, любовь к которой я прививал Андрюше методически, мы взяли в магазинчике, выбрав недорогую, **Восход Солнца**. Поплутав, попали на хайвей, мимо которого здесь не промахнуться, **Утиный Дворец** привлек нас названием, и мы не ошиблись: стим-дамплинг съели по три порции, хоть китайцы и считают это всего лишь горячей закуской, от утки по-пекински и свинины по-сычуаньски отказались решительно, но потребовали к текиле лимон, а запивали все холодным китайским пивом. Трапеза живо напоминала студенческие, с водкой из кармана, в чебуречной на углу Сретенки или в пельменной на Чернышевского. Из соображений экономии и тяги к перемене мест выпивания — водки мы здесь заказывать не стали, но расплатились и отправились искать поблизости вайн-стор. На хайвее не продавали, посоветовали нам свернуть прочь от известного нам центра, каковым считались два квартала вокруг аляповатого здания, имитирующего Капитолий, и белого дома губернатора с полосатым флагом, торчавшим из подстриженной лужайки; мы очутились среди довольно достойных домиков, но все отчего-то кучившихся, хоть земли здесь — сколько угодно. Было около четырех и совершенно пустынно, только на одном углу мы завидели фигуру негра в соломенной шляпе. Уразумев наш вопрос, он вызвался проводить. У него была добродушнейшая рожа, мелкие седые кудряшки выскакивали из-под шляпы, широкая печальная улыбка, таким в детстве мне представлялся дядя Том, владелец хижинки. «Я алкоголик», — пояснил он, улыбаясь, и для убедительности похлопал себя по груди черной рукой с чистыми розовыми ногтями.

Через квартал к нам присоединилась молодая негритянка, стройненькая, со смазливим личиком, с двумя невинными ленточками в косичках, в ботинках на босу ногу, какие у нас продавали некогда в магазине **Рабочая одежда**. «Это моя сестра», — пояснил дядя Том. Вскоре мы действительно достигли магазина; наши новые приятели наперебой заказывали: дядя Том тыкал в громадную бутылку **Смирнофф**, девушка попросила чего-нибудь сладкого. «О кей», — сказала мы с Андрюшей. Сестра получила бутылочку ананасного ликера, русофил дядя Том — скромную фляжку водки, которую он, печально улыбаясь, покорно принял из рук продавца. Себе мы взяли еще по пузырьку текилы **Сан Райз**. На улице, размахивая текилой, Андрюша объяснял нашим





спутникам, что мы не из Мексики, но из Москвы («Смирнофф, йес?»), ребята вежливо соглашались: Мексика, йа-йа.

Они привели нас к глухому сарайчику, то ли гнездо команды тимуровцев, то ли подмосковная голубятня, обросшему неведомого характера кустами. Была и завалинка. Мы уселись рядком, причмокивая каждый из своего пузырька, как появилась и еще одна очень черная девушка с широким прыщавым лицом и тоже уселась — без приглашения. Всякий из нас пил не спеша, чуть отглатывая и смакуя, так в молчании прошло минут пять. Новенькая поманила Андрюшу за сарай, он галантно извинился, приложив руку к груди. «Тоже сестра?» — спросил я дядю Тома. «Очень плохая женщина», — покачал тот мудрой головой. Андрюша выглянул: «Она просит десять долларов». — «А что предлагает?» — «Полагаю, все что угодно, хоть я, вы знаете, великодушнейший, по-ихнему не очень. Как думаешь, давать?» — «Лучше не надо», — отвечал я ханжески, втайне ревнуя, что та выбрала не меня. «Как скажете, мудрейший», — отозвался Андрюша и без видимого сожаления опять уселся. С неподвижным лицом вышла из-за сарая и соблазнительница, шмыгнула широким носом и удалилась вдаль по улице, уже поддвеченной закатом.

Продолжали хлебать.

Прошло еще сколько-то молчания, как моя соседка тронула меня за рукав: ее пустая бутылочка из-под ликера лежала у ее стройных ног. Я наклонился к ней, и она быстро зашептала, смысл был тот, что ее парень недавно всю-всю ее порезал ножом (она даже приподняла кофточку, чтобы показать раны), но ей тоже нужны десять долларов. В ответ я молча дал ей отхлебнуть текилы, а потом хлелнул вслед за ней, прикидывая, убивает ли сорочаятиградусная мексиканская водка личинок здешних глистов, и гордясь отсутствием в себе и намека на расизм. Темнело. Появился молодой негр со слишком блестящими глазами и уселся на корточках прямо напротив меня, метрах в полутора. Быть может, это и был ее парень. «По-моему, пора сваливать», — сказал Андрюша, а ведь он не слышал нашего с сестрой разговора. Дядя Том бесстрастно мусолил последний глоток Смирноффа. «Пожалуйста», — очень отчетливо произнес молодой негр, растопырив руки. Мы с Андрюшей переглянулись и пожали плечами. Потом встали и пошли следом за негром по улице, а дядя Том с сестрой шли позади нас.

Мы пришли к небольшому домику, на лужайке перед которым огонь горел в сложенном из камней очаге. Негр в белых шортах и белой майке уже расставлял по траве соломенные стулья. «Хорошенькая тусовка намечается», — произнес Андрюша усаживаясь. Уселись и мы с дядей Томом, хоть тот и держался все с краешку, в тени. Сестру к огню не пригласили. «Не скрою от вас, дражайший», — продолжал Андрюша, смакуя текилу и протянув к огню ноги, хоть и было на улице по меньшей мере градус двадцать восемь выше нуля по Цельсию, — не скрою от вас, что, когда стемнеет, они обдерут нас как липку». По переулку, озираясь, шла худая белая женщина в светлых джинсах и пестрой рубашке, схваченной узлом на животе, с немой и бескровным лицом; Андрюша помахал ей рукой, но заметила ли она — было не понять. Молодой, что привел нас, проводил женщину глазами, а тот, кто в белом, вынес из дома какой-то темный предмет и поставил перед нами на землю. Это был вырезанный из дерева здоровенный черный фалл, но весь сморщенный, ударивший лицом в грязь. «Кажется», — сказал Андрюша, — сейчас нас будут посвящать в некий тайный союз». «В тайный мужской союз импотентов», — отозвался я. «Ну, этому уж не бывать!.. Хорошо сидим, а ребята!» — вскинулся он, ударив дядю Тома по плечу, а сам соорудил знакомую мне волчьую улыбочку. Дядя Том не дрогнул, подставил свою фляжечку, и ему было отщежено текилы. «Хорошая вещь», — сказал молодой негр с блестящими глазами. «И не дорого», — заверил тот, в шортах.

Женщина шла обратно, то и дело оглядываясь на нас. «Эй, подожди, крошка», — заорал тут Андрюша. Мы повскакали с мест, не сговариваясь, подбежали к этой белой леди, подхватили под руки и пошли вперед быстрым шагом, не задерживаясь. К нашему удивлению, через минуту мы опять были все на том же хайвее, в руках — склянки с текилой, но уже не мы ее, наша спасительница нас энергично влекла под локотки, пока не поставила перед стойкой мотеля, а служащий вежливо подвинул ко мне раскрытую книгу, попросив, чтобы я написал в ней свое имя. Я написал. «Сорок долларов», — сказал он, и я дал сорок долларов. Взамен он протянул ключ и ткнул пальцем вверх, в потолок.

Наша комната была на втором этаже, куда вела внешняя лестница. Дверь распахнулась, это был чистенький номер с двумя кроватями, стоящими посредине, и дверью в ванную в углу. Не успели мы оглянуться, как наша дама стояла перед нами голая; без одежды она казалась даже привлекательной: довольно свежая грудь, стройные худые бедра, удлинённый лобок в светлых кудрях. «Спроси, у нее есть подруга?» — нашелся Андрюша. Я спросил. «Она сейчас будет», — был ответ. «И сколько это стоит?» — догадался поинтересоваться я. «Сто за два часа. Пятьдесят и пятьдесят». Мы глотнули текилы. «У тебя есть сто долларов?» — спросил я Андрюшу. «Откуда», — отмахнулся он, с неподдельным вниманием разглядывая нашу подругу. «У нас нет наличных», — сказал я ей. Реакция была мгновенной: через секунду она была в трусиках, в джинсах и натягивала рубашку, как в дверь постучали. «Войдите», — сказал Андрюша — почему-то по-французски. На пороге стояло изумительное существо женского, судя по многочисленным признакам, пола — кругленькое, в очках, похожее на аспирантку математического отделения. Из-за толстых стекол смотрели очень большие глаза. «У них нет кэш», — сказала первая, — идем отсюда». «Куда же!» — воскликнул Андрюша, так и впившись в аспирантку глазами. «У меня есть чековая книжка», — сказал я. «Э», — подняла глаза к небу первая, завязывая узел на голом животе, и презрительно сплюнула. «У меня есть деньги», — сказала аспирантка нерешительно. «И ты возьмешь у него чек?» — спросила первая. Аспирантка пребывала в нерешительности, но я уже строчил в чековой книжке. «Ты немец?» — спросила первая леди. «Немец он, немец», — заорал Андрюша по-русски, а я вручил чек на сто долларов очкастой, попросив ее самостоятельно вписать фамилию. Потушив сигарету, первая начала раздеваться снова, аспирантка все искала, куда бы пристроить сумочку, как Андрюша налетел на нее цунами, первым делом снял с нее очки, а там стал потрошить кофточку. Мы моргнуть не успели, как аспирантка с Андрюшей уже барахтались на постели. «Дай ему презерватив», — попросил я оставшуюся на мою долю подругу. «О, она совсем чистая, совершенно», — отвечала та и повлекла меня в ванную. У нее в руках оказалась банка из-под диетической пепси-колы, краем зажималки она сноровисто проткнула в ней дырку, потом, держа банку горизонтально, положила сверху крохотный брикетик чего-то серого, чиркнула, из отверстия, откуда принято пить, повалил желтоватый дым. Она уселась по-турецки прямо на кафед, повлекла меня за собой. Затянулась, передала банку мне с осторожностью. Это был крэк. С первой затяжкой я почувствовал лишь вкус тлеющей нитрокраксы. Вторая пошла вкуснее. Мы сидели на прохладном полу, передавали банку друг другу, а в открытую дверь нам была видна постель, на которой Андрюша и аспирантка вытворяли черт-те что.

После третьего круга мы были уже как братик с сестричкой. Кокаин медленно вел нас по своим укромным дорожкам. «Уэт видео», — смеялась она, и получился каламбур: толстуха-аспирантка оседлала моего Андрюшу, и пот с нее так и лил — в три ручья. «Она в первый раз со мной работает», — заметила моя сестричка, кивая на постель. «Бунин, — сказал я, — три рубля». «Что

есть бунин?», — хохотала она. «Это такой банан», — хохотал и я, но скоро мне стало неважно. Я породственному целовал ее бледное отекавшее лицо, но в коридоре мне чудились шаги, а потом я представил, что незаконно нахожусь в интуристовской гостинице и сейчас за мной придут. Должно быть, я спрятался под одеяло, потому что, проснувшись среди ночи, нашел себя одетым на постели, на соседней ничком, лицом ко мне и без очков лежал голый Андрияша, а из его рта текла на подушку желтоватая, как текила Сан Райз, слюна. Больше, естественно, никого, но бумажник мой был на месте, и, положив руку на передний карман, я опять заснул.

Разбудил меня Андрияша, который громко матерился из ванной под плеск воды. «Не скрою от вас, драгоценнейший», — сказал он, заметив, что я пошевелился, — это было отменное приключение. Но, во-первых, у меня прорвало узел и хлещет из зада крови; во-вторых, остроумнейший, мы е... без гондонов, а значит, отныне мы вирусносители АИДС, по-русски, — спидоносцы». Во рту у меня была отчаянная сушь и гарь, однако я пересказал Андрияше вчерашний разговор о том, какая у него была чистая девушка, к тому ж — девственная. «Охренеть можно», — сказал Андрияша и стал одеваться. «Кстати, прекраснейший, а вы, значит, так и не?» «Я был с алмазами на небесах», — проскрипел я. «И что же, хороша местная дурь? И как проходит ломка?» Но сжался надо мной, дал стакан воды, предварительно капнув в него текилы, и это принесло облегчение...

«Понимаете ли, восхитительнейший», — пояснял он, когда мы гнали в хозяйском раббите по узкой дороге на запад, к заливу, и нейлоновые флажки, разделявшие встречные полосы, уютно пощелкивали, если Андрияша заступал на них колесом, — обожаю очкастых. Должно быть, потому, что сам такой. Особенно, если минус пять и ниже. Когда мы с дамой избавляемся от оптики и одежды, то оказываемся, как в аквариуме...» Мне опять было худо, я попросил его притормозить у придорожного магазинчика. Пива брать не стали, только по банке айс-ти из холодильника (зачем американцы кладут в него так много сахара), я насыпал себе кулек воздушной кукурузы прямо из прозрачной пачки, в которой она так и щелкала (о, хрущевское кукурузное детство), Андрияша сунул в карман здоровенную пачку гама; у кассы он извлек жвачку из кармана и, хлопнув себя по лбу, обворожительно по-волчьему улыбнулся: «Пардон, мадемуазель». «И знаете, что больше всего умиляет в самом себе русского человека в западном магазине? — продолжал он, когда мы тронулись дальше. — Отвечу: мгновенная, как реакция боксера, желание что-нибудь с... И как сладка бывает каждый раз победа над собой!»

Мы проехали уже миль шестьдесят, Андрияша на свой риск миновал несколько развилки, но основной лесок по сторонам, вполне крымский, все больше скрывал от глаз признаки американской цивилизации. Все дороги ведут к морю, был уверен Андрияша, а мои сомнения подтверждал атлас автомобильной Америки, который я раскрыл на Флориде. Наконец, появился указатель — Вудли Крик — и стрелка направо. Мы решили повиноваться, с тем чтобы найти хоть кого-нибудь, кто знал бы путь к Мексике и холодному калифорнийскому. Еще через милю мы завидели приличного вида ворота с надписью: Национальный парк. «Приехали», — сказал Андрияша, вырвав на пустынную стоянку перед чистеньким зданием — к тому же бесплатную, — здесь и отдохнем по стаканчику».

Внутри торговали сувенирами и майками зоологического характера, ресторан был очень европейским, с умеренными ценами, но в нем не подавали алкоголя. В окна была видна поверхность озера, причал, какая-то водоплавающая посуда у него. Большой плакат призывал совершить экскурсию, но при встрече с аллигатором не кормить его и не обижать. «Демократия», — сказал Андрияша. Мы решили экскурсию совершить.

Взяли билеты, за двадцать минут ожидания наш корабль наполнился американскими супружескими парами в шортах с выводками детей и фотоаппаратами. За штурвал встал приятного вида негр, мы отчалили, в микрофон полилась совершенно мне непонятная южноамериканская речь. По-видимому, негр отпускал шутки, потому что окружающие покладисто посмеивались, я же разобрал лишь, что аллигаторов экскурсовод для удобства называет просто гейтерами. За нами сидела молодая пара — очень голубоглазый муж с очень некрасивой женой, как и положено белым протестантам. Я решил, что это, по-видимому, чета фермеров из Джорджии, и стал от нечего делать подсчитывать их детей. «Сказки Шахерезады», — пробормотал Андрияша. Действительно, мы вплывали в какое-то широченное болото; над водой колыхалось прозрачное зеленое марево, будто подсвеченное, в джунглях по берегам перекликались неведомые птицы, повсюду валялись безжизненные панцири огромных черепах. «Снэйк, снэйк», — загалдели американцы, и верно — в одном месте с ветвей тропического дерева свисала не коричневая палка, но натуральная змея, и можно было рассмотреть раздвоенный язычок, мелькающий между ее черных умных губок. Тут фермер обратился ко мне:

— Вы иностранцы?

— Да, — отвечал я, — мы из России.

— О, грейт! — сказал американец. — Я знаю, это возможно путешествовать русским теперь.

— Ит'с нид, — сказала его флегматичная жена.

— Ит'с кул, — согласился я. — Ви бай ит.\*

Судя по последним двум фразам, это не были американские фермеры, это были американские профессора.

— Что они хотят? — поинтересовался Андрияша не оборачиваясь.

— Они приветствуют советское правительство, которое наконец-то предоставило нам с тобой возможность проветриться.

— Приветствую! — Андрияша обернулся, и волчья улыбочка появилась на его лице. — Переведи им, что мы с тобой всегда путешествуем. С самого детства. — Он заблестел очками. — Заказываем каюту у Кука, кладем кредитную карточку в карман...

— Что говорит этот джентльмен? — вежливо поинтересовался профессор, но я не успел ответить — детский гвалт оглушил нас. В микрофон что-то частил негр, посудина накренилась, загалдели и взрослые, но громче всех был Андрияша:

— Крокодилы, е... мать!

Я тоже вскочил на ноги. На сухом островке метрах в трех от нас валялся табун аллигаторов. Был здесь и матерый замшелый самец и мать-аллигаториха с выводком крокодилчиков, и неженатые особи, некоторые из которых переползали с места на место. По всей вероятности, аллигаторам было хорошо и чувствовали они себя как дома. Я не заметил, что Андрияша тихо опустился на свое место. Он смотрел снизу на меня застенчиво из-под своих золотых очков, примостившись на краешке скамьи. «Проклятый геморрой», — пробормотал он. Я улыбнулся ему ободряюще. Я готовился вступить в пятый десяток, Андрияша, не скрою от вас, добивал его. Было только начало апреля. Но я не мог отделаться от мысли, что — как ни верти — мы с Андрияшей попали во Флориду слишком поздно.

1991

\* клево, годится (амер. слэнг)

# INROS WEST

## ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА ДОРОЖЕ ПРИБЫЛИ

*Александр Васильевич АССОРОВ,  
генеральный директор  
окончил Калининградский технический институт,  
Академию внешней торговли.*



— Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, о стратегии и тактике работы вашего предприятия, то есть о ваших основных задачах и о том, как вы их реализуете...

— Стратегия — это развитие нашего промышленного производства, но оно трудоемкое, требует инвестиций и определенного времени. К тому же необходимо изменить психологию наших людей, их отношение к работе. А это даже сложнее, чем модернизировать производство, которое тоже нуждается в переоборудовании. Для этого

*Совместное  
советско-итальянское  
предприятие "ИНРОСВЕСТ" —  
это холдинговая компания на  
акционерных началах*

*"ИНРОСВЕСТ" — это два года  
работы без рекламаций.*

*"ИНРОСВЕСТ" — это годовой  
оборот в миллионы долларов*

*Ежегодно 10% прибыли  
"ИНРОСВЕСТ" уходит на  
содержание детского спортивного  
клуба, в котором занимается около  
300 детей из соседних домов.*

потребуется примерно полмиллиона американских долларов, которые нужно зарабатывать. Поэтому модернизацию проводим поэтапно. Чтобы осуществить эту задачу, мы используем наши структуры по торговле и международному туризму, которые без достаточно больших капиталовложений позволяют заработать деньги на приобретение оборудования для наших фабрик.

За два года оборот СП "ИНРОСВЕСТ" достиг пяти миллионов долларов США. Неплохой результат, если учесть, что работа началась с семисот рублей собственных средств, а взносы в уставный фонд поступили, когда на счете СП было уже около миллиона рублей.

Программа развития нашего СП рассчитана так, чтобы все время быть конкурентоспособными и на внешнем, и на внутреннем рынке и в то же время, чтобы обеспечить жизнеспособность в условиях разрушающейся экономики. Даже если вдруг по каким-либо причинам 90% наших компаний вдруг закроют или обложат сверхналогами, все равно жизнеспособность предприятия должна быть обеспечена.

Это вынужденный принцип организации. Это против разумной логики и не соответствует принципам развития западных компаний, которые в основном работают в одном направлении, не расплываясь. Поэтому сразу после образования мы начали заниматься разными направлениями деятельности.

— В стране есть тысячи совместных предприятий, которые зарегистрировали свое существование, а дальше — ни слуху, ни духу, ни проку — обеспечивают свое существование.

Судя по всему, ваша фирма работает не только на будущее и на себя, но и может уже сейчас предложить советским покупателям реальные товары и услуги. Так ли это?

— О тех СП — ни слова. Что касается нас, то, учитывая, что в стране



дефицит всего: сырья, оборудования, товаров народного потребления, — мы взяли те направления, по которым может быть сиюминутная отдача как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Скажем, деревообработка. Производим различные полуфабрикаты и готовые изделия: двери, оконные блоки, словом, все, чего нет и что требуется для строительства. В этом году мы планируем продать таких товаров на три миллиона рублей. Параллельно, как я уже говорил, модернизируем фабрики, меняем оборудование. Планируем идти от простого к сложному, от полуфабрикатов к готовой продукции. У нас для этого есть все возможности.

Также считаем необходимым заполнять рынок импортными товарами: промышленными изделиями и продуктами питания. Считаем, что для этого просто необходимы дистрибуторские центры, чтобы владельцы небольших магазинов могли выбрать нужный ассортимент и необходимое количество товаров. Наш дистрибуторский центр уже успешно работает, к тому же мы развиваем и розничную сеть.

— Каково качество этих товаров?

— Мы ориентируемся на товары среднего класса, но, безусловно, качественные. Дорогие, престижные товары высокого класса, к сожалению, еще не по карману советскому покупателю. Контракты с зарубежными партнерами мы подписываем только при наличии гарантии. На всякий непредвиденный случай у нас всегда есть гарантийный запас изделий.

— Какие объемы ваших поставок?

**“ИНРОСВЕСТ” направления деятельности**

- деревообработка
- оптовая и розничная торговля
- автотехобслуживание, продажа и прокат автомобилей
- грузовые перевозки
- складское хозяйство
- производство биокормов для промышленного и аквариумного рыбоводства
- международный туризм

**“ИНРОСВЕСТ”** поставляет предприятиям импортные товары легкой и пищевой промышленности, машины и оборудование за СКВ и рубли

**“ИНРОСВЕСТ”** заинтересован в сотрудничестве с предприятиями, владеющими лесными ресурсами

— Они зависят от запросов. Одежда, обувь, электроника и подобные вещи обычно измеряются в тысячах единиц, а автомобили — в сотнях.

Что касается услуг, то наше структурное подразделение “ИНРОСВЕСТ-АВТО-42” занимается грузовыми перевозками как товаров нашей фирмы, так и по заказам других организаций. В основном это перевозки в страны Западной Европы. Здесь мы начинаем составлять определенную конкуренцию “СОВТРАНСАВТО”. Это же подразделение занимается продажей новых советских и поддержанных иностранных автомобилей, техобслуживанием в первую очередь проданных им автомобилей, сдает автомобили напрокат.

“ИНРОСВЕСТ ТУРС”, другое наше подразделение, специализируется на международном туристском сервисе, отправляет бизнес-группы в страны Юго-Восточной Азии и США, а в страны с относительно недорогим уровнем проживания: Грецию, Испанию, Португалию — группы для отдыха. Так как мы являемся участниками нескольких международных туристических организаций и большинство наших партнеров занимается не только туризмом, но и коммерческой, и промышленной, и торговой, и посреднической деятельностью, то у нас есть прекрасная возможность отправлять за рубеж профессиональные группы.



Наш адрес — не секрет!  
 117454, Москва, ул. Удальцова, 67а,  
 Телефон 133 85 28. Телекс 411466 MIR SU  
 Факс 938 22 91

Владимир ВИШНЕВСКИЙ

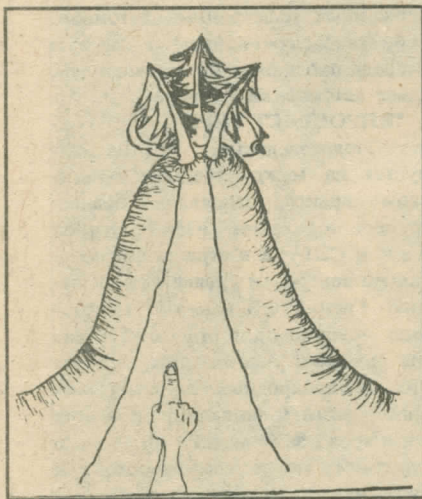
# «СПАСИБО МНЕ, ЧТО ЕСТЬ Я У ТЕБЯ»

ИЗ КНИГИ

## АНЖЕЛКА С КИЕВА

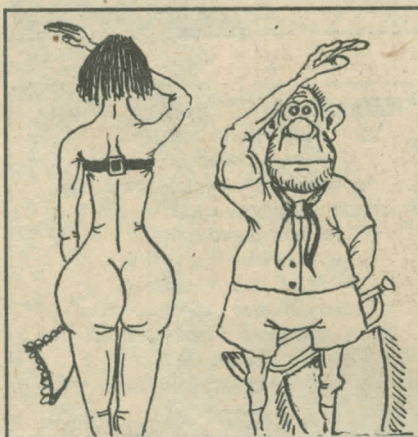
А.Х.

Под надуманным предлогом  
Мы бродили по дорогам.  
А потом играли в прятки.  
В установленном порядке.



## ЧЕКАННО ПРИСЯГАЯ

Приучен комсомолом и судьбой  
Застегивать бюстгальтер за собой.



## ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ

... Так бесплотна — чудо-стать!..  
Бедер нет — ну я балдею..  
За такую пострадать —  
Все равно что — за идею.



## ЭНСК, РОМАНСЕРО

Эн.Эн.

Вы требуете новых встреч,  
Звоня, ввергая в траты, в вальсы..  
Мадам,  
О чем быть может речь,  
Пока Саддам Хусейн у власти?!"

\* Какие танцы, какой бассейн?!  
Нам всем настанет Саддам Хусейн!..

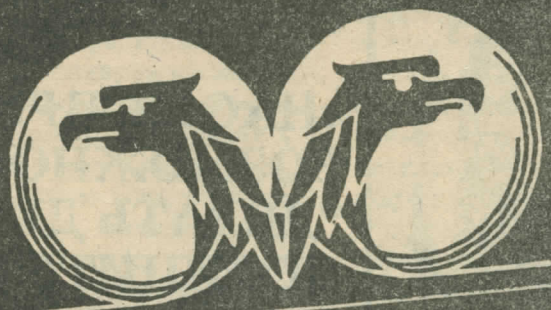
## В УТЕШЕНИЕ

Женщина, мужайся, ничего.  
Это жизнь, бывало ведь и хуже.  
Мне вот, скажем, было какво —  
Одному любить тебя, без мужа?..



Рисовал А.Заяц





ВЕРЖА/  
«РОССИЙСКАЯ БУМАГА»

**Мы  
превращаем  
бумагу  
в реальные  
деньги**

**244-87-47 (круглосуточно)  
244-84-03**

**STYLE**

**ИМИДЖ  
РЕКЛАМА**



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ А/О  
"РОССИЙСКАЯ БУМАГА"  
Евгений КОСТЮХИН:**

**«НАС НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ  
"ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ" НА  
ДЕФИЦИТЕ БУМАГИ...  
НАША ЦЕЛЬ —  
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ  
СЫРЬЕВАЯ БИРЖА!»**

— Евгений Александрович, А/О "Российская бумага" известно сегодня в деловых кругах прежде всего своей биржей. Напомним, что название ее звучит для многих весьма и весьма непривычно — биржа бумажных лесных и полиграфических товаров. Зачем она нужна? Ведь бумагой, как известно, неплохо торгуют и другие получившие известность биржи...

— Вы имеете в виду, что они делают неплохой бизнес на бумаге, зарабатывая неплохие деньги... Замечу однако, что, наряду с бумагой, вам предложат там еще много всего разного, попавшего в разряд дефицита: металл, древесину, нефть, компьютеры, автомобили и даже... оливковое масло. Подобный "вариант" биржи, на мой взгляд, скорее ближе по сути торговому дому, посреднической конторе. Но никак не бирже в ее классическом западном варианте, как бирже сырьевой. Именно этим и отличается биржа "Российская бумага" от многих существующих сегодня у нас бирж. У нас другая концепция. В чем ее преимущества?

Сырьевая биржа, имеющая такую престижную, я бы сказал, специализацию, как наша, — это и есть тот самый конкретный шаг к реальному цивилизованному рынку, о необходимости создания которого мы так много сегодня говорим. Добавьте к престижности предлагаемого товара профессионализм наших брокеров — вот и ответ на вопрос типа "Зачем нужна биржа "Российская бумага"? Говоря другими словами, нас не прельщает возможность делать деньги на дефиците бумаги. Гораздо важнее для нас — оказывать высокопрофессиональные биржевые услуги. И мы упорно работаем над решением этой задачи.

Подчеркну: сегодня через нашу биржу проходит 90 процентов всех сортов и видов бумаги, выпускаемой в стране. 90 процентов! Можно ли сравнить масштаб /да и объемы!/ наших предложений с теми "случайными" 10-15 тоннами офсетной или газетной бумаги, "добытые" той или иной биржей "по случаю"?! Кроме того, и по этой биржевой услуге мы даем фору всем остальным, на бирже "Российская бумага" клиент имеет возможность не только быстро выбрать и приобрести имеющуюся в наличии бумагу, но и сделать индивидуальный заказ на будущие торги. И мы его обязательно выполним. Ведь большинство из 47 учредителей А/О "Российская бумага" — целлюлозно-бумажные комбинаты. Имея в компаньонах таких акционеров, можно уверенно смотреть в будущее.

— К сожалению, Евгений Александрович, если говорить о бумаге и той продукции, которая из нее изготавливается, то нам, рядовым потребителям, будущее это видится далеко не радужным... Взять хотя бы взлет цен на книжно-журнальную продукцию. Существуют ли у биржи рычаги, с помощью которых можно было бы влиять на такие экономические ситуации?

— Разумеется, они существуют. Мы предложили, в частности, немедленно ликвидировать предприятиям госзаказ на бумагу и всю ее пустить в продажу на нашей бирже. Что бы это дало? Можно было бы, например, поддерживать на щадящем уровне /в два раза ниже, чем диктует рынок/ цены для тех же школьных учебников или подписных изданий.

— И как бы в данном случае проявилась специфика функционирования вашей биржи?



— “Российская бумага” — биржа специализированная. Поэтому условно говоря, мы покупали бы у целлюлозно-бумажных предприятий их заказы на год вперед. Таким образом, производители освобождались бы от всех забот, связанных с реализацией. Покупатель бы, в свою очередь, зная, что на нашей бирже он в любую минуту может приобрести любое количество любой бумаги, перестал бы покупать ее впрок, платить посредникам и т.д. Спекулятивные тенденции рынка пошли бы на спад. Ведь биржа — катализатор рыночных процессов, через нее идет процесс выравнивания нормы прибыли между отраслями производства. А значит, появляется возможность прогнозировать рыночную ситуацию и, в конце концов, цены.

— Рыночная экономика проходит болезненный этап становления. Как говорится, то ли еще будет... Какие достижения на счету биржи “Российская бумага” сегодня?

— Авторитет биржи, ее статус можно оценивать по двум параметрам: счету в банке и динамике стоимости брокерского места /его можно назвать своеобразной акцией/. Так вот, стоимость места на “Российской бирже” составляла на старте нашей деятельности 250 тысяч рублей. Сегодня она увеличилась вдвое. Заметьте, что мы целенаправленно сдерживаем рост стоимости брокерского места, предпочитая продавать их не “бизнесменам” с тугими кошельками, а тем, кто будет способствовать укреплению авторитета биржи.

Еще один точный барометр — внимание к нашей бирже западных предпринимателей. Активный интерес проявляют норвежское, венгерское, британское торговые представительства. Готовятся к подписанию интересные контракты. Не так давно на контакт с нами вышли специалисты ФИННПАП /“Финская бумага”/. Фирма весьма известна в Европе, а у нас в стране и подавно, хотя ее менеджеры не баловали нас своим вниманием. И представьте: мы получили фантастическое предложение — продавать через нашу биржу высококлассную финскую бумагу! Мы сделали, так сказать, контрпредложение: давайте попробуем осуществлять эти операции за рубли? Финны согласились. Знатоки бумажного рынка, я уверен, по достоинству оценят эту новость. Ведь смотрите что получается.

Тонна финской бумаги продается сегодня у нас примерно за 17 тысяч рублей. Это касается малых партий. По закону биржи, чем партия товара больше, тем стоит она будет дешевле. В США такая бумага стоит тысячу долларов за тонну. Рыночное соотношение доллара к рублю составляет сегодня приблизительно 1:56. Таким

образом, на бирже “Российская бумага” за доллар нужно отдать уже не 56 рублей, а всего лишь 17. То есть, рубль оказывается дороже на бирже “Российская бумага” в три раза. Не это ли наглядный пример того, что если активно заработает биржевой механизм, престиж рубля начнет расти, а финансовая система страны станет более здоровой.

Важным показателем эффективности работы биржи можно считать рост продаж и снижение цен. В середине лета газетная бумага продавалась на бирже по 8,5 тысячи рублей за тонну, сейчас — уже по 6,5 тысячи. Те, кто гонится за “быстрыми” деньгами, полагают, наша биржа от подобных операций только проигрывает. Дескать, выгоднее продать подороже. Мы убеждены в обратном: солидной сырьевой бирже выгодно продавать не дороже, а больше!

— Евгений Александрович, видимо, далеко не случайно символом биржи “Российская бумага” стал дореволюционный российский герб. Это говорит о вашем желании возродить славные традиции российского предпринимательства. Тогда, как известно, считалось обычным делом вкладывать деньги в благотворительность, меценатство...

— Мы не забываем об этих традициях. И много помогаем самым разным людям. Жертвам чернобыльской катастрофы. Церкви. Деятели искусства. В связи с этим выскажу одно замечание.

Подражая западным бизнесменам, наши деловые люди, случается, занимаются благотворительностью ради рекламы. То есть, делая как будто доброе дело, не упускают случай укрепить свой имидж. Как свидетельствует история, российские деловые люди не стремились афишировать благотворительные деяния. Репутация они утверждали делами.

К этому мы и стремимся, занимаясь созданием цивилизованной сырьевой биржи!



Андрей МАЛЬГИН

# КАРЬЕРА СОЛОВЬЯ

Когда Министерство печати и информации РСФСР замялось с регистрацией горячо поддержавшей путчистов газеты «День», ее главный редактор Александр Проханов поставил у здания министерства пикеты и пообещал устроить у его врат самосожжение. Такой грех министр Полторанин не мог взять на свою душу и газету зарегистрировал. Под названием «День» появилась приписка: «Газета духовной оппозиции». Александр Проханов остался в живых.

Я знаком с духовным оппозиционером не один год. Мало кто знает, что начинал он как автор нежных рассказов о русской природе. Затем судьба бросила его на стезю певца научно-технической революции, и в этом качестве он попытался шумно войти в литературу в компании, если кто помнит, «сорокалетних». Среди них были талантливые люди, они быстро обособились от своего «поколения». Обособился и Проханов, но по иной причине. Он совершенно неожиданно стал государственным человеком. Пропадал в Кремле. Регулярно выступал в «Литературной газете» со статьями ко Дню танкистов и Дню Военно-Морского Флота, за что его вскоре обидно прозвали «соловьем Генштаба». Роман «Дерево в центре Кабула» прибавил авторитета в определенных кругах. Но должности проплывали мимо.

Наконец, помер главный редактор журнала «Советская литература», рассчитанного на иностранного читателя. Перестройка была уже в разгаре, и коллектив провел выборы нового главного. Им стал Анатолий Приставкин. Наутро секретариат Правления Союза писателей СССР назначил главным редактором журнала Александра Проханова. Коллектив сопротивляться не стал.

При Проханове журнал окончательно захирел и в конце концов

закрылся ввиду полного отсутствия у зарубежной аудитории интереса к свежим новостям из ведомства маршала Д.Ф.Язова.

Тут подошли выборы главного редактора «Литературной газеты». Секретариат СП во главе с военным прозаиком В.Карповым горой стоял за Проханова. Коллектив газеты был в ужасе, удвоенном от того, что Александр Андреевич успел поработать в этой газете в прежние годы. Голосование на секретариате все откладывалось ввиду лениости прогрессивных секретарей. Наконец, всех их нашла в Кремлевском Дворце съездов во время Съезда народных депутатов сотрудница «Литгазеты» Ирина Ришина, посадила в «рафик» и отвезла на улицу Воровского голосовать. Только что бросив бюллетень за президента Горбачева в Кремле, на улице Воровского прогрессивные секретари, оказавшиеся в большинстве, выбрали редактором «Литгазеты» Федора Бурлацкого. Когда его недавно изгоняли, «литгазетовцы» припомнили Бурлацкому, что, если бы не мрачная тень Проханова, Бурлацко не за что бы не выбрали.

Секретариат СП СССР утешил Проханова: была тут же учреждена специально для него новая газета. Ей полагалось выходить, в пику «Литгазете», ежедневно, и потому назвали ее «День». Силенок хватало на один выпуск в месяц.

Работники типографии «Литературной газеты», где печатался «День», удивлялись: кабинет главного редактора находится в их здании, адрес в каждом номере объявлен тот же (Цветной бульвар, 30), а вот сотрудников в редакцию вроде как и нет. Только после путча выяснилось, что по распоряжению путчиста Варенникова «Дню» отвели хоромы в одной из московских воинских частей, где также снабдили средствами оргтехники и мебелью. За меся-

цы, предшествовавшие августовским событиям, А.Проханов лично взял и опубликовал в «Дне» интервью практически со всеми членами будущей хунты, включая гражданских лиц. Кроме Пуго. К Борису Карловичу обратился со страниц «Литературной России»: «Стальные вожди либерализма взрывают на наших глазах, либеральные писатели и историки готовят себя в министры внутренних дел». В документах ГКЧП чувствуется твердая прохановская рука. Даже если не он их автор, скроены документы по трафаретам, давно опробованным на страницах «Дня».

Еще десять лет назад писатель Виктор Конечский вынес свой вердикт о Проханове, который прочтен был, как говорят очевидцы, будущему главному редактору «Дня» в бане. Я даже знаю, в какой, в Сандунах. Вердикт такой: «Задача у него одна — в струе быть, а не в литературе, в требующую от него в данный момент дудеть. А когда в дуду дудишь, то твой натуральный язык во рту только мешает — ну и проглотить его вовсе, а то ненароком еще сболтнешь чего лишнего. Проглатывать можно безо всяких опасений, ибо он на 100% без костей».

То, что язык без костей, я могу доказать очень просто. Возьму одну только статью Александра Проханова и приведу из нее несколько цитат (подчеркиваю, из одной и той же статьи). 1) «Армия сегодня истребляется, как колонны в афганских ущельях»; 2) «Русофобия есть политический инструмент для разрушения многонационального государства»; 3) «Вина за провалы пятилетней политики лежит на либералах»; 4) «Сметена интегрирующая социалистическая идеология, исключен из развития коммунистический идеал»; 5) «Новая ананта предпринимет попытку оккупировать беспомощную, безоружную страну»;

6) «Только Богородица, молещица земли Русской, может заступиться». Согласитесь, только действительно «язык без костей» мог намолоть такое. В одной каше и ненависть к либералам, и скорбь по ушедшим коммунистическим идеалам и одновременно надежды на пресвятую Богородицу (с заглавной буквы, прямо как в священном писании). Для полноты картины приведу еще высказывание, с каким Проханов выступил накануне путча. «Народ, — писал этот идеолог путчистов, — не вынесет больше насилия». Думаете, это лицемерие? Нет, просто Проханов дунул в тот момент в дуду, в которую, по терминологии Конечного, его попросили дунуть.

Говорят, с получением «Днем» регистрационного удостоверения № 1181 у нас появилась подлинно оппозиционная газета. Может быть, может быть. Первые дни после регистрации оказались омрачены печальным событием: Дзержинский районный суд оштрафовал главного редактора на 300 рублей за нарушение Закона о печати. Выходя из здания суда, Александр Проханов так прокомментировал это решение в кратком интервью газете «Коммерсантъ»: «Все это — провокация либерально-демократической узколобой элиты типа Арбатова и Яковлева».

Ума не приложу, как будет существовать газета дальше. Вряд ли Министерство обороны продолжит ее тайное финансирование. Союз же писателей уже от нее отсекся. Будущее газеты зависит отныне исключительно от поддержки читателей. Это, знаете ли, хороший тест для всего нашего общества. С нетерпением жду результатов подписки на «орган духовной оппозиции». Цифра, которую мы скоро узнаем, достойна размышлений и глубокого анализа.

И в заключение — личное. На днях мне прислали сообщение на бланке СП СССР за подписью секретаря В.Савельева о том, что меня приняли в члены. Спасибо, конечно, хотя я и не просил. Одно только хочу высказать: слышал я, что Союз писателей разваливается на несколько отдельных организаций. Интересно все-таки, в какой из них мне предстоит состоять? Не в той ли самой, что и Александр Проханов? И если это так, извините, дорогой секретарь Савельев, спасибо, как говорится, за доверие, но вынужден отказаться. Нам с Александром Прохановым не по пути.



## Марина Кудимова

\*\*\*

«Локалка» — это зона в зоне  
Для тех, кто преступил закон.  
Там популярен на газоне  
Щавель, а не рододендрон.

Там ходит сонм рецидивистский  
И выгибается дугой —  
Безмерно социально близкий  
И бесконечно дорогой.

«Локалка» — то же, что матрешка,  
Но чуть осмысленней лицо.  
За голенищем видит ложка  
Себя с ножом заподлицо.

«Свобода-мать, судьба-нахалка», —  
Как говорил один нарком.  
(«Глобалка» — это «эпохалка»  
С лауреатским гонорком.)

Обряжен в стопроцентный коттон  
И не краснеющий от лжи,  
Вот социально близкий, вот он —  
Узи его, вяжи, вяжи!

И сквозь пятьдесят восемь-десять,  
Как через лупу, коль не лень,  
Исследуй, сколь он телом детеск  
На сорок три копейки в день.

\*\*\*

От Аустерлица до Голокауста  
И от ГУЛАГа до Пелопоннеса —  
Чем не прогулка для доктора

Фауста,

Если б он не был повешен, повеса.

После развода и физзарядки  
Руки солдатские в керосине  
Разнообразят крышку укладки  
Олеографьей «Палач в пустыне».

Токсикоманы в предсмертном  
проносе  
Просят подбавить газку на убой.  
Ротному писарю жертвы приносят,  
Нежные письма диктуют домой.

\*\*\*

Когда бы капризный боец Ахиллес  
С мбе походил через поле и лес,  
То мауглианской пластмассовой

пяткой  
Уже не воспринял бы волю небес.

Когда карачаровский сидень Илья  
К родимому месту прирос бы, как я,  
За ним бы тащилась несбитой

колодкой  
Хранящая вмятины тела скамья.

ТЬфу, тьмутараканский  
эксперимент,  
Отшельничьих выгод ассортимент!  
Пустить петуха под недвижимость  
эту,  
В неплодном саду схоронить  
документ.

Ломи чернотропом через угор  
Из-за обрешеченных Холмогор!  
Греби с одежкой навесу...  
Ивановской внятно, когда вовсю!

Семен ЛИПКИН

# Пушкинская

Из повести о юности

**М**ного прекрасного, значительного связано в моей душе с небольшим кварталом Пушкинской улицы, между Троицкой и Еврейской. Начать с того, что здесь, поближе к Троицкой, я провел первые два года своей жизни, и потом часто приходил с отцом к прежним соседям, которые громко и певуче удивлялись тому, как я вырос, ласкали меня и угощали коржиками, и каждый раз отец со вздохом показывал мне двери, наполовину стеклянные, с приподнятыми шторами, и единственное окно того магазинчика, который он вынужден был покинуть, запутавшись в долгах, — по вине моей матери, не забывал он повторять, и наша семья перебралась, к стойкому огорчению матери-фантазерки, в дом победнее, попроще, в Овчинниковском переулке, где я жил до своего отъезда в Москву и где, задыхаясь от астмы, от эмфиземы легких, умер в муках мой отец.

Дом — двухэтажный, шестнадцать квартир — принадлежал французско-винооторговцу, сам он жил в другом месте, а здесь, в длинном подвале, зарешеченном со стороны улицы, хранилось вино, и запах его был прочнее менявшихся после революции властей, и только при окончательно укрепившихся большевиках он окончательно исчез.

Мне было пять лет, когда нас с отцом позвала к себе на Пушкинскую бывшая соседка, кормившая себя и двух маленьких детей шитьем мужского белья: ее муж уехал в Америку, и о нем не было ни слуху ни духу. Мама тоже была приглашена, но не пошла, она ревновала отца к этой безмужней женщине. А та пригласила нас к себе из-за необычайного события: она жила на втором этаже, и у нее был балкон, выходивший на улицу, и с балкона можно было в этот день увидеть приехавшего в Одессу царя. Для отца это было небезопасно, он вел социал-демократическую пропаганду среди рабочих мелких мастерских. Шла война, он был оборонцем, сторонником Плеханова, но находился на сильном подозрении у полиции, редко ночевал дома, прятался там, где работал в качестве закройщика, — в мастерской богатого военного портного на Новосельской, в новом доме эклектической пышной архитектуры, ровеснике века. А если он ночевал дома, то наш городской, толстоногий и сивоусый, как Тарас Бульба, всегда пахнувший кислыми щами и крепким табаком, предупреждал его заранее о возможном обыске: городской получал от мамы красненькую каждый месяц.

Отец назначил нам свидание у фонтана в Александровском садике, недалеко от нашего переулочка, мама привела меня к нему, он взял меня за руку, в другой руке он сжимал серебряный набалдашник трости, и мы отправились на Пушкинскую. Сейчас вряд ли кто поверит, что человек, скрывавшийся от полиции, настраивающий рабочих против существующего строя, мог свободно идти по центру города, да еще с какой целью? Посмотреть на царя!

Дойдя до Главной синагоги, мы уже издали услышали голоса военных труб. Кстати, именно эта синагога дала свое название Еврейской улице, точно так же, как Троицкая получила свое название потому, что в конце этой улицы, в начале парка, располагался монастырь св. Троицы, белые здания которого, в чудной своей чистоте выглядывавшие из густой зелени, были

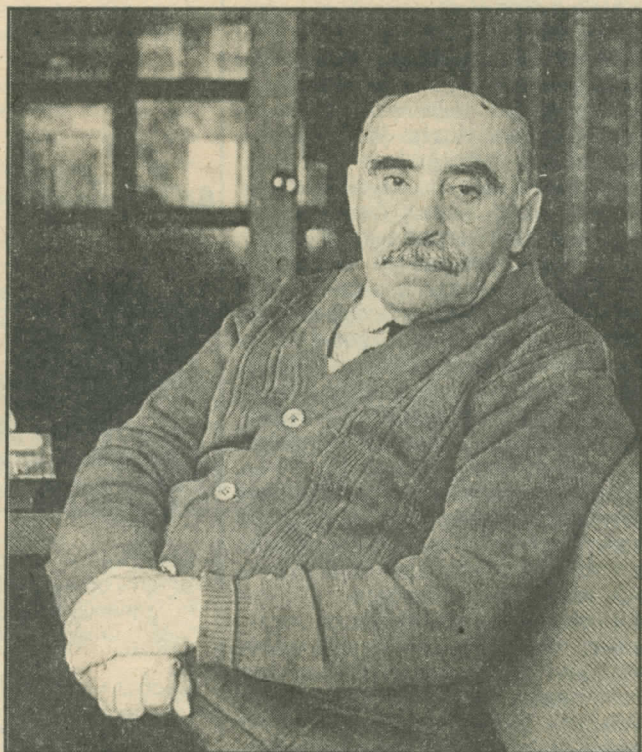


Фото Ю. Штукина

уничтожены во время гражданской войны. А следующая улица именовалась Успенской, в честь круглившейся на другом конце, на Преображенской, поныне действующей церкви Успения Божьей Матери. То, что в портовом, пестром городе наименования улиц были обязаны храмам или названиям народов — имелись и Лютеранский переулок, и Польский спуск, и Греческая, и Итальянский и Французский бульвары, а в том же парке, который начинался монастырем, над самым морем сохранились мусульманские арки Турецкой крепости, — придавало многонациональной Одессе своеобразную красоту, красочную прелесть, и не потому ли двуединство религии и нации так рано и сильно осветило мое детское сознание?

Мы свернули на Пушкинскую. Показалась важная процессия. Она двигалась от вокзала по направлению к Николаевскому бульвару, к Воронцовскому дворцу, предназначенному для краткого пребывания царя. По обе стороны улицы стояли любопытные. То не были знатные люди, допущенные по специальным пропускам, кто хотел, тот и пришел, и места впереди, у кромки тротуара, достались не самым проверенным, а самым прилежным.

# улица

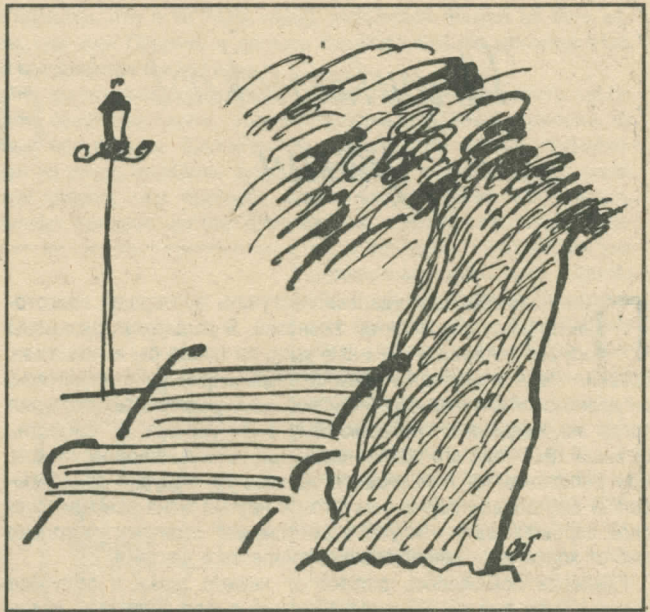
Нас никто не вздумал останавливать, мы спокойно поднялись на второй этаж. Из всех окон, с балконов старались разглядеть царя обитатели Пушкинской и их знакомые. У нас в городе улицы нередко делились на отрезки, соответствующие материальному и сословному положению жителей. На Пушкинской, начиная от вокзала, вдоль перпендикулярных к ней Новорыбной и Старо-Резничной с Привозом, Большой и Малой Арнаутских (свидетельство, что здесь когда-то селились албанцы, иначе — арнауты), Базарной, Успенской, Троицкой и Еврейской сосредоточились дешевые, пользовавшиеся дурной славой номера, лавки ремесленников и мелких торговцев. Хорошо помню бедную синагогу в глубине обшарпанного двора, а потом, начиная с Жуковской и Полицейской, улица богата, чванилась, постепенно становилась частью Средиземноморья, появлялись великолепные дома, кариакиды могущественных банков, сверкающие надменной роскошью магазины, изумительное здание биржи (теперь там зал филармонии), построенное и украшенное итальянскими архитекторами и скульпторами, Бродская синагога толстосумов, воздвигнутая галицийскими выходцами из города Броды, первая в Одессе хоральная синагога с органом, с готическими башенками и вытянутыми, узкими готическими окнами, теперь полуразрушенная: в сохранившейся изуродованной части размещено какое-то архивное управление.

Когда-то Пушкинская была многоцветной. Говорят, что такой ее впервые увидел Пушкин. Сухие ветры, горячее солнце Новороссии, осенние и зимние дожди, годы военного коммунизма и сплошной коллективизации погубили яркую окраску стен, штукатурку, но при мне в широких, гулких, загаженных, но веющих прежней роскошью парадных еще сохранились росписи. Не знаю, обладали ли они художественной ценностью, но помню то чувство праздника, приобщения к иному, зовущему, загадочному миру, которое охватывало меня, когда я, босоножий, забегал в чужие богатые парадные и смотрел на нарисованных людей и птиц, живущих незнакомой, может быть, вымышленной жизнью.

Конный кортеж двигался медленно. В толпе зевак виднелся только один городской. Он часто крестился, держа в левой руке фуражку. Буколические, беспечные времена — преступно беспечные, как вскорости выяснилось. Я просунул голову сквозь витую ограду балкона, мне мешал высокий платан. Царя я не запомнил, хотя мне на него указывали, — вот он, на лошади, но другие военные тоже сидели верхом, а кто из них царь?

Моя двоюродная сестра Дора, которая была на шесть лет старше меня, рассказывала, что она видела, на той же Пушкинской, не только царя, но и наследника, когда они приехали в Одессу в связи с 300-летием дома Романовых. Это было в год моего рождения. Сестру поразило, что наследника почему-то нес на руках огромный матрос. Наследник был в военной форме.

Этот рассказ так глубоко врезался мне в память, что я постепенно привык к мысли, будто я сам, собственными глазами, видел наследника. Он стал мне казаться существом сказочным, но близким, ведь он тоже был мальчиком, как и я. Мальчик, а одет, как офицер. И еще то необыкновенно, что его нес



на руках матрос. Наверно, так полагается? И вот я уже о нем рассказывал другим мальчикам, когда стал учиться в гимназии, рассказывал с подробностями, каждый раз все более уточнявшимися. Фантазерство я унаследовал от матери.

О наследнике я расспрашивал отца. «Несчастный ребенок», — пожалел его папа, глядя на меня печальными синими глазами. Я не забыл эти слова. Повторяю, я думал, что так полагается, чтобы матрос нес цесаревича на руках. Когда, по пятницам, я посещал с отцом баню Исаковича, я видел на худом отцовском теле бледно-розовые полосы, которые навсегда остались после ударов казачьих нагаек в 1905 году, и вот бунтовщик пожалел больного царского сына. Ох, недаром Ленин терпеть не мог меньшевиков!

Как давно это было! Мы выписывали «Ниву», некоторые старые номера сохранились в доме и после революции, и я хорошо помню тот фотоснимок, о котором так пронзительно написал Георгий Иванов:

Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно.  
Какие печальные лица  
И как это было давно.  
Какие прекрасные лица.  
И как безнадежно бледны  
Наследник, императрица,  
Четыре великих княжны.

Может быть, в моей памяти остались жить и другие фотоснимки тех в бездну канувших лет, и я соединяю с ними действительно пережитое?

Задумав эти записки, я решил, что буду писать, доверяясь только, по-батюшковски, «памяти сердца», никогда не заглядывая, ни в старые газеты, ни в справочники, даже вот строки Георгия Иванова цитирую по памяти. Пусть страницы записок будут палимпсестом\* моей души, пусть прежние годы сами собой оживут под тем, что начертано годами более поздними.

Мой земляк, который в 1916 году, в день приезда царя, уже заканчивал гимназию, рассказывал мне: царь свернул с Пушкинской на Преображенскую, чтобы помолиться в Соборе. Против Собора выстроилась шеренга любопытствующих гимназистов. Помолившись, царь вышел, закурил, но быстро бросил папиросу на мостовую. Между ним и гимназистами — никакой охраны. Из шеренги выбежал мой земляк и поднял окурок. Папироса была не фабричная, на гильзе виднелся золотой ободок...

\*Палимпсест — текст на пергаменте поверх старой, специально стертой надписи.

# Пушкинская улица

При Деникине мне удалось поступить в старший preparatory класс пятой гимназии. Я выдержал экзамены на все пятерки — иначе я вряд ли попал бы в гимназию. Готовил меня мой дядя Абрам, занимавшийся репетиторством, он давно окончил частную гимназию, но в университет поступил тогда же, когда я в гимназию, ему было далеко за тридцать. Осенью 1941 года его убили немцы где-то под Новороссийском. Как репетитор, он пользовался уважением, недурно зарабатывал. Я ему обязан еще и тем, что он научил меня основам русской версификации, и я уже в детстве мог отличить не только ямб от хорея, но и амфибрахий от анапеста и дактиля.

Гимназия помещалась далеко от нашего дома, в полчасе ходьбы, и по той же Пушкинской улице я шел вплоть до Новорыбной, в конце которой, около Земской, поближе к морю, виднелось справа до сих пор меня волнующее многоэтажное, серое здание. Пятую гимназию, с присущей ему художественной точностью, описал Валентин Катаев, там преподавал его отец, там он и сам учился, — конечно, задолго до меня. Среди моих друзей есть такие, которые считают меня образованным человеком, это ошибка, просто все одичали. Однако должен сказать, что если я что-нибудь знаю, то это благодаря тому, что я проучился полтора года в гимназии, а когда пришли и прочно утвердились большевики, то в новой советской школе остались прежние учителя, мы еще долго учились по старым учебникам, даже латынь у нас ликвидировали не сразу, а лишь тогда, когда от голода умер преподаватель.

Я любил свою гимназию, любил метлахские плитки длинного зала, высокие окна в сад, высокие классы, до которых доходил шум поездов, — вокзал был близко, любил учителя словесности Петра Ивановича Подлипского, стройного, седого, но еще не старого статского советника с орденом на сюртуке, — говорили: Станислава второй степени. Зажмурив глаза, он читал нам Полонского — помню его молодой, высокий голос — «Думы с ветром носятся, ветру не догнать». Он преподавал и в советское время, и отмечал меня из гущи учеников, потому что я с чувством и разумением декламировал на уроках стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Никитина.

Еще я любил подниматься в гимназии на второй и третий этажи, где учились старшеклассники, уже разделенные политическими убеждениями, и на самый последний, четвертый этаж, — его занимала церковь св.Алексея: так, сказали мне, она была названа в честь покровителя наследника. По большим праздникам там молились и жители соседних домов.

Я забыл, как она была устроена, помню только странное для

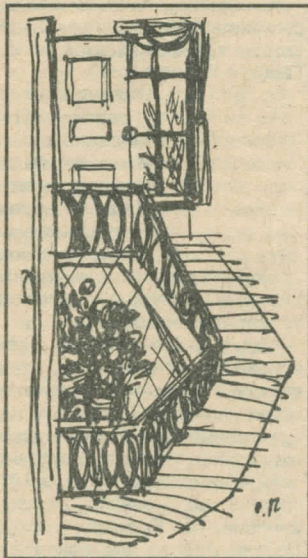
мальчика, выросшего в многонациональном городе торговли, мореплавания и ремесел, чувство благоговения и неосознанного умирления, которое нежно овладевало мной в гимназической церкви. Точно такое же чувство, всегда свежее, я испытывал потом в других церквях — и в соборе (он уничтожен) на Преображенской рядом с домом Попудова, и в костеле на Екатерининской, с его яркостью и живой наглядностью изваяний, и на той же Екатерининской в греческой церкви с витражами на евангельские темы, и в католическом храме св. Петра на Гаванной, который, направляясь по спуску к морю, посещали француженки-модистки и пузатые виноделы и кондитеры, и в кирке на Новосельской, в которую важно, с сознанием своего превосходства богатых, небожников крестьян, вступали целыми семьями окрестные лютеране, а в более поздние годы — в калмыцком хуруле, где старенький, изнутри сияющий отрешенной добротой гелюнг подарил мне маленького Будду-Майтрею, чтобы мне была помощь в работе над переводом священного эпоса, и в мечетях Самарканда и Бухары, и в бурятском дацане, и наконец — в индуистских храмах в Дели, Мадрасе, Калькутте. Бог в этих храмах был тот же, что и в синагоге, тот же, что и во мне, но в синагоге я жил дома, а в тех храмах я был в гостях у приветливых, благочестивых хозяев.

Кроме преподавателя русского языка моим покровителем в гимназии был батюшка Василий Кириллович Флора, по происхождению молдаванин. Я посещал его уроки Закона Божьего, хотя был от них освобожден. Ему была по душе моя детская религиозность. Я продолжал с ним дружить, когда стал московским студентом, и по-прежнему, как в детстве, бывал у него в доме на улице Петра Великого, недалеко от кирки и консерватории. Был он небольшого роста, худенький, всегда улыбающийся, на морщинистом личике жгуче выделялись выпуклые цыганские глаза, волосы у него были длинные, но редкие. В конце первой мировой войны рядом с его квартирой во флигеле в глубине двора поселилась семья евреев-беженцев из Галиции, там был мальчик по имени Цаля, который через чердак забирался на крышу основного дома и плясал на самом краю ее, к ужасу прохожих. Василий Кириллович бранил его басурманом. Когда, при петлюровцах, в городе ожидали погрома, Василий Кириллович прятал Цалю у себя, Цаля этого не забыл и, когда вырос, приносил дошедшему до полунищеты Василию Кирилловичу деньги под православные праздники, а то приводил живого индюка: отец Цали при нэпе разбогател.

Будучи московским студентом, я в пору каникул снабжал Василия Кирилловича книгами, которыми тогда увлекался: изданными до революции сочинениями Хомякова, Данилевского, Бердяева, Булгакова, Мережковского, Гершензона. Батюшка внимательно их читал, делая выписки, ему кое-что нравилось, но суждения его были скорее отрицательными: «Все хотят обосновать, у протестантов научились, головой веруют, а не сердцем. Вот Хомяков верует сердцем, на других не похож».

Приехав в 1933 году на каникулы, я, как всегда, пришел навестить его, но в квартире жили уже другие люди, Василия Кирилловича отправили, как мне сказал Цаля, учившийся в мореходке, на Соловки, там он и погиб. Не знаю, что стало с матушкой и тремя их рослыми, в мать, длинноносими дочерьми, они вынуждены были переселиться на окраину города, в самый конец Градоначальнической, Цаля их перевозил, дал мне их адрес, но я поленился к ним пойти, объясняя самому себе это тем, что я мало с ними общался. Мой грех...

Моим гонителем в гимназии был преподаватель истории Игнатий Кузьмич Лысяк, несмотря на то, что я увлекался его предметом, старательно учился (я хорошо учился в средней школе и посредственно в высшей). Игнатий Кузьмич зло, во время занятий, смеялся над тем, что я, посещая уроки Василия Кирилловича, одновременно, после гимназии, хожу в хедер, — не знаю, как дошли до него эти верные сведения. Не думаю, что



я был очень наблюдательным мальчиком, но я заметил, что, когда в городе властвовали французы, немцы (австрийцы) или — недолго — большевики, Игнатий Кузьмич ко мне не придирался, но стоило город занять добровольцам или одной из украинских банд, как житья мне от него не было. Однажды мы разбирали «Песнь о вещем Олеге» с точки зрения исторической науки. Мы изучали историю по учебнику Иловайского, того самого, на дочери которого был женат первым браком отец Марины Цветаевой... Учебник начинался словами: «Наши предки славяне...», а в классе, наряду с украинцами, русскими, поляками, сидели сыновья армян, греков, немцев, караимов и два еврея — я и Дуська Гренадер, впоследствии майор НКВД по строительной части.

На первый вопрос Игнатия Кузьмича — кто был Олег, почему у него неславянское имя, в чем состояла его деятельность — четко, подробно ответил первый ученик наш, девятилетний Эдуард Тертеров, сын богача, которому принадлежало несколько мастерских по изготовлению сандалий. Потом Игнатий Кузьмич, пододвинув верхней губой густые усы к изогнутому гоголевскому носу, как будто в рот ему попала какая-то кака, вызвал меня:

— Не пытаетесь ли вы нам объяснить, почему Пушкин называл хазар неразумными?

Я не ограничивался Иловайским, жадно читал подаренные мне старшеклассниками книги по истории древних и средних веков, хазары будоражили мое воображение, так как были единственным послебиблейским народом, принявшим иудейство, я сумел ответить на вопрос так, что меня без скуки слушал весь класс. Но Игнатия Кузьмича я раздражал своим существованием, это было ясно всем. Он задал новый вопрос:

— Может быть, вам известно название столицы хазарского царства и где она была расположена?

Класс затаил дыхание. В учебнике об этом не было ни слова. Я не смутился:

— Столицей хазарского царства был город Итиль. И Волгу хазары называли Итилем. Город помещался между нынешними Астраханью и Саратовом.

— Хорошо вызубрили. А на каком языке разговаривали хазары?

Тут-то он меня поймал. Ответить «на хазарском» было опасно, я, девятилетний, угадал ловушку — и признался:

— Не знаю.

— Плохо в хедере вас учат, — с удовольствием сделал вывод Игнатий Кузьмич и, так и не сообщив, на каком языке говорили хазары, выставил мне четверку с минусом. Но перед рождественскими каникулами он все же вывел мне пятерку, я потом узнал, что на этом настоял Василий Кириллович, он пристыдил историка, и тот покорился батюшке.

Я не случайно написал, что хорошо помню синагогу на Пушкинской в глубине обшарпанного двора. Синагог было много, все не упомянешь, да еще такую невзрачную, но дело в том, что под нею помещался мой хедер.

Улица была названа Пушкинской потому, что Пушкин на ней жил, недалеко от моря, от молодого порта, по которому властно расхаживал бывший корсар Марали и куда, то-то радостно, на южных кораблях прибывали устрицы. Пушкин жил недалеко от знаменитой ныне Дерибасовской, да, в сущности, и от Садовой, от Ришельевского лицея, где впоследствии учился его младший брат Лев. Дом, в котором жил Пушкин, сохранился, правда, перестроенный еще в конце прошлого века, здесь долгое время действовала филия украинского союза писателей. Пушкин, надо думать, прогуливался по улице, но вряд ли доходил до моего заветного квартала, а тем более дальше, до того дома, где в мое время были бедные синагога и хедер, хотя и этот дом весьма старый, середины девятнадцатого столетия.

Я полагаю, что в те годы город обрывался близко от того места, где жил Пушкин, а дальше простиралась то многозеленая, то выгоревшая голая степь.

Ворота двора, который я собираюсь описать, пусть бегло, были низенькие, улица опускалась к ним примерно на пол-аршина. Двухэтажное приземистое здание, выходящее на улицу, казалось сугубо городским по сравнению с широким двором, чья пыльная земля по-деревенски обнажалась, кое-где прикрыв наготу бульжником, а флигелки вокруг бы-



ли, в сущности, сдвоенными или строенными мазанками. Против ворот было другое двухэтажное здание, без входов, без окон, только арка была прорублена в стене, через арку проходили на черный двор, в конце его соседствовали сортир и темный подвал с мусорным ящиком. Слева и справа от арки, со стороны черного двора, избегали на второй этаж узкие деревянные лестницы в синагогу — одна в помещение для мужчин, другая — в отгороженную часть для женщин. Перед входом в помещение для мужчин имелся так называемый пулэш — вестибюль, что ли, в углу его стояли длинная жесткая метла и ведро, орудия производства Тевеля Винокура, шамеса (служки) синагоги. Он-то и был нашим меламедом (учителем). Его жилье находилось под лестницей и состояло из очень большой, полутемной кухни, служившей одновременно и столовой и спальней для двоих, кажется, детей, и светлой, продолговатой комнаты со скошенным потолком. Она-то и была нашим хедером. Комната замыкалась низенькой нишей, в которой едва умещалась двуспальная деревянная кровать с множеством подушек — видно, на всю семью, — а посередине комнаты, почти во всю ее длину, простирался стол без скатерти, за которым, склонив головы, сидели ученики — курчавые, стриженные, черные, рыжие — и читали книги справа налево и лишь изредка поглядывали на стены, на портреты раввинов-богословов, длиннобородых, в лисьих шапках, и только баронет Мозес Монтефиоре, знаменитый филантроп, красовался хотя и в ермолке, но в европейском белом жабо.

Мой отец был против того, чтобы я учился в хедере. Он не верил в Бога. Сам сын меламеда, прекрасно знавший древнееврейский, он ненавидел иудаистскую схоластику. Он уважал и ценил только русскую образованность. Я не могу объяснить свою раннюю упрямую религиозность. Отец был вынужден уступить моему желанию учиться в хедере. К тому же я завоевал его горделивое расположение, став гимназистом: я был во всем Овчинниковском переулке единственным еврейским мальчиком-гимназистом.

Хедер содержался за средства погребального братства, но Тевель Винокур получал от родителей добавочную плату за обучение детей. Был он высок, рыж, тощ, глаза его постоянно слезились, прикрываясь длиннейшими ресницами, бородавка редкая, жалкая. Не по-одесски набожный, он говорил: «Одесса — город грешников, вокруг нее на семь миль пылает ад». Он обходил стол, проверял, читают ли ученики древние слова, за спиной держал в руке ремешок, «кантик», но никого ни разу не ударил, разве что, рассердившись на шалуна или на нерадивого, бил по спинкам нескольких стульев — большинство учени-

# Пушкинская улица

ков сидело на табуретках. Вопросы задавал на идиш или же, детям из интеллигентных семей, двум или трем, на загадочной смеси польского, украинского и одесско-русского. За столом сидели ученики разных возрастов, от семилетних до тринадцатилетних, одновременно изучали кто букварь, кто Пятикнижие, кто последующие разделы Библии. Никакой методологии не было, нужна была память, и память нешуточная, иные ученики, достигшие тринадцати лет, возраста зрелости, застревали на азбуке, но зато из тех, кто учился успешно, порой вырабатывались личности незаурядные.

Я уже дошел до Пятикнижия, когда в Одессу вступили большевики, на этот раз окончательно. Начался голод, деньги потеряли стоимость, надо было платить Тевелю Винокуру продуктами, а мы сами голодали, и так окончилось мое учение в хедере, и я забыл святой язык, хотя еще после хедера в течение нескольких лет нараспев читал Пятикнижие и даже одолел, хотя и с трудом, «Сказание о погроме» Бялика.

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Заветы), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашёл то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина? И чем больше другие книги приближаются к этим трем, тем ближе они к моим представлениям о Красоте-Истине. Гомер и Пушкин кажутся мне такими же пророками, как и библейские. Мы ничего не знаем о Гомере и, в сущности, очень мало о Пушкине, о его внутренней жизни. Чем больше накапливается фактов его внешней жизнедеятельности, тем меньше он становится нам понятен. То, что Гомер был слепым, не есть характерная подробность: у многих народов сказители считают слепыми — тем самым подчеркивается их внутреннее, боговдохновенное зрение. Зная теперь жизнь Пушкина чуть ли не день за днем, можем ли мы его назвать пророком? А почему же нет? Что нам известно о тех годах, когда Исайе и Иеремии еще не исполнилось сорока? Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин — русский пророк Его, и Пушкинская улица — моя на всем моем земном пути...

Было мне четырнадцать лет, когда я начал посещать литературный кружок учащихся Художественной профшколы. В Одессе тогда существовал такой порядок: средние школы были семиклассные, желающим продолжать учение предоставлялась возможность, если они не были детьми лишенцев, поступать в двухгодичные профшколы. Имелись химпрофшколы, металлпрофшколы, электропрофшколы, мукомольные, торгово-промышленная, в которую почему-то устремлялись будущие гуманитарии. Художественная профшкола занимала часть помещения нашей пятой гимназии, ставшей обычной семилетней советской школой. Общие предметы преподавали у юных художников те же учителя, что и у нас, вот почему, не блистая способностями к рисованию и с младых ногтей склонный к консерватизму, я, окончив семилетку, поступил в Художественную профшколу, где все мне было знакомо и мило — и классы, и учителя, и чудесный двор, где ранней весной начинала зеленеть меж камешками пахучая киммерийская наша трава, а за забором слышались звонки трамва-

ев, направлявшихся к морю — на Большой Фонтан, в Аркадию. В новой школе я узнал и новых учителей — руководителей мастерских: живописной, живописно-прикладной, архитектурной и скульптурной.

Во главе живописной, где увлекались чистым искусством, т.е. станковой живописью, стоял художник Михаил Константинович Гершенфельд, человек колоритный. У него была кокетливая походка: вилял бедрами. До революции он прожил несколько лет в Париже, один раз выставлялся вместе с Матиссом (у него дома я видел каталог вернисажа), печатал статьи в «Аполлоне». Я их прочел в нашей Публичной библиотеке, когда узнал, после встречи с Багрицким, что собой представляет «Аполлон»: то были крошечные корреспонденции о событиях художественной и театральной жизни в Одессе. В одной из комнат в Доме Ученых на Елизаветинской, где происходили заседания Южно-Русского Общества Писателей, которые, заканчивая школу, я начал посещать, висела картина Гершенфельда — городской пейзаж, написанный в пуантелистской манере. Михаил Константинович читал для учащихся всех мастерских курс истории искусств, начиная его так: «Уже на заре человеческого существования нас восхищают рисунки на кости мамонта». Старшеклассники говорили, что каждый год он произносит одно и то же, заучив свой текст.

Мне это не мешало. Я с благодарностью вспоминаю его лекции. Может быть, они были невысокого качества, но душа мальчика с жарким восторгом узнавала о том, как человек с помощью кисти, резца и чертежных принадлежностей уподобился Богу не только обликом своим, но и способностью творить живое, — начиная от человека первобытного до ассирийцев, египтян, греков и римлян, от Леонардо и Микеланджело вплоть до французских импрессионистов и отечественных «мирискутников».

В мастерской Гершенфельда занимались только редкие фанатики живописи. Остальные ученики над ним посмеивались, прозвали «французом». Их сместило его виляние бедрами, раздражала его повседневная высокопарность. Он казался им человеком вчерашнего дня. Уже будучи взрослым, я познакомился с двумя славными одеситами, оба — профессора, один — медик, другой — историк. Они были ровесниками Гершенфельда, и на мой вопрос, знали ли они его, ответили одинаково: пустой, манерный, а художник никакой. Может быть, так оно и было, если учесть единодушное мнение старых ученых и подростков-учеников. Но хорошо сказал один восточный краснобай: в пещере невежества радуйся и слабому светильнику. Я обязан Михаилу Константиновичу умением любить живопись и даже немного знать ее, а начало любви всегда прекрасно, всегда памятно.

Противоположностью Гершенфельду был руководитель прикладников Леонид Евсеевич Мучник, красавец мужчина, высокий, широкоплечий, эффектно одевающийся. Увы, он начал полнеть. Он участвовал в первой мировой войне, был гусаром. Подумать только, еврей — гусар! В одесском музее живописи висит его картина «Подвоз провианта к броненосцу «Потемкин». Глядя на нее, вспоминаешь выражение Пушкина о сонной кисти художника-варвара. Ученики им восхищались, в особенности ученицы. Стоило ему подсесть, чтобы подправить рисунок, как какой-нибудь хорошенькой, рано развившейся, как он начинал тяжело (ученицы говорили: страстно) дышать. Наверно, он был ловким рисовальщиком, но его темперамент не нашел своего выражения в искусстве.

Он был добрый малый. Ко мне он относился хорошо, смотрел сквозь пальцы на то (он это знал), что рисовать обложки, бордюры, обои и прочее мне помогали мои гораздо более способные соученики. С его помощью, окончив школу, я получил аттестат 13-го разряда, а самый высокий был 14-й. Он благоволил ко мне потому, что я писал и даже начал публиковать в



местной печати стихи: а вдруг из меня получится нечто не совсем серое? Ремесленник, а не художник, он презирал низменное, преклонялся перед возвышенным, нежитейским.

Мастерские Гершенфельда и Мучника, с большими окнами, выходящими во двор, отделялись друг от друга тоненькой, не достигавшей потолка, перегородкой. Нам было слышно все, что творится у Гершенфельда, было слышно, как ораторствовал, можно сказать, витийствовал «француз», красноречиво произнося неизвестные имена вроде Пикассо, Леже, Марке, Штук, а иногда совсем загадочное — Аполлинер. Что это — производное от Аполлона? Прикладники громко, с непонятной злостью его передразнивали. «Замолчите», — приказывал им Леонид Евсеевич, но подмастерья чувствовали, что мастер на их стороне.

Из-за перегородки огрызались, и грубее, повелительнее всех — Шура, молившийся на своего Михаила Константиновича. Шура был сыном кузнеца, работавшего на судоремонтном заводе имени Андре Марти. Он был старше меня года на три, самый сильный мальчик у нас в классе, не раз меня выручавший во время школьных побоищ. Он мало читал, отставал по всем предметам (кроме рисования), но в нем жила та особенная и бесплодная одержимость искусством, которая свойственна цельным, ограниченным натурам. Как оказалось, одержимость еще не есть талант. Шура в Москве стал профессиональным живописцем, членом МОСХа, регулярно выставлялся, но не стал художником. В школе нас сблизило то, что мы оба приходили к Михаилу Константиновичу домой. Шура — как его любимый ученик и опора, я — ради бесед об искусстве, о французской поэзии. Я немного понимал по-французски (научил отец), а Михаил Константинович с неподдельной очарованностью читал нам Верлена и «парнасцев» — от него я услышал это слово...

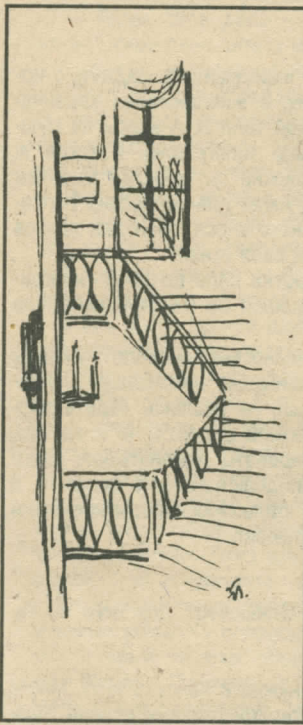
**В** школе я подружился, помимо Шуры, еще с Филей, который, хотя и жил в кварталах бедноты, на Молдаванке, был сыном владельца небольшого завода по изготовлению кафельных печей. Сблизились мы, посещая литературный кружок. Однажды Филя прочел на кружке стихотворение, которое поразило всех тщательностью отделки, правда, старомодной. Увы, скоро выяснилось, что это стихотворение принадлежит Огюсту Барбье, русский перевод Филя переписал из календаря. О происшествии заговорила вся школа. Филя затрясся в страхе. Решено было устроить показательный суд.

У Филя была школьная любовь — красивая шестнадцатилетняя Женья Тарасенко, младшая сестра жены Ильфа, тогда еще безвестного. Она склонялась было к высокому, сильному парню из народа Шуру, но однажды, когда мы вместе возвращались из школы, неся в руках этюдники и чертежные доски — свои и девушек, — Женья, указывая на Шуру, сказала: «Вот моя симпатия». Шура ответил: «Уйди, зараза». Он не знал, что означает слово симпатия, думал, что оно оскорбительное. С этого дня положением овладел прихрамывающий, но миловидный и нарядно, в отличие от всех нас, одевающийся Филя. И вот Женья, повелительно улыбаясь огромными надменными глазами, подошла ко мне во время перемены и властно попросила выступить защитником Филя на показательном процессе. Как отказать такой девушке? Я согласился. Да и за товарища следовало заступиться.

В актовом зале собрались даже те ученики, которые никогда не приходили на занятия литературного кружка. Несколько слов о внешности адвоката. Валя Мироненко, нищий обломок малороссийского дворянского рода, которой я незадолго до суда объяснился в любви, сказала, закуривая папиросу (тогда — для школьницы — чарующая экстравагантность): «Сема, но вы же такой маленький!»

Речь я построил так: да, Филя виновен, выдал за свое стихотворение Огюста Барбье. Но разве стихи, печатающиеся в наших газетах, не похожи одно на другое, как рисунки на обоях? Ав-

торы и не замышляют что-либо присваивать друг у друга, они не списывают, Боже сохрани, но, так как они не умеют мыслить, то получается, что все эти многочисленные вирши плетет один человек. Не хотел ли Филя несколько странным, отнюдь не заслуживающим похвалы способом дать урок этим виршеплетам? Не лучше ли явное, но бескорыстное присвоение чужого, чем скрытое, но корыстное? Поблагодарим же нашего товарища за неумелый, может быть, но поучительный урок.



Дело я проиграл с треском. Наш комсомольский вожак Бердичевский — высокий, худой и патлатый, с воспаленными инквизиторскими глазами — несколько раз требовал лишить меня слова, называл меня шутом гороховым. Филе дали строгий выговор и запретили навсегда посещать литературный кружок. Однако же речь моя понравилась большинству собравшихся: я впервые почувствовал слабое, но сладкое дуновение славы. Женья Тарасенко преподнесла мне пышно-махровую центифолию, а преподаватель русского языка Петр Иванович Подлипский и химии — Оганес Александрович Шахдинарьянц (чье имя, отчество и фамилию я себе присвоил, решив выдать себя за армянина, когда в 1942 году на Юге попал в окружение) — смотрели на меня более чем одобрительно: они не столько жалели Филю, сколько ненавидели Бердичевского.

**О** б этом суде заговорили и в соседней (рядом с вокзалом) торгово-промышленной школе, там тоже был литературный кружок, известный среди городских школьников (на его заседаниях иногда выступали профессиональные местные поэты, например: Кирсанов, Бондарин), мы устроили совместное занятие двух наших кружков, я прочел свои стихи, меня похвалили, потому что слышали о моей речи на показательном суде. Успех вскружил мне голову, я решил отнести стихи в главную городскую газету «Одесские известия». Петр Иванович Подлипский одобрил мое решение, выбрал наиболее, по его мнению, подходящие.

И вот я аккуратно переписал мои творения в новенькую тетрадку, на зеленой обложке которой густо чернела голова Троцкого, а под ней изречение: «Грызите молодыми зубами гранит науки», и прямо из школы, никому ничего не говоря, с бьющимся сердцем направился на Пушкинскую улицу, в тот квартал между Троицкой и Еврейской, где, вблизи от дома, в котором я родился, помещались «Одесские известия», а также редакции «Вечерней газеты», комсомольской «Молодой Гвардии», тонкого журнала «Шквал», редактором которого был заезжий человек, подписывающийся восточным псевдонимом «Суфи», впоследствии известный Петр Павленко, а его заместителем, беспартийной рабочей лошадкой, — циничный, образованный, умный, сластолюбивый Станислав Адольфович Радзинский, — отец ныне заметного драматурга.

Все эти редакции переехали сюда сравнительно недавно из старинного — пушкинских времен — дома Вагнера, занимавшего кварталы на Екатерининской и Дерибасовской и два обширных проходных двора которого своей скрытой от иногород-

# Пушкинская улица

них сельской сущностью спорили о нарядными фасадами, с кокетливыми вывесками кондитерских, с живописными корзинами цветочниц, с уличной франтовской толпой. А здесь, на Пушкинской, помещалась раньше только типография, и когда я, бывало, проходил мимо, гутенберговский гул казался мне тем же, что, наверно, мусикийский лад лиры для греческих рапсов, комуз для сказителей киргизского эпоса, вина для поэтов Индии, не декламирующих, а поющих свои стихи.

Я вошел в подъезд. Ворота напротив вели во двор типографии. Слева была парадная. Я поднялся по ее ступенькам на второй этаж.

По коридору с показной озабоченностью сновали мужчины в новомодных роговых очках и женщины, сжимающие накрашенными губами папиросу. Я застыл, не решаясь задать вопрос, — не только вследствие понятной робости, но и потому, что не знал, как вопрос сформулировать. Насвистывая, крутя головой, извивающейся походкой подошел ко мне высокий, с непомерно маленьким личиком и большими растопыренными ушами совсем молодой человек и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Я выпалил: — Где ваш редактор?

— Главный редактор? Товарищ Ольшевцев? Для чего он тебе?

— Я принес ему стихи.

— Лично ему? Нет? Тогда тебе нужно к консультанту. Много должно пройти лет, чтобы тебя с твоими стихами принял главный редактор. Начни с того, что пойдешь по коридору прямо, свернешь налево, потом направо, упруешься в дверь. Можешь ее смело открыть, не постучавшись, там и сидит консультант.

Так же, как и необычное лицо ушастого сотрудника, я навсегда запомнил прокуренные коридоры, завораживающий стук пишущих машинок и ту дверь, которую я открыл без спроса. Я попал в большую, очень большую комнату совершенно без окон. Она мутно освещалась электрической лампочкой. У стен, слева и справа, стояли два длинных конторских стола и два стула. На одном из столов лежал, закрыв глаза, толстый, очень толстый мужчина в сандалиях на босу ногу. Он лежал на спине, держа под головой могучие круглые руки. Напротив двери, через которую я вошел, но несколько наискосок, в самом углу виднелась другая дверь. Из-за нее доносился ровный долгий гул. Я приоткрыл эту дверь — и возникла передо мной типография. Вот она, святая святых! Только отсюда путь ведет к признанию, сочувствию, пониманию, может быть, к славе. Мне хотелось войти в типографию, но я понимал, что этот светлый, многооконный зал, шумный и работающий, запрещен для посторонних. Что делать? Я приблизился к спящему. Давно небритый толстяк с некоторым, однако, сонным любопытством приоткрыл один глаз. Несколько минут он молча озирает меня этим глазом. Я прервал тягостное молчание:

— Гражданин консультант, прочтите мои стихи.

Толстяк открыл и второй глаз, взгляд у него оказался добрым. Сойдя с конторского стола, незнакомец улыбнулся близоруко и сказал, приятно картавя, большой, тучный:

— Какой у тебе гражданин, гы-гы. Так ты пишешь стихи? Для

этого надо много прочесть. Вот я прочел много, гы-гы. Впрочем, раз ты уже дефлорировался, начал писать, так ты меня знаешь. Там (он протянул свою атлетическую руку в сторону типографии) набираются мои стихи. Завтра их прочтет вся Одесса. Я — Давид Бродский. Да, да, ты видишь Давида Бродского, гы-гы. Не ожидал?

— Я не знаю, кто вы такой.

— Что же ты знаешь? Ты ничего не читал, ты ничего не знаешь. «Век был двух лет, когда я родился». Это строка Виктора Гюго. И когда я родился, век тоже был двух лет: 1902-й год. Случайность? Совпадение? В поэзии не бывает случайностей. Только поняв это, получаешь право приступить к писанию. Сейчас придет товарищ, которому поручено читать самотек. Черная работа, она не для Давида Бродского, гы-гы. Вот ему ты покажешь свои стихи. Он романтик, а я реалист. Понимаешь разницу?

— Что значит самотек?

— Я же говорю, что ты ничего не знаешь. «Сошли грибы, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной». Это Бунин. Я пишу так же, но новее, нервнее. Ты, конечно, не знаешь имени Рембо.

Я ничего не знал. Я не знал, что Давид Бродский станет моим товарищем, что мы будем с ним вместе жить в комнате под Москвой, в Кунцево, что он познакомит меня с новой французской поэзией и что мне первому он прочтет свой знаменитый и несовершенный перевод «Пьяного корабля» Рембо.

Он закурил и, явно не затягиваясь, направился в типографию, скрылся за дверью. Я остался один в этой странной комнате без окон, на таинственном, незримом, заминированном опасностями рубеже, между редакционными разговорами в папиросном дыму и типографскими станками.

И вот появилось новое лицо. Это было необыкновенное лицо! Артист? Художник? Серо-голубые глаза, вдохновенные и насмешливые, птичий нос, спутанные седеющие волосы. Он был высокого роста, слегка сутулился, одетый во что-то летнее, мятое, кажется, в парусиновые брюки и рубашку. Округлые, женственные плечи. Я подумал про него: одновременно Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак.

Из типографии вышел Давид Бродский.

— Давид, здравствуйте, — сказал вновь пришедший. — На страже, как всегда? — И обратился ко мне, как будто давно меня знал: — У него стишки набраны, так он боится, что в последнюю минуту их выбросят, вот и стережет. Да не волнуйтесь, Дуся, все будет в порядке. Наверное, опять о железной дороге, о бабах, торгующих морошкой на станции. Угадал?

Говорил он певуче, но не так, как у нас на юге, а артистично, распорхаясь языком нежно, звонко, глубоко, по-хозяйски. Голос у него был немного хриплый. Видимо, вспомнив, что видит меня впервые, спросил:

— Конечно, молодой человек, вы принесли стихи?

Я понял, что это и есть консультант, и вручил ему свою зеленую тетрадку.

Он сел за стол, скрипуче дыша. Хотя волосы его, как я уже заметил, начинали седеть, видно было, что ему лет тридцать, не больше. Почему же он так трудно дышит? Я тогда не знал, что у него мучительная астма.

Продолжая громко и трудно дышать, он довольно быстро перелистал тетрадку и вдруг вонзил в меня птичий недвижный взгляд:

— Вы тут заявляете: «Лишь в движенье мы жизнь постигаем и преобразуемся в нем». Исполганили Гумилева, обокрали его: «Ах, в одном божественном движенье // Косным нам дано преобратье».

— Я поэт Могилова никогда не читал.

— Могилова? Ой, поцайло! Вы вообще каких-нибудь поэтов читали?

Я обиделся: — Я читал всех известных русских поэтов.

— Врете. Кого же именно?

Стыдиться мне было нечего. Уверенный в себе, я начал перечислять.

— Кто из них вам нравится больше других?

— Пушкин и Никитин.

— Никитин? Почему Никитин? Ей-Богу, это уже неплохо. Более поздних, современных, вы знаете?

— Читал в газетах. Запомнил Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого.

— Вот как, запомнили? Кто из них лучше?

— Кажется, лучше Багрицкий. Он очень красиво пишет про море. Не сравнить с Пушкиным и Языковым, но красиво. Зато Демьян Бедный пишет смешнее.

— Да, смешнее... Между прочим, Эдуард Багрицкий буду я.

Окончив Художественную профшколу, я не поступил сразу в высшую. Причин было несколько. Прежде всего, в Одессе к тому времени ликвидировали нашу гордость — Новороссийский университет, на его месте учредили Инархоз — институт народного хозяйства, для меня отнюдь не привлекательный. Мало того, в институт принимали в первую очередь рабочих крупных фабрик и заводов, а также «незамужников» — сельскую бедноту, затем рабочих мелких предприятий, кустарных мастерских, затем — детей лиц перенесенных категорий. У последних было весьма немного шансов попасть в высшее учебное заведение, еще меньше — у совслужащих, людей свободных профессий и их детей. Но самое главное — мне хотелось уехать в Москву, учиться по-русски, а наш Инархоз был украинизирован. Я любил и люблю украинский язык, но родной, единственный для меня — русский.



Я принадлежал к третьей категории граждан, так как мой отец работал закройщиком на небольшой швейной фабрике имени Леккерта, которая помещалась в одном из примечательных зданий — в старинном полукруглом доме на Греческой площади. Чтобы улучшить мое социальное положение в преддверии студенческой карьеры, дать мне возможность перейти во вторую категорию, стать членом профсоюза, отец договорился со скорняком Шварцманом, и тот принял меня в ученики.

Скорняжное мастерство мне не удавалось. Шварцман для начала поручил мне вымочить шкурку каракуля и прибить к доске будущий воротник. Я поранил себе пальцы, гвоздики у меня ломались, шкурка, в особенности лапки, дырявилась.

Шварцман в околоте слыл богатым человеком, но одевался с нарочитой, вызывающей бедностью, зимой — в одну из предназначенных на продажу хорьковых шуб без верха, летом — в нечто засаленное и рваное, бывшее когда-то меховым жилетом. Делал он это не из скупости, он не был Плюшкиным, и не из страха перед фининспектором, — в той декларации, которую он подавал ежегодно, он указывал сумму своих немалых доходов цифрой, близкой к истине, — он был полон древней тоски и наступательного безразличия к жизни, к ее радостям. Семья его обитала напротив мастерской, в многокомнатной квартире,

на той квартире он только ночевал, обеда ему не приносили, он питался всухомятку, чаще всего кефиром с бубликом и выпивал целый самовар чаю с крохотным, крепким кусочком, отколотым от сахарной головы. Глаза у него всегда были красные. Однажды, когда я ставил самовар в каморке за магазином, я услышал, как он всхлипывает. Говорили, что его семейная жизнь сложилась неудачно. Еще говорили, что он выдумщик, соседи называли его «враль Шварцман». Убедившись, что я плохо приспособлен к скорняжной работе, он посмотрел на меня слезящимися красными глазами и сказал:

— Разве твое дело — каракуль? Или белка? Или выдра-котик? Твое дело читать мне газету, но с объяснениями.

Был тот знаменательный, нынешним поколениям непонятный год, когда в «Правде» регулярно печатались дискуссионные листки. Представители оппозиции, все, кроме Троцкого, свободно высказывались, чаще других — Бухарин, Рыков, Каменев, Зиновьев, и что-то кричал с места некто Мойсеенко. Так и запомнились жирным шрифтом слова: «Мойсеенко с места». А в «Крокодиле» была помещена карикатура на главу правительства: Рыков, растопырив огромное, больше всего лица, ухо, прислушивается на Сухаревском рынке к злобной клевете частных торговки. Афины, Аркадия, да и только!

И вот в мастерской Шварцмана в те летние дни, когда меховая коммерция замирает, стали собираться меховщики, чьи заведения помещались поблизости, между Покровской церковью и Ришельевской. Они слушали мое чтение, нервно, нетерпеливо требовали от меня комментариев, я их давал, как умел, искал доступную форму, чтобы все меня понимали. Честно говоря, самую суть они понимали лучше меня, препятствием для них была словесная оболочка. На вопрос моего отца, каковы мои успехи в скорняжном ремесле, Шварцман ответил: «Я мальчиком доволен». Отец ему не поверил — Шварцману мало кто верил, — но успокоился.

Во время чтения дискуссионных листков самые трудные — и самые умные — вопросы задавал мне мастер, непомерно тучный, старый, но еще чернокудрявый, носивший меховую фамилию Корсак. Однажды, когда чтение закончилось, Корсак, тяжело пыхтя и отдуваясь, сказал:

— Надо закрывать дело и поступать в артель. Эти воры жить нам не дадут.

К удивлению соседей, он быстро, задешево распродал все шубы, шкурки, готовые воротники, горжетки, палантины, добровольно отдал помещение своего магазина (теперь там нотариальная контора) в распоряжение коммунотдела и стал рядовым членом артели. Через год, когда наступил великий перелом и у других меховщиков отобрали все нажитое долгим, умелым трудом, а некоторых даже посадили и выслали далеко на север, соседи поняли, как толково изучил Корсак дискуссионный листок нашей партии с моими мальчишескими комментариями, как своевременно и удачно сделал правильный вывод.

Получилось так, что и мне пришлось сделать правильный вывод из одного события на идеологическом фронте. Я особенно старательно посещал литературный кружок при газете «Молодая Гвардия», наименее интересный в городе. На то были причины. Связь с газетой давала мне возможность получать время от времени некоторый заработок. Иногда я подменял заболевшую корректоршу, иногда меня, как корреспондента, редакция посылала на село. Заработок мой, хотя и ничтожный, был осущитим в нашей бедной семье — отец работал на пять ртов. Болезнь его ухудшалась, ему недолго оставалось жить.

Из моих кратких сельских командировок мне особенно запомнилась одна. Речь шла об убийстве селькора. Деревня была необычная: население ее составляли одни болгары. Во многих хатах, наряду с портретами родственников, висели портреты болгарского революционера Благова и Тургенева,

# Пушкинская улица

— последнего чтили, как создателя образа Инсарова. Было нетрудно выяснить, что селькора убил односельчанин не по политическим мотивам, как трубили газеты, а из ревности. Мою заметку, где характер преступления был изложен в соответствии с действительностью, в газете не поместили, поместили другую, сочиненную сотрудником, который из редакции не выезжал, все выдумал так, как ему велели. А что касается болгар, то все они оказались кулаками. Они и вправду, как и соседние немецкие колонисты, жили зажиточней украинцев. У самого неудачливого были две-три коровы и лошадь, а кур и гусей — не счесть. В пору страды они нанимали батраков-украинцев. И вот братушек, поголовно всех, выслали. Это был двойной геноцид — классовый и расовый. Я был в той болгарской деревне в день депортации. Через много лет я написал стихотворение «Лунный свет» — о высылке крестьян. Твардовский, единственный редактор, который иногда печатал тогда мои оригинальные стихотворения, забракковал «Лунный свет», сказав: «Не так и не вам об этом писать». Что не так — допустим. Но почему же не мне? «Вы же об этом не пишете», — кротко заметил я. Но могут ли спорить слова с силой? Оказывается, могут. В моей книге «Кочевой огонь», изданной в США, это стихотворение 1963 года напечатано.

Но в начале 1929 года неприятности у меня произошли с другим стихотворением. Называлось оно просто: «Бог». Только самонадеянный юнец способен был так назвать свое стихотворение. Я его потерял, но в 1980 году, когда, в связи с «Метрополем», вражеские голоса стали изредка упоминать мое имя, одна одесситка, посещавшая, как она мне написала, наш кружок и переселившаяся (может быть, насильственно) в Сибирь, прислала мне, на адрес Союза писателей, из которого я только что вышел, это стихотворение, случайно у нее сохранявшееся на протяжении полувека. Оно оказалось совершенно беспомощным и по мысли, и по исполнению (что одно и то же), рифмы неряшливо-усеченные, но одна строфа мне показалась сносной:

*Вступаем в молельни, читаем молитвы, кадим,  
Но кто объяснит, почему  
Все просим и просим, а дать ничего не хотим  
Творцу своему?*

По дурусти я прочел «Бога» на занятии молодого гвардейского кружка. Это сейчас трудно себе представить: 1929-й, грозно-переломный год, кружок при комсомольской газете — и такое, с позволения сказать, произведение.

Был скандал. Меня вызвала к себе хорошенькая редакторша «Молодой Гвардии» Феня Мальц — одна из тех, которые теперь называются «комсомольцами двадцатых». Я всегда сомневался в их искренности. Возможно, что я ошибаюсь. Феня топа ла ножками в балетках, грозила. На другой день ко мне в Овчинниковский пришел завотделом губкома комсомола по фамилии, как мне кажется, Селиванов. Он говорил со мною дружелюбно, интересовался моими планами, воспитывал:

— Ты учишься у хороших поэтов, у Безыменского. У него не только содержание богато, но и форма исключительная. Например, вслушайся: «А я иду и думаю упорно//О себестоимости советских товаров». Усек? Два раза «иду»: иду и думаю. Назы-

вается аллитерация. Учишься, работай, заходи ко мне в губком, — знаешь, на Греческой.

Заходить не пришлось. Селиванов вскоре арестовали как троцкиста.

Что же касается происшествия с моим стихотворением, то оно, к счастью, растаяло, растворилось в потоке дней. Но тогда началось мое смирение. Не сразу — я еще не сдавался несколько московских лет, — а началось. И не то, совсем не то смирение, к которому нас, гордых, призывал Достоевский, — а постыдное, рабское, не перед Богом смирение, а перед людьми, тоже рабами. Долго же оно длилось...

Через несколько месяцев, в конце августа, мы всей семьей двинулись по Пушкинской улице к вокзалу. ■■■ Миновали здание редакции и дом, в котором я родился, и дом, в котором помещался мой хедер, и Афонское подворье с голубыми, как одесское небо, куполами — чудесную церковь. Она действует и сейчас, мы с Инной Лиснянской посетили ее два года назад, жена поставила три свечечки перед иконой Божьей Матери, мы вышли, чувствуя в сердце свет, из полупустого храма, и я вспомнил, как совсем молодым проезжал мимо этой церкви на извозчике, отец молчал, мама смеялась и плакала.

Я сел в бесплакартный вагон — билет в плакартный был нам не по карману, — поставил чемодан на самую верхнюю полку, боковую, на которой мне предстояло пролежать две ночи. Когда молод, особенно чувствуешь жесткость полки, ничем не покрытой, с годами это проходит.

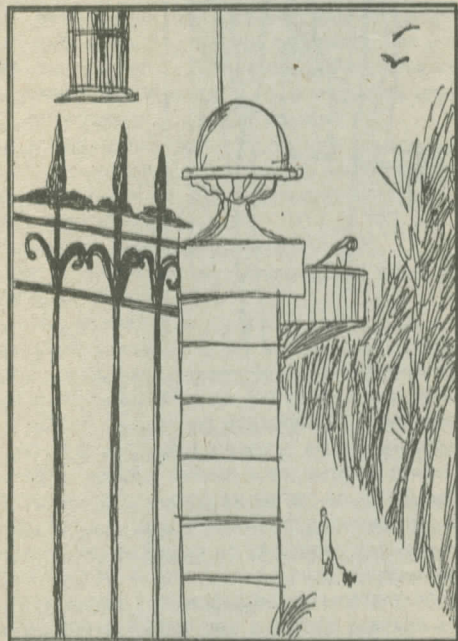
Где будет мое пристанище? Перрон провожал меня своим южным голошением. Эти люди были мне незнакомы, но я их знал всегда, они родились рядом со мною и во мне, и живут и будут жить во мне. Сейчас пространство разлучит меня со здешним временем, с деревьями и зданиями на Пушкинской улице, а и те и другие — нередко одного роста.

Отец был задумчив, мама утирала слезы платочком, младшие сестренка и братик взбирались на подножку вагона и весело прыгали с нее.

Пространство взвизгнуло, позвало свистком, поезд тронулся, я стоял у окна, а мои дорогие еще бежали по перрону, что-то кричали мне, но я их не слышал.

А отцу уже тогда бежать было трудно.

Август 1975 — август 1991



Рисунки  
О.Чернявской

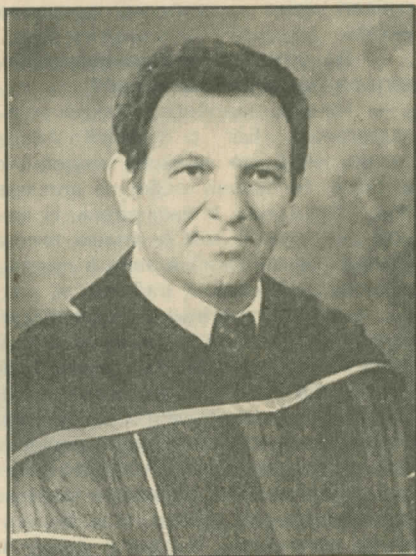
# НУ... ТЫ Ж ВСЕ ПОНИМАЕШЬ!...

**Ч**ерт знает что. Фантастика какая-то! Кажется, еще вчера, в благословенные застойные времена, мы с ним, Эмилем Абрамовым (по паспорту — Дрейцером), вместе настырно таскались по одним и тем же редакциям, где значились отделы сатиры и юмора или хотя бы «уголки юмора наших читателей», с маниакальной настойчивостью предлагали и предлагали свои коротенькие «нетленки», потом долго и часто безуспешно ждали ответа, а пока, не теряя времени, ездили в командировки от «Крокодила» и «Известий», «Труда» и «Литгазеты», пробиваясь привезенными из этих вояжей фельетонами на культурно-хозяйственные темы, которые имели почти стопроцентный шанс появиться на страницах, так как были почему-то редакциям нужны. Мы были одинаково небогаты — гонорар от фельетона 40 рублей плюс 160-рублевая зарплата в НИИ или другой подобной конторе, которую мы, конечно, не бросали. Да, кажется, что это было вчера.

А прошло уже 16 лет... Так вот, в 1971 году в одном из номеров «Крокодила» появился привезенный из очередной командировки фельетон Эмиля Абрамова «Склеротик, закрой ротик!», в котором автор посмел весьма нелестно оценить скверную пьесу известного тогда драматурга, главного редактора журнала «Театр» Лаврентьева. Что тут началось!..

...В итоге — фельетонист и рассказчик Э.Абрамов перестал существовать: его выгнали из своего внештатного актива сразу все издания. Словом, автор сначала исчез со всех страниц и даже из «уголков юмора», а потом — и из страны!..

...И вот я, чудом переживший все эти годы здесь, как-то уцелевший и оставшийся, несмотря ни на что, журналистом, в этом качестве беру уже интервью у того самого Эмиля Абр... ох, извините, у д-ра Эмиля Дрейцера, весьма хорошо «упакованного» американского профессора славистики, защитившего в Калифорнийском университете ди-



SSERTАЦИЮ по теме «Сатира Салтыкова-Щедрина», преподающего русскую литературу в Нью-Йоркском университете, а в свободное от работы время сочиняющего... сатирические рассказы. И Э.Дрейцера ныне охотно публикуют в СССР всевозможные, в том числе и совершенно ранее недоступные прежнему Э.Абрамову, издания и издательства — «Юность» и «Огонек», «Крокодил» и «Неделя», его сборники рассказов готовятся к выпуску в «Московском рабочем» и «Правде»... Интересно у профессора:

— Скажи, Эмиль, а сейчас ты бы уехал отсюда?

— Да... Не знаю, уехал ли бы я сегодня, когда два издательства заключили со мной договоры на сборники рассказов, газеты публикуют меня, ты вот берешь у меня (!) интервью для такого популярного и для меня весьма престижного журнала, то есть я уже не чувствую себя сегодня здесь изгоем, чужим и никому не нужным, а даже наоборот... Ну скажи, разве я мог бы когда-нибудь в самом розовом сне представить себе, что мой полосный рассказ опубликует «Неделя», да еще с портретом, да еще под моей настоящей фамилией?!.. Да меня на порог

бы не пустили с такими амбициями. Нет, не могу я сейчас проникнуться теми своими чувствами, с которыми я уезжал, хотя... меня разрывают противоречивые чувства. С одной стороны, я давно здесь не был, здорово отвык от всего, все уже как бы чужое. С другой — мне здесь очень хорошо оттого, что всюду мне рады. С третьей — я с содроганием наблюдаю, как здесь все ужасно сейчас в бытовом смысле (да и дочь моя все это лично переживает, живя до сих пор в Союзе). С четвертой — как все неправдоподобно изменилось!.. Ну вот вчера звоню одному нашему с тобой общему знакомому, спрашиваю: «Ты давно не видел Гришу Крошина?» А он мне: «Да нет, вчера видел его в Кремле, на сессии...» С ума сойти! Так запросто: в Кремле! Разве я мог 16 лет назад такое даже придумать?! Вы уже, может, привыкли, а для меня это — все еще событие из ряда вон...

— Ну, у тебя-то там это тоже не ахти какое событие.

— Да, но то — в открытом обществе! Там-то это обычное дело. Знаешь, когда я только приехал туда, меня поразило: я, оказывается, могу дозвониться до кого угодно! Хоть до президента. Это же открытое общество, не такое, какой я оставил Россию — кругом секреты, секреты, закрытые города, засекреченные конторы — «почтовые ящики»... Дикость, но мы в этом жили. А сейчас о тебе мне говорят: вчера его в Кремле видел... Сказки!

— И что, на твой взгляд, у нас уже все по-другому?

— Понимаешь... вот что меня поразило. При всех колоссальных изменениях, которые здесь произошли за эти полтора десятка лет, а особенно за последние шесть, написанное мною до отъезда из Союза и тогда не опубликованное сейчас... все опубликовали советские издания! То есть ничего, оказывается, НЕ УСТАРЕЛО. Актуально и сейчас. И не потому, что я такой гениальный провидец, отнюдь: просто потому, что в каких-то вещах НИЧЕГО НЕ

ИЗМЕНИЛОСЬ... Это феномен! ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ!

— А почему ты уехал все-таки? Ну, в самом деле, не из-за той же истории с фельетоном «Склеротик, закрой ротик!»...

— Нет, конечно. Но она, безусловно, свою роль сыграла. Может, оказалась той самой последней каплей, когда я вдруг совершенно ясно осознал: я здесь чужой. Не нужен. И ждать мне нечего. Из-за этого в общем-то абсолютно рядового фельетона, просто потому что я, сам того не ведая, вторгся в такие сферы, которые трогать ни-ни, я был напрочь изгнан из жизни. Кто ж мог предположить, что этого среднего драматурга Лаврентьева опекает... аж сама Екатерина Алексеевна Фурцева?! Механизм сработал, и — все автоматически от меня отвернулось: сначала «Крокодил» (который, по идее, должен был хотя бы попытаться защитить своего автора), потом все остальные...

А я был еще молодым человеком, полным неких радужных мыслей. Думал, что уж здесь-то, в центре, в «Крокодиле» (почти органе самого ЦК КПСС), которого на местах очень боялись, можно печатать почти все... Оказалось: партийная мафия прочно прикрывает своих, стоит насмерть за них, никому не позволяет тронуть свои бастионы и сомнет на этом пути каждого, кто на них посягнет. И главное, фельетон-то в самом журнале был признан совершенно справедливым! Главный редактор тогдашнего «Крокодила» Мануил Семенов сказал мне: «Старик, пьеса Лаврентьева действительно дерьмовая, но... ты ж все понимаешь!»

Это меня преследовало здесь всю жизнь: «Ты хороший парень, мы хотели бы взять тебя в штат, но... ты ж понимаешь...», «Ты, конечно, достоин поступить в наш вуз, но... ты ж понимаешь...» При всем, что со мной происходило, при всех этих обиднейших несправедливостях, которые я терпел и глотал, я еще должен был все это понимать! Особенно часто я понимал, когда меня никуда не брали на работу: знаменитый пятый пункт гласил, что ко всем моим прочим «достоинствам» я еще и еврей... «Старик, ты нам на 100% подходишь, но — ты ж все понимаешь...»

Словом, после того случая с фельетоном все мои иллюзии окончательно развеялись в этой стране. Но главная причина была в другом: мне

всего 35 лет, я полон энергии, но я увидел вдруг, что передо мной — стена. Я понял совершенно отчетливо, что энергия моя и данные мои останутся абсолютно здесь невостребованными, что всю оставшуюся жизнь я буду обязан все «понимать» и буду до конца дней чело- веком второго сорта, с проклятыми своими «достоинствами». И вот этот страх (я жив, но я умираю!) и привел меня к твердому решению уехать.

— Ты уехал с намерением заниматься там журналистикой?

— Ничего подобного! Какой журналистикой, Бог с тобой?! Абсолютно не было никаких подобных мыслей. Я сказал себе: я должен все забыть, чем я был здесь. В самом деле, как я мог о чем-то таком мечтать: английский я знал в пределах средней школы, работал я, как ты знаешь, научным редактором издательства «Недра», кому ж я там с такой профессией был нужен? У меня была мечта: надеюсь, что мое здешнее инженерное образование выветрилось из меня еще не окончательно, я, может быть, когда-то смогу... ремонтировать аппараты газированной воды. Ну, думал я, разберусь же я как-нибудь, в самом деле, в этой немудреной схеме наливания воды в стаканчик.

Не тут-то было: оказалось, что в Америке, где есть все, нету... таких автоматов, чтобы лилась вода в стаканчик! И самих этих стаканчиков. Там при опускании монеты высквакивает... бутылочка! И все. Мечта моя рухнула...

Довольно быстро я нашел в Лос-Анджелесе работу чертежника, столь ненавистную мне во время учебы в институте. Получал 6 долларов в час, на что смог сносно кормить семью — себя и неработающую жену с ребенком.

— Как же ты из чертежников превратился в профессора?

— «Превращение» шло мучительно и не один год. Работая чертежником, я сочинил на русском языке маленькую юмореску (видимо, во мне что-то продолжало зудеть от прежних пристрастий). О том, что, мол, нет мне в Америке счастья. Такого счастья, какое я имел в России: достал в давке пакет молока — счастлив, «оторвал» в очереди модные ботинки — счастлив, что-то дефицитное приобрел у спекулянта — счастлив... А здесь, в Америке, тоска и никакого счастья: ничего не надо доставать, выбивать — пойд

и купи что желаешь... Послал в «Новое русское слово», они довольно быстро напечатали. А через несколько дней позвонил друг, давний американец, тоже выходец из Союза: «Я перевел твою юмореску и послал в «Лос-Анджелес-таймс», ты не против?» А еще через дней десять покупаю эту газету и... моя несчастная юмореска — на английском! В американской газете! Да еще с врезкой об авторе!!! Боже, что было после этого в моей конторе!

А потом меня пригласили учиться в аспирантуру местного университета: один профессор прочел в газете мои рассказы и порекомендовал на кафедру славистики. И вот, без отрыва от основной работы чертежником, я в течение нескольких лет учился — зубрил языки (не только английский, но и французский, и немецкий, и старославянский — иначе не позволят защитить докторскую), писал диссертацию... Все эти муки надо было пройти, но я поставил себе задачу вырваться в жизнь, поэтому отступать было некуда. Я ясно увидел перспективу для реализации себя. То есть возможность добиться того, из-за чего я уехал из Союза. И хотя меня предупреждали, что получить докторскую степень — это еще не все в Америке, еще надо найти себе работу по конкурсу, я не останавливался. А найти работу действительно было нелегко: из 3 тысяч американских университетов только 80 имеют русские кафедры... По окончании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе я прочел в газете объявление о конкурсе на замещение профессорской должности на русской кафедре в одном из университетов Нью-Йорка, тут же послал туда документы, они ответили: «Приезжайте» — и я приехал, поступил туда и теперь живу с женой и двумя детьми в Нью-Йорке.

А я... Читаю лекции студентам по-английски о русской литературе, а прихожу домой — сажусь за компьютер и пишу про свою американскую жизнь русские рассказы. Впрочем, конечно, не только про американскую. Вот, почитай...

\*\*\*

Я с удовольствием прочитал рассказ бывшего советского литератора Эмиля Абрамова, а теперь американского профессора Эмиля ДРЕЙЦЕРА, и надеюсь, что такое же удовольствие он доставит и читателю.

**Беседу вел Григорий КРОШИН.**

# ОСТРОВА

Сейчас я едва помню, когда впервые со мной это произошло: совершенно неожиданно, без всякой с моей стороны провокации, когда меня даже не мучали никакие предчувствия, я провалился в холодную водяную пучину, которая первым же делом накрыла меня, как говорится, с головой и ручками. Первая мысль была одна: «У меня слабые почки». Давным-давно, в ранней юности, доктор сказал мне, что я должен беречься от простуды. Если не уберегусь, предупредил он, сами собой прекратятся мои визиты не только к нему, но и вообще к кому бы то ни было. Да и меня навещать будет равным счетом никому...

Ухнув в холодную бездонную глубину и преодолев первую паническую мысль, что пропадаю почему зря, я начал отчаянно махать руками и ногами. Казалось бы, следуя наставлениям для утопающих — кто-кто, а я, выросший у моря, знал их назубок, — я должен был бы сразу наладить дыхание. При первом же выныривании по счету «раз» втянуть воздух, по счету «восемь» выдохнуть. И делать это носом, а не ртом. Черта с два! Как только мне удавалось достичь поверхности, я тут же начинал хватать воздух ртом, как можно шире его разевавая — ни дать ни взять еще пахнущий водорослями пятнистый черноморский бычок в плетеной корзинке удачливого юного рыбака.

Прошло немало времени, пока, чувствуя, как от резких глотков начинает остро покалывать в горле, как будто в него накололи безопасных лезвий фирмы «Жиллет», я, барахтаясь, сумел наладить координацию движений. Пиджак, однако, упорно тянул меня вниз, брюки не давали как следует отталкивать от себя водяную толщу. «Надолго ли меня хватит?» — мелькнула простая мысль. Я подумал, что вот-вот, наглотавшись горькой и тошнотворной жидкости, пойду ко дну. Ничего особенно, конечно, не произойдет. Земная ось, может быть, и скрипит время от времени, но не по такому несущественному поводу. По-настоящему, подумал я, грустить будут обо мне два-три близких человека, а потом, уносясь дальше во времени жизни, как полагаются, забудут и они.

Я подумал о том, что погибаю, так по сути не успев ничего путного сделать. Да и то небольшое, что сделал, едва ли доведено до конца. Изчезну вот в морской пучине, и останутся после меня какие-то записочки, счета за телефон, газетные вырезки, обесцвеченные временем фотографии. Затиснутся между книжек, свернутся в кульки, превратятся в обыкновенный сор. Все то, что было некогда мной, расплещется тонкой, быстро сосяхающей не лужицей даже, а пленкой. Быть может, задержатся на поколение-другое разрез и форма глаз у дочери, характерное растягивание лицевых мускулов, в просторечии зовущееся улыбкой, — у сына. Словечко-другое, по наитию пришедшее, быть может, запомнится случайному попутчику, с которым провел несколько часов в поезде Москва — Батуми, будучи в ударе, против обыкновения, в мужской компании, а не как обычно, в женской.

Но такие мысли пронеслись во мне только в первые разы. Потом я научился с превеликим трудом брать себя в руки и сосредоточиваться на том, чтобы не упустить момента, когда,

отчаянно работая ногами, я неизменно цеплял носком по дну. Еще немного — и, задрвав подбородок, я уже мог встать на цыпочки, а потом, переведя дыхание, и на полную ступню. Пританцовывая на носках, я стоял, испуганно озираясь, ничего не чувствуя, ощущая только боль в ребрах от частого сокращения дыхательных мускулов.

И тут происходило совершенно необъяснимое. Как только я касался дна обеими ступнями, оно начинало подниматься, и через короткое время я обнаруживал себя на небольшом островке по щиколотку в мгновенно просыхающем на солнце песке. Гудение волн, еще совсем недавно бивших по голове с единственной целью — отделить ее от шеи, понемногу утихало. Остров подо мной выпрыгивал наружу с той стремительностью, с какой в жестокой сердечной муке выпрыгивает кашалот, отвергнутый наизыщнейшей китихой, которую когда-либо видела океанская гладь.

Тут же, разорвав почву, вымахивали вверх пальмы и бросали тень поперек моего лица. И кокосовый орех, чуть ли не на глазах созрев, падал неподалеку. Падал не просто так, бездарно шмякнувшись где придется, а точеноньким образом на край едва ли не единственного в округе камня. Орех легко раскалывался надвое, чтобы я мог подкрепиться после передрыги, обрести силы жить дальше...

Так повторялось не раз. Возможно, я смог бы в конце концов привыкнуть к очередным потопам. Однако самым пакостным их свойством была полная неожиданность: мне ни разу не удалось предугадать, когда именно в очередной раз на меня обрушится водяная лавина. Обычно от одного рычания стихии до другого проходило много времени. Я забывал обо всех передрыгах. И тут раздавался какой-нибудь обыкновенный звук, в своей общности даже несколько пошлый — порой едва слышимый, порой резкий, раздражающий. То скрежет ключа в почтовом ящике, то настырный телефонный звонок... И, словно по сигналу, мой островок, который я успевал обжить и даже привыкаться к нему, начинал стремительно уходить под воду. Я снова находил себя барахтающимся в холодной воде. В голову тотчас приходила паническая мысль: а что если на этот раз не хватит сил выгрести наверх? Что если я так и не ощушу под ногами нового острова? Что если на этот раз потоп — вселенский, а все, что было до него, — лишь учебные тревоги? Я корил себя за то, что так и не побеспокоился запастись надувной лодкой или хотя бы пробковым спасательным жилетом. «Что за самонадеянность?» — распекал я себя. Вот именно в этот раз, решал я, расплачусь за свое легкомыслие раз и навсегда...

Но все, как всегда, в конце концов, обходилось. В тихие дни с высокой точки моей новой земли я порой оглядывался на островки позади меня. Я заметил, что они образуют причудливую грядку. Все островки были небольшие, но формы самой разнообразной — от полоски шириной не больше лейкопластыря до круглой площадки, не больше той, что нужна атлету для толкания ядра. Разрывы между островками тоже были самые разные — от метра до нескольких миль. Я не раз принимался за вычисления. Мне долгое время казалось, что вот-вот найду закономерность в структуре моего архипелага. И тем, бы

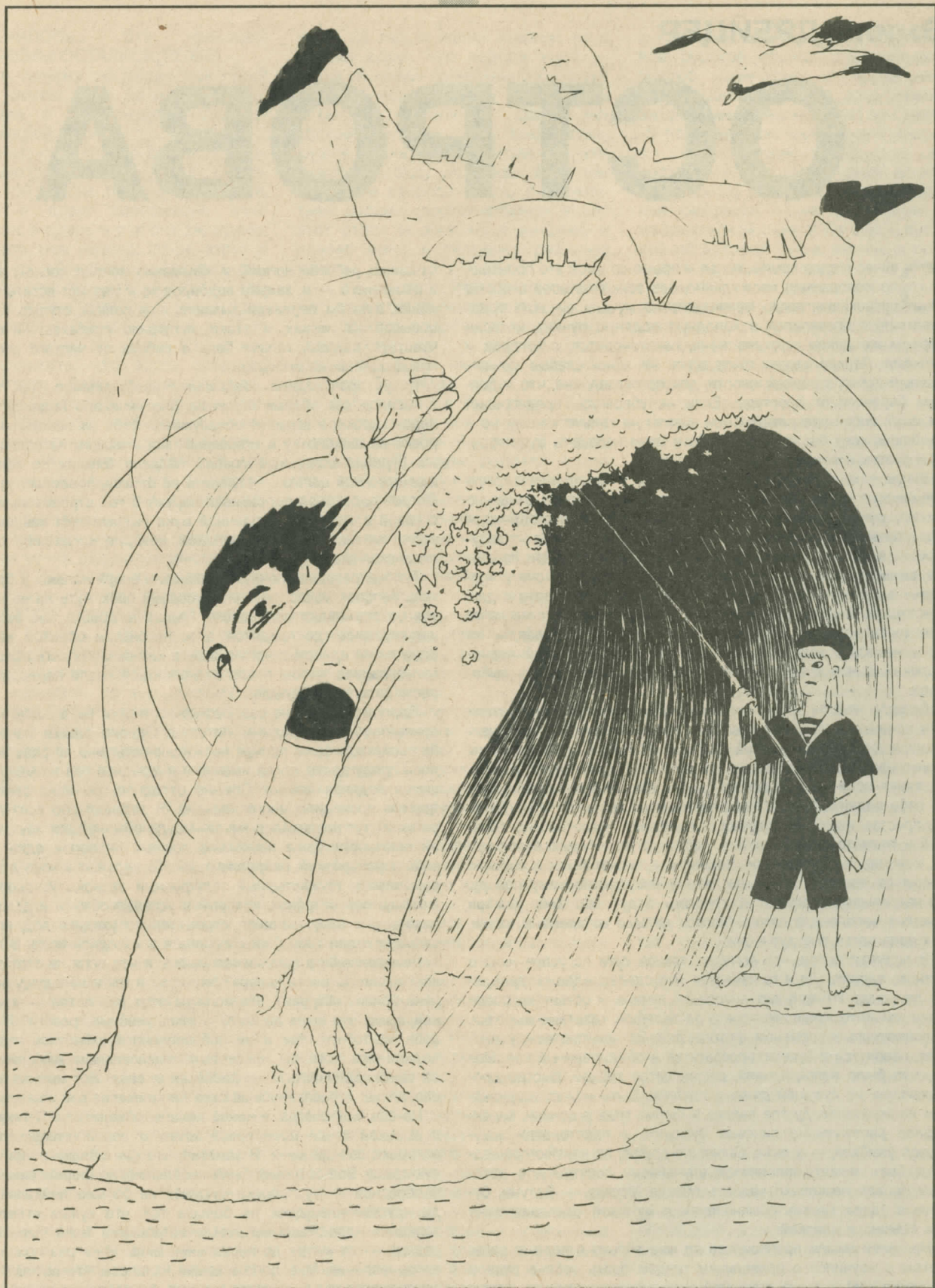


Рис. В. Пасичника



может, смогу предугадать очередной потоп, а с ним, возможно, географическое расположение грядущего острова, его долготу и широту. В приливе самонадеянности мне казалось, что я даже смогу предсказать его природу: климат, топографические особенности, характеристику почвы. В конце концов не так уж маловажно, что у тебя под ногами — вулканическая лава ли, краснозем ли, острые и мелкие камни или, как в большинстве случаев, темный и рыхлый песок...

Но ничего из этих моих усилий, как правило, не выходило. Всякий раз все мои предварительные выкладки и расчеты самым позорным образом посрамлялись. Я так и не нашел в моем архипелажке ни порядка, ни логики. Стена воды, обрушивающаяся откуда-то сбоку и сверху, продолжала заставлять меня врасплох.

До недавних пор я был убежден, что каждый новый остров, на который я попадал после очередной передеряги, был необитаем. Остро, как девушки от первой боли, вскрикивали чайки. Слово старинные книжные шкафы под тяжестью фолиантов, скрипели от порывов ветра стволы сосен, а иногда, когда внезапно наступала тишина, слышно было, как с вершины дюн в ложбинки медленно пересыпается песок. В том, что я на острове один, нетрудно было убедиться. Даже самый большой из моих островов просматривался легко, словно цилиндр фокусника.

Однажды, пока после очередного потопы сушилась на солнце одежда, обходя очередной островок, я обнаружил на нем мальчика лет восьми-девяти. Он сидел на берегу и удил рыбу с помощью небольшой хлипкой удочки. Немало подивившись, каким образом он появился здесь, я присел неподалеку на солнцепеке и стал с любопытством за ним наблюдать. Мальчик сидел неподвижно, подогнув колени, положив на них подбородок, и смотрел, нахмутив белесые брови, на поплавок. Его нижняя губа была несколько выпячена, отчего его лицо выглядело упорное желание во что бы то ни стало дожидаться клева.

Мальчик не мог не ощутить мое присутствие, но он даже не повернул головы. Я сделал несколько шагов к нему — он не обернулся. Я остановился, поняв, что только рассержу его, если подойду, попытаюсь заговорить. Понятное дело, подумал я, ловля рыбы — занятие интимное. Третий тут, как говорится, лишний...

Я решил оставить мальчика в покое и удалился. Время от времени возвращаясь к берегу, чтобы посмотреть на пришельца издалека, я по-прежнему не решался подойти к нему. Не знаю, что я больше опасался спугнуть — рыбу или его самого. Кто знает, говорил я себе, может быть, одного моего неосторожного шага достаточно, чтобы он исчез так же неожиданно, как и возник?

Совсем безучастным, однако, оставаться я не мог. Городской неумеха, никогда в жизни не бравший в руки удочки, я поймал себя на том, что размышляю, как бы сделать снасти мальчика получше. Удилище у него было не Бог весть какое — из березовой ветки, суковатой и малогнувшейся. Попадись ему солидная рыбина, удилище наверняка переломится, и он не только упустит добычу, но и потеряет всю снасть — и крючки, и леску, и грузило, и блесну, и поплавок... Последний, правда, был у него самого незамысловатого вида — небольшая пробка для аптечных пузырьков, проткнутая гвоздиком. В качестве блесны светился в воде обыкновенный жестяной колпачок, каким закрывают пивные бутылки.

Наблюдая за мальчиком издалека, я однажды почувствовал, что тоже хочу поудить рыбу. Немало повозившись, смастерил удочку. Блесну без колебания выкроил из жестяного флюгерка и вертушки, которые я как-то смастерил в перерыве между штормами, надеясь, что благодаря этим устройствам сумею вовремя заметить порыв сильного ветра. Определив его силу

и направление, я полагал, что успею подготовить себя к очередным передерягам. Нечего и говорить, что ни разу мне это не удалось...

Глядя, как одним ловким движением мальчик наживляет на крючок дождевого червя, я стал тоже учиться этой науке. Она оказалась не такой уж простой. На первых порах червь ухитрялся при первом же прикосновении крючка делать стойку на голове и свиваться немедленно в тугую спираль. В результате крючок впаивался вместо туловища червя в указательный палец. Я изрядно исколот его, пока не научился наживлять приманку с первого захода.

Удя рыбу на приличном расстоянии от мальчика, я стал ревностно следить, у кого из нас клонет раньше. Меня поразило, что всегда — и тому не было исключения — сначала клевало у мальчика, потом — у меня. Для меня всегда было пыткой долгое ожидание, но, удивительное дело, сейчас оно оказалось занятием совсем не скучным. Просто думать надо было ни о чем другом, как о мальчишке — откуда он взялся, что делает на моем острове, помимо того, что ловит рыбу. В конце концов, где-то он проводит ночи, хотя, как бы рано я ни приходил, он уже был на берегу в той же позе безмерного терпения и упорства.

Удивительное дело, однажды я поймал себя на том, что, несмотря на многолетнюю привычку, больше не прислушиваюсь с тревогой к звукам вокруг меня, надеясь уловить те, которые обычно предваряют очередной потоп. Да и случаться наплывы стихии стали намного реже. Сказал бы даже — куда как реже. Если меня теперь и заливало время от времени, то лишь по щиколотку. И вода теперь была не так обжигающе холодна, как бывало, а обычной комнатной температуры. Потоп незаметно перешел для меня в разряд обыкновенной квартирной неприятности. Не более чем если бы прогнило уплотнение крана в ванной и пролилась на пол теплая водица, напустив лужи и намочив домашние тапочки. Неприятность, спору нет, но, конечно же, не катастрофа!

Мой остров между тем стал расти. Грозится даже стать не большим, но упрямым материчком, который и залить-то с одного маху будет не так-то просто.

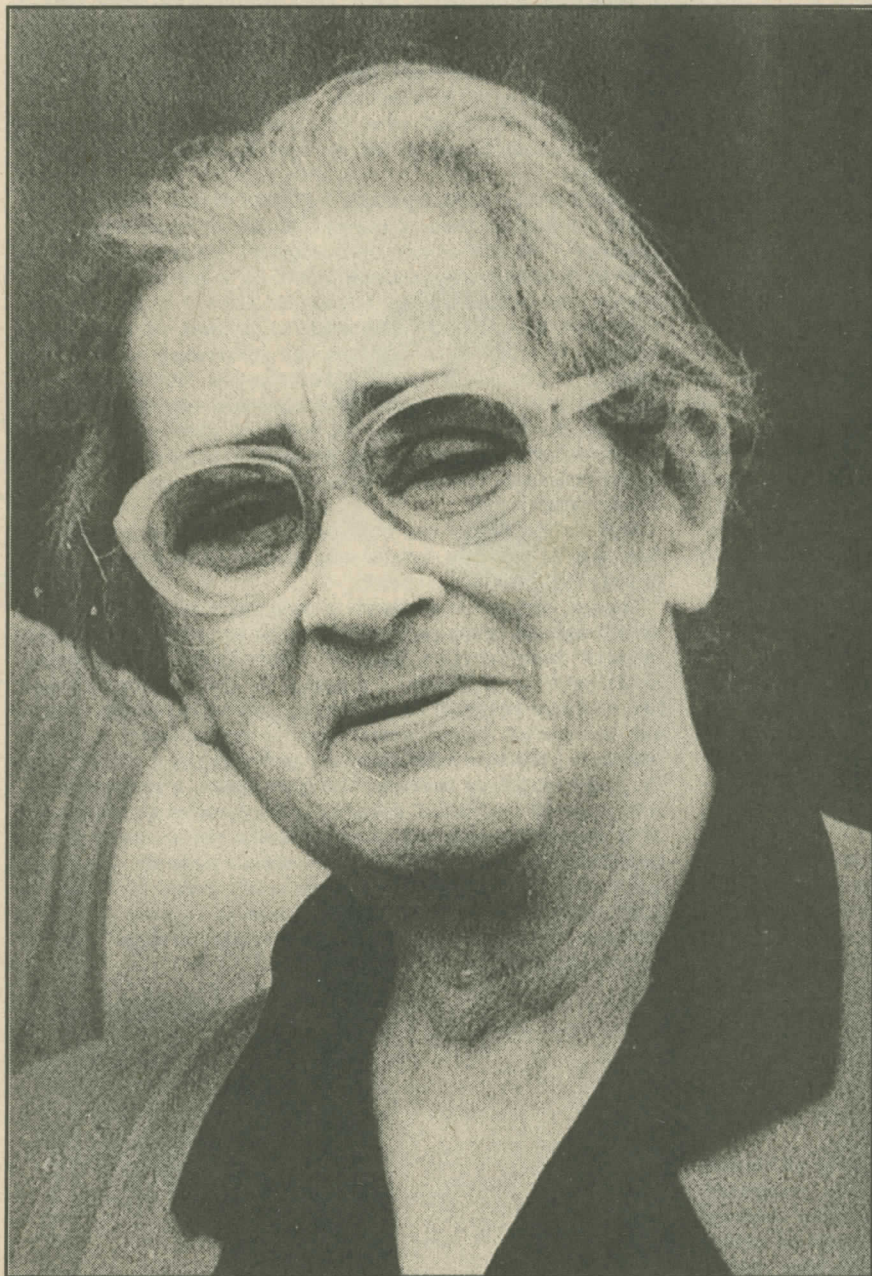
Правда, теперь стали давать о себе знать расстояния. У меня все меньше остается времени, чтобы ходить на дальний восточный берег поудить рыбу и понаблюдать за мальчишкой. Когда бы я ни приходил — в разгар ли дня, ранним ли утром или поздним вечером, когда солнце уже закатывалось и вот-вот собиралась опрокинуться тьма, — по-прежнему на дальнем краю острова я вижу мальчика на берегу все в той же позе. Он сидит, подогнув колени, нахмутив брови, и сосредоточенно следит за поплавком, следит, слегка выпятив в упрямой решительности нижнюю губу. Погруженный в так непонятную нам, взрослым, меланхолию детства — нам-то кажется: какие тут могут быть жизненные сложности! — он сидит на берегу и ждет свою рыбу. Обыкновенный мальчик в голубом берете, в матросском костюмчике, какой давно вышел из моды. Чуть ли не полвека назад...

Нью-Йорк, 1991 г.

Елена БОННЭР

# «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

(Глава из книги)



Елена Боннэр — одна из самых ярких фигур нашей общественно-политической жизни и в представлении не нуждается. Хорошо известна она и как талантливый публицист (этой осенью в издательстве «Пик» вышел сборник ее статей и выступлений), а также как автор книги воспоминаний о годах ссылки в Горький «Постскриптум». Но мало кто знает, что Е.Г.Боннэр написана еще одна книга — «Дочки-матери», вышедшая лишь в Америке (издательство имени Чехова). Это воспоминания Елены Георгиевны о ее детстве и юности, о ее бабушке и матери. Начиналась книга как письмо детям и внукам о старших поколениях их семьи, но, даже когда превратилась в 300-страничное издание, по стойкому убеждению автора, осталась предназначенной только «для семейного пользования». Мы же решительно не согласились с ней — книга, вне всякого сомнения, вызвала бы большой читательский интерес. Но так или иначе Елена Георгиевна категорически отказывается печатать «Дочки-матери» здесь. Отказывалась и от публикации отрывков, но, пользуясь ее добрым расположением, «Столица» получила эксклюзивное разрешение на это и предлагает вашему вниманию небольшой фрагмент.

Фото Б. Кремера

Осенью 1931 года я пошла во второй класс школы 27 на Большой Дмитровке. «...» Не помню, почему, может, из-за очередной болезни, мама привела меня в школу не первого сентября, а на несколько дней позже. Внизу около раздевалки она передала меня учительнице. Та за руку ввела меня в класс и, поставив около своего стола, сказала, что подумает, где меня посадить. Дети смотрели на меня. Я на них. И чувствовала себя так, как всегда чувствует новенький — чужак, то есть плохо. Свободных мест в классе не было. За некоторыми партами сидели по три ученика вместо двух. В Ленинграде я тако-го не видела. И даже при своем малом школьном опыте понимала, что это непорядок.

Неожиданно со второй парты среднего ряда встал мальчик, подошел ко мне, взял за руку, подвел к своей парте и подтолкнул на свое место, а потом сел сам. Учительница сказала что-то вроде: «Ну, вот и хорошо, что место нашлось». На задней парте кто-то засмеялся. Мой новый сосед погрозил кулаком куда-то вглубь комнаты. А я почувствовала, что мне не надо бороться за свое будущее место в этом классе, и вообще ощутила себя под защитой. Страх «новенькой» прошел. Мой «покровитель» сидел справа от меня. А слева был смешной мальчик, худенький, с торчащими волосами, торчащими ушами и весь какой-то топорщащийся. Он не отпихивал меня со своей половины скамейки, а сел так, чтобы честно поделить ее на троих. На перемене мой сосед справа достал из портфеля яблоко и перочинным ножом, который сам по себе вызвал мое восхищение, разрезал его на четыре части. Потом он дал кусок мне, кусок нашему соседу, кусок мальчику с задней парты. И последний взял себе. У меня тоже было яблоко и еще бутерброд с сыром. Я достала их из портфельчика и положила перед ним. Он проделал с ними то же, что со своим яблоком. Но еще сказал, что сыр это хорошо, но он больше любит брынзу. Что такое брынза, я не знала, но решила, что завтра попрошу у Нюры брынзу. К концу перемены мы уже были очень хорошо знакомы. Мальчиков звали — правого Сева Багрицкий, левого — Гога Рогачевский, а заднего — Рафка Френкель. После уроков в толкотне раздевалки какой-то мальчик сказал, глядя на Севу и меня, «тили-



Люся Боннэр. Москва, июль 1934.

тили-тесто, жених и невеста». Сева сразу стукнул его портфелем. Первый урок, а вернее, первая перемена определили мою школьную жизнь, друзей, круг общения. Во втором и третьем классе ни с кем, кроме этих трех мальчиков, я почти не общалась. И никого из детей не помню. Даже забыла, как звали учительницу.

«...» Дома я рассказала Нюре про своих новых друзей. А еще через несколько дней привела Севу и Гогу к себе. Рафка не пошел, потому что ему надо дома предупредить, если он решит куда-нибудь пойти. Но по-

том он тоже будет ко мне ходить.

Всю дорогу, пока мы шли, я волновалась, вдруг будут какие-нибудь осложнения со швейцаром\* и мне придется бегать за Нюрой, чтобы их пустили. Мальчикам понравился

\*Семья Е.Боннэр жила в так называемом «Люксе» (ныне гостиница «Центральная»), представлявшем собой нечто среднее между общежитием и гостиницей для ответственных сотрудников Коминтерна, к которым относился и Г.Алиханов — отец Е.Боннэр.

наш дом, а они понравились Нюре. Она нас всех накормила. А потом Гога предложил играть в «подкидного дурака». У нас в доме карт никогда не было, хотя в Ленинграде Батаня\* иногда ходила к своим друзьям «на преферанс». И я обиделась на Гогу, потому что он не поверил, что никаких «игр», кроме детского лото и папиных шахмат, в доме нет. Тогда я принесла папины же нарды. Вообще-то их нам с Егоркой брать не полагалось, да и сам папа доставал их со шкафа, только когда приезжали его армянские друзья. Нарды мальчиков заинтересовали, хотя объяснить толком, как в них играют, я не смогла. И тогда меня выручила Нюра. Она позвала меня к себе за занавеску и сказала, что вообще-то у нее есть карты, она на них гадает. «Как Светлана?» — «Ну вроде. Только ты Руфел\*\*», пожалуйста, не говори». — «Честное ленинское», — поклялась я. И мы на полу расселись играть в карты. Собственно, я еще не играть, а только учиться, потому что я впервые держала карты в руках. «...» Было очень весело, и я сразу научилась, потому что учиться тут особенно нечему. Но с тех пор я так никуда в карты и не продвинулась. «Подкидной дурачок» — единственная игра, которую я постигла за все шестьдесят пять лет жизни.

Еще через пару дней я впервые пришла к Севе в гости. В квартиру 9 на шестом этаже дома 2 в Камергерском переулке. Когда мы разделась в передней, из кухни нам навстречу вышла женщина, которая сразу показалась мне веселой. Она радостно удивилась, что нас трое. Видимо, привыкла, что Сева приходит вдвоем с Гогой, но что пришла я, ей тоже, кажется, понравилось. Слева в коридоре была дверь в Севину комнату. Там прямо против двери стояла кровать, а у окна стол — не письменный, а большой обеденный. На нем валялись всякие книжки-бумажки, а еще больше их было на широком подоконнике. Около стола стояли два стула, а у стены небольшая полка с книгами и какими-то игрушками. Сама комната была узкая и немного необычная, потому что дверь из коридора была не напротив окна, а в боковой стене. Когда Сева был у меня, он как-то небрежно глянул на рыбок в маленьком моем аквариуме и сказал что-то, что

вот он мне у себя покажет настоящий аквариум. Но никакого аквариума в его комнате не было. Я решила, что он просто наврал: все всегда что-нибудь врут, это же так обыкновенно.

Тут в комнату вошла женщина, про которую я сразу решила, что она и есть Севина Маша. Он говорил, после знакомства с нашей Нюрой, что у них дома есть няня Маша. Она была совсем не такая, как Нюра, — старая, некрасивая и говорила как-то невнятно, непонятно. Она поставила на стол большую сковородку с жареной картошкой. Севка закричал, что тарелок не надо, и мы стали есть из сковороды. Оказалось, что у нас троих самая любимая еда — жареная картошка (у меня по сей день). Потом та женщина, что встретила нас в коридоре, принесла чай. Это была Севина мама. Она была невысокая и показалась мне толстенькой. Она сказала, что пришла познакомиться и что ее зовут Лида. Но Сева строго сказал: «Лида Густавовна», а она стала с ним спорить, что Густавовна совсем не обязательно. Из-за этого их спора я долго никак ее не называла — хотелось «Лида», но я боялась, что Севка обидится. *Потом еще долго я буду называть ее то Лида, то по имени и отчеству и, только когда Севки не будет, стану всегда звать Лида, а вслед за мной и мои дети будут путаться между именем и именем с отчеством. И только после ее смерти она и для них станет просто Лида.*

Когда Лида ушла, Сева сделал круглые «страшные» глаза и шепотом сказал, что идет в разведку. И пошел — вразвалку, на цыпочках. Я ничего не поняла и шепотом спросила у Гоги. Но он только сказал: «Сама увидишь». Сева вернулся и командовал нам: «За мной». Мы прошли в коридор, а оттуда в другую комнату, дверь которой была направо. Комната была больше, чем Севина. Там, справа, на диване сидел мужчина, который показался мне немолодым и похожим на Махно (о нем я читала), потому что у него было много волос и были они какие-то то ли нестриженные, то ли непричесанные. В общем, я немного испугалась его. А он очень строго стал говорить, что пришла девица (ударение на «е», а не на «и»), и это явление новое, и как девицу звать-величать. Последние два слова он почти пропел. И хотя говорил он грозно, я уже поняла, что он шутит. И сказала: «Люся». Он сморщился, как будто ему не нрави-

тся мое имя, и сказал, что это ужасно, потому что с таким именем я всем должна быть мила. И всегда. Я попыталась что-то объяснить, что я не Людмила, но он сделал страшную рожу и закричал: «К-о-о-ш-ш-м-а-а-р». Все начали смеяться, он первый, я последняя. И тут Гога сказал: «Тили-тили-тесто, жених и невеста». Мужчина строго спросил: «Чья невеста — твоя?» Гога показал на Севку. Тогда мужчина громко закричал: «Лида, Лида, скорей иди, уже свадьба. Лида!» Вошла мама Севы и, увидев, что я почти плачу, строго ему сказала: «Эдя, перестань хохмить». Я это слово слышала впервые, но сразу поняла, что оно значит. А Эдя продолжал кричать, что невесту надо взвесить и измерить, принимать по описи и не забыть записать бант, он очень в-е-л-и-к-о-л-е-п-н-ый-й. Лида очень спокойно сказала, что взвешивать не будет, но измерит. Подвела меня к правому косяку двери, взяла со стола карандаш и, послунив его так, что на губах осталось чернильное пятно, положила карандаш мне на затылок и отметила мой рост. Моя полоска, около которой Лида написала «Люся», оказалась посередине двух уже имевшихся. Чуть ниже моей было написано «Гога», а рядом с верхней — «Сева». Через год в третьем классе на этом косяке будут прочерчены три наши новые полоски, и опять моя будет посередине. Больше полосок не появится. *Но эти я увижу в последний раз в один из военных годов, когда приду навестить Машу. Давно не будет Эди, Лида будет в Карагандинском лагере, Севка в Новгородской земле, Гога тоже в земле, где-то под Курском. А полоски станут немим свидетельством того, что когда-то мы вместе были в этой комнате.*

А после всех этих шуток (потом я узнаю, что они называют их хохмами) Эдя командовал Севке: «Показывай» — и сам стал вылезать из-за стола, почти вплотную придвинутого к дивану, на котором сидел. Он был большой — не высокий, а именно большой, а на ногах у него были толстые до колен носки. Кажется, такие тогда называли гетрами. Севка подтолкнул меня от двери, где я была все время, на середину комнаты и ближе к окну. Это были два широких окна, между которыми чуть приоткрытая дверь на балкон. Подоконники и какие-то полки перед окнами были заняты несколькими большими и маленьки-

\* Домашнее имя бабушки Е.Боннэр.  
\*\* Мать Е.Боннэр.



Эдуард Багрицкий. Москва, нач. 1930-х.

ми аквариумами. Я устала на это чудо, а Севка гордо сказал: «Не то, что твоя мура». Я не спорила. Впервые, спорить было нечего, во-вторых, мне очень хотелось выйти на балкон. И, ничего не сказав про рыб, я спросила у Эди, можно ли выйти на балкон. Он неодобрительно сказал, что девицы не интересуются животными (кажется, он сказал — живностью), и пошел к своему дивану. А мы вышли на балкон, и я впервые увидела Москву с такой высоты. Дом этот стоял (и стоит) лицом (этим балконом) к Тверской. Теперь перед домом выросли большие дома, а тогда были низкие и не загромождали вид на Кремль, на башнях которого еще не было звезд. И дальше далеко шел весь город, крыши и какие-то башни и церкви. Мы долго были на балконе, а потом я и Гога стали собираться домой, а Севка пошел нас провожать.

Дома я рассказывала про балкон и про то, что Москва с высоты тоже красивая, хоть и не такая, как Ленинград, когда на него смотришь с Исаакиевского собора. И совсем за-

была рассказать про странного Севиного папу. А через несколько дней, когда у меня были Севка, Гога и Рафка, пришла мамина подруга Настя. Пока мамы не было, Настя от нечего делать очень дотошно стала расспрашивать мальчиков про все, потому что ей всегда до всего было дело. Из ее расспросов и потом, когда мальчики ушли, а пришла мама, из Настиного рассказа я узнала, что Севин папа Багрицкий — поэт и это хорошо, потому что он все-таки поэт, подходящий для партии, хотя допускает какие-то не те мотивы. Позже Настя мне объяснила, что мотивы у него «упаднические». Но дружить с Гогой плохо, потому что его папа Львов-Рогачевский в чем-то партии враждебный. Я стала защищать свою дружбу и сказала, что их не касается, с кем я вожусь и буду водиться. И тут мама меня неожиданно поддержала, что, вообще-то, это действительно мое дело, только непонятно, почему я дружу только с мальчиками. «Так это в школе. А в «Люксе» у меня девочки». На этом спор о друзьях в тот вечер закон-

чился. А позже Настя еще не раз расспрашивала меня о Гоге и Севе до самого 37-го года. Про Рафку ни в тот вечер, ни потом она не говорила. Видимо, его папа ничем ее не заинтересовал.

Кажется, это был мой первый бунт против «генеральной линии партии», твердо проводившейся в воспитании мамой и ее подружками, снисходительно и со многими отступлениями — папой. И которой жестко противостояла Батаня. В тот же вечер Настя читала какие-то стихи Багрицкого, первые мной услышанные, а через несколько дней принесла его книжку. Так что не в Севкином доме я впервые познакомилась с Багрицким-поэтом. Насте же я обязана знакомством с советской поэзией (комсомольско-коммунистической) того времени. Она принесла книжки Жарова и Безыменского, Уткина, Алтаузена, Сельвинского, Тихонова и еще кого-то. Папа, похоже, этих поэтов не читал. От него я не слышала ни их имен, ни стихов. Настя, видимо, их любила. Она в те годы часто оставалась у нас ночевать.



Лидия Густавовна Суок (Багрицкая) в 16 лет. Одесса, 1914.

вать. Спала она обычно в моей комнате и перед сном с удовольствием читала наизусть стихи. Что-то с ее чтения полюбила и я, например, Уткина — поэму о рыжем Мотеле и еще несколько стихотворений — и стихи Н.Тихонова.

Как мы учились? Похоже, почти никак, потому что во втором классе тогда была такая система, что один ученик мог отвечать урок за десятых. А девять ничего не делали. В нашей десятке чаще других за всех отвечал Рафка. А когда был урок чтения, то я. Считалось, что я не только быстро читаю, но и с выражением. За это чтение «с выражением» Севка меня часто дразнил, при этом, подражая отцу, противно растягивал слово в-ы-р-а-ж-е-н-и-е. Но я уже научилась не обижаться на «хохмы». А еще меня он и другие долго дразнили за бант. Но в третьем классе к банту придралась и учительница и стала говорить что-то о мещанстве. Тогда я, до того упорно требовавшая постричь меня под челку и обойтись без банта, стала просить, чтобы бант был размером побольше. Так я и проходила в школе с бантом до пятого класса, когда Анетка (наш друг, работавшая с папой и вечно куда-то уезжавшая) привезла мне из Парижа пакетик отливающих серебром заколок для волос. Девочки в классе с восхищением разглядывали мою заколку, как теперь разглядывают «фирму». Батаня тоже одобрила, сказав, что мои волосы перестали походять на бороду Карла Маркса. А через год металлические заколки стали продаваться во всех галантерейных магазинах.

Уроки на дом почти совсем не занимали времени, хотя у нас четверых были ужасные почерки. Чистописания как предмета тогда не было вообще. Арифметика была до смешного легкой, а то, что задавалось выучить, а потом рассказать (считалось, что это нечто вроде истории, географии и обществоведения), легко запоминалось на уроке. В классе мы часто тайком читали что-то принесенное из дома. Иногда учительница отнимала книжку, но потом обычно отдавала. Отметки за поведение и дневники были введены, кажется, только когда мы были уже в шестом классе (может, в пятом). Экзамены — «весенние испытания» — появились в четвертом. А до того, похоже, вообще нормальному учету успеваемости не было. Считалось, что мы четверо учимся



Сева Багрицкий. Москва, 1934.

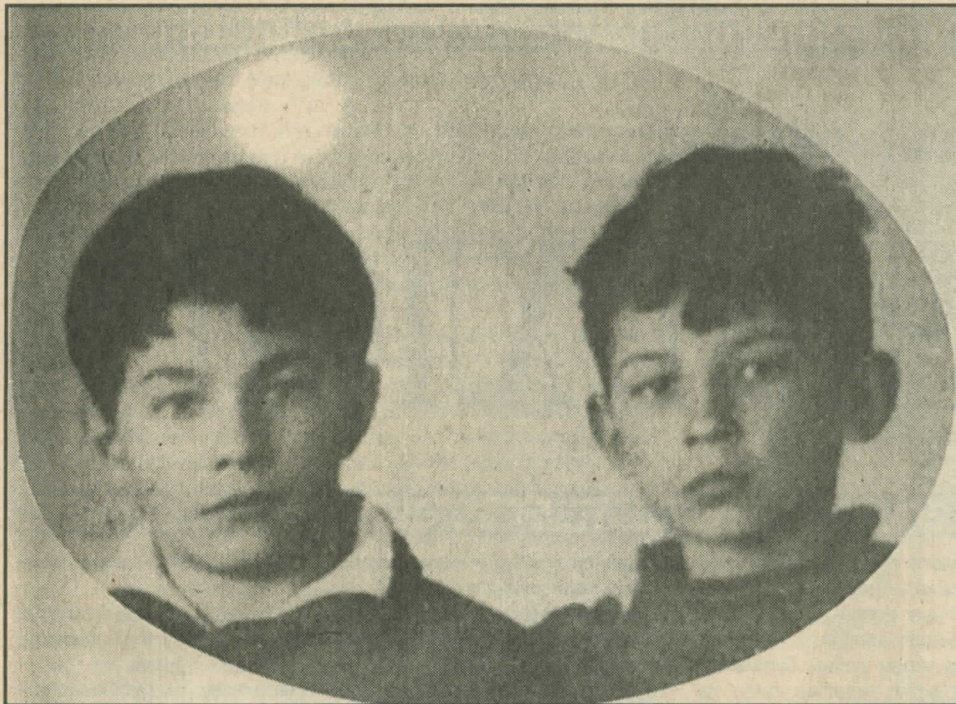
хорошо. Я думаю, что хоть сколько-то учился только Рафка, он вообще был мальчик способный, с живым, все схватывающим умом, но более заземленный, что ли, чем Гога и Севка. В старших классах, когда уже надо было что-то делать, Рафка был в числе лучших. Севка всегда относился к школе снисходительно-небрежно, никогда ничего за все десять лет толком не делал, к точным наукам питал отвращение. Он был грамотным «от Бога» и читающим. Это и природная обаятельность, так же как аура фамилии, помогали ему иметь сносные отметки и кучу свободного от школы времени. С шестого класса Севка считал, что он литератор, может, поэт, может, прозаик, может, драматург. И свое будущее связывал только с пером.

Самым способным был Гога. В младших классах он всегда что-то рисовал, и тетради его были сплошь изрисованы, даже между арифметическими примерами вдруг появлялись какие-то причудливые лица, фантастические машины, изогнутые, изломанные деревья. Он рано, значительно раньше Севы, стал писать стихи. Знал он всегда больше нас — и в том, что касалось школьных предметов, и из каких-то в то время нам совсем недоступных областей — истории, астрономии, политики. При этом был фантастически неграмотен. Почти любой школьный дик-

тант кончался в младших классах для него двойкой, а то и колом. Правда, тогда колов не было. «Кол» — это из лексикона Батани. А отметки были — очень плохо, плохо, посредственно, хорошо, очень хорошо. Потом их изменили на неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. А позже, уже не в годы нашей учебы, школа вернулась к дореволюционной пятибалльной системе.

Я стала после школы часто бывать у Севы. У нас сложилась такая традиция, что после уроков мы втроем шли или к нему, или ко мне. Рафка присоединялся к нам нечасто, и у него дома я никогда не бывала. У Севки традиционно была картошка — розовая, хрустящая — или иногда оладушки, а у нас полный Нюрин обед, который нравился Гоге, а мы с Севкой в любой день и час предпочитали картошку. Потом мы читали, играли, что всегда кончалось дикой возней, бросанием всяких предметов, чаще всего подушек, после чего появлялась Лида и советовала нам пойти погулять. Кроме нас, в эти часы появлялись у Севы в комнате еще дети из их дома: две сестрички Кирилловы — Надя и Валя, обе очень беленькие и очень хорошенькие, Шурик Арский, Юра Селивановский. Других в 32—33-м году не помню. Гуляли мы всей компанией с санками, шли очень далеко, до Трубной площади и вверх по бульвару ради удовольствия скатиться с горы прямо на середину площади. Большую часть дороги девочкам выпадало удовольствие ехать в санках, которые волочили мальчики. На обратном пути первым отсеивался Гога, когда мы проходили мимо его дома. Потом я у своего «Люкса», а «писательские» шли вместе до самого конца, и я немного завидовала Наде и Вале, что они живут к Севке ближе, чем я.

Бывая у Севы три-четыре раза в неделю, я редко видела его папу. Нас не очень допускали в его комнату. Но иногда Севка зывал меня туда, чтобы присутствовать при кормлении рыб. Эдя (так я называла его про себя, потому что это имя звучало в доме, а отчества я не знала), видя меня, шутивно-грозным голосом объявлял: «Наша законная невеста пришла» — и потом устраивал какой-нибудь допрос, ставя меня в тупик своими вопросами. Так, однажды он стал выяснять, чем занимается папа. «Ну, работает». — «Он что, землю копает или ботинки тачает?»



Сева Багрицкий  
(1922—1948) слева  
с другом Гогой  
(Георгием)  
Рогачевским  
(1922—1943).  
Москва, 1932.

— спросил Эдя. Я молчала. Наученная ленинградским опытом, что слово «партработник» лучше не говорить, я молчала, мучительно думая, как объяснить, что делает папа, и, запинаясь, сказала: «Он пишет». — «Значит, коллега, — как-то на иностранный лад произнес это слово Эдя. — А что, прозу или стихи ата кропаёт?» И когда я уже готова была разреваться, выручила Лида, прикрикнув на него, чтобы он перестал мучить девочку. Эдя отвечал ей всегда одинаково: «Не девочка, а невеста. Должна уметь ответить достойно». Из-за этих разговоров я не очень рвалась в его комнату.

Но иногда там было по-другому. Севка говорил: «Пойдем послушаем». Мы тихо протискивались в дверь. Комната была небольшой, и поэтому казалось, что в ней много людей. Кто-нибудь читал стихи, потом Эдя ругал эти стихи. Я не слышала, чтобы он хвалил. Но ругал он так же, как разговаривал со мной — не поймешь, всерьез или шутя. Хотя, может, это только я не понимала. Меня поражало, как Эдины гости читали стихи — протяжно, с резкими перепадами громкости, раскачиваясь, закрывая глаза. Мне не нравилось. Иногда по настоянию отца стихи читал Сева. Так же, как другие. Мне уже совсем не нравилось и даже хотелось уйти. Но однажды там были два человека, которые чи-

тали стихи самого Багрицкого так, что мне понравилось. Потом я узнала, что один был артист Журавлев, фамилия другого была Голубенцев. Пожалуй, тогда мне впервые понравилось чтение стихов в Севином доме. Позже я удивлялась на себя, потому что совсем разлюбила актерское чтение. Но тогда это было так. Вспоминаю теперь это время, я думаю, что мне никогда не было легко в присутствии Севиного папы, чем-то он меня сковывал. Я его стеснялась. А с Лидой мне всегда было хорошо, легко, просто. И эта легкость отношений, сложившаяся, когда мне было девять-десять лет, протянулась потом на всю жизнь.

После зимних каникул освободилось место рядом с Рафкой. Гога

пересел туда, и так вчетвером, на второй и третьей парте средней колонки, мы проучились во втором и третьем классе.

А в четвертом классе меня перевели в «филиал» во дворе «Известий», Гогу — в школу, которая была в его доме, а Севка и Рафка остались в старой школе. В начале учебного года мы общались так же много, как раньше, но постепенно у мальчиков появлялось все больше своих «мужских» занятий. Я все больше проводила время с девочками из «Люкса». Вообще это начался возраст, когда детское приятельство мальчиков и девочек кончается, а романтическим отношениям время еще не пришло.

### От редакции:

Много лет спустя оставшиеся на всю жизнь друзьями Л.Г.Багрицкая и Е.Г.Боннэр составили и подготовили к печати сборник «Всеволод Багрицкий. Дневники. Письма. Стихи». Выйдя в 1964 году в издательстве «Советский писатель» тиражом 30 тыс. экземпляров, книга получила премию Ленинского комсомола и по условиям этой премии должна была быть переиздана массовым тиражом. Этого не произошло, и сборник давно уже является библиографической редкостью. Мы обращаемся к тем издателям, которые любят и ценят поэзию: не пожалейте денег, сделайте переиздание — книга того стоит.

Валерий ЛАПКОВСКИЙ

# БЫЧИЙ ХЛОП

В последние две недели главу нового государства мучила страшная бессонница. Его раздражали не только секретные сводки с фронта, телеграфные вопли голодных губерний, головотяпы из правительственного аппарата — выводил из равновесия даже стынущий на столе стакан бурачного чая с ломтиком хлеба на тарелке. Барахлил телефон, лифт не работал, пакеты из будки у Троицких ворот вовремя не принесли!

Как ни странно, после приема многочисленных делегаций (от чего ломило виски) он, приняв представителей бывших политикаторжан, с умилением, даже с легкой кручиной, вспомнил свою первую ссылку и невольно сравнил лихорадочную деятельность нынешней жизни с теми днями, когда он не был, как писали в старину, лыс, точно линияющий орел...

Дешевизна в глухомани, куда его загнали, была поразительная: восемь рублей — комната, кормежка, стирка и чинка белья. Телятины до отвала, молока и шанежек вдоволь. Частенько хозяева резали для него барана. На все это государственственный преступник получал ежемесячно денежное пособие от царских властей.

Он завел собаку, выучил ее делать стойку, таскать сумку и стал с нею промышлять зверя. Бил зайцев, тетеревов из новенького тульского ружья.

Растолстел, подлечил нервы, обеими руками рвал щавель.

— Живу я по-прежнему безмятежно! — писал дорогой маме в далекую столицу. И просил прислать соломенную шляпу (парижскую, черт возьми!) и лайковые перчатки.

Просьба свидетельствовала о его физическом благополучии, о том, что под влиянием увеличивающегося светового дня в его бунтарской крови накапливаются половые гормоны. В соответствии с полученной от рождения генетической программой он в определенном возрасте (а возраст сей уже подкатывался к тридцати) должен был обзавестись собственным участком (домом) и охранять его от прочих взрослых самцов. Рано или поздно здесь должна была появиться самка.

И она появилась.

Приехала... Глаза чуть навывкате, высокие шнурованные ботинки.

Товарищи по партии звали ее Минога.

Такова была ее подпольная кличка.

Ему нравилось, что обручальные кольца у них из обыкновенной меди. Их выковал местный кузнец. Это вызывало в памяти железную корону, которой венчал себя Наполеон. Да, хорошо, что из меди, а не из серебра или золота!

— Из золота, — усмехнулся про себя жених на вопрос по

в церкви «Почему кольца из простого металла?» — мы станем в будущем нужники строить!

А как подвыпили за свадебным ужином, то без обиняков брякнул, грассируя, ссыльному поляку, сиявшему в белом подворотничке:

— Происшедшее сегодня похоже на сказку. Но русская сказка, батенька, удивительно ядовита! Какой-нибудь ее герой, как правило, архидурень, взваливает на плечи в интересах домостроительства Божия дверь спасения и прет в чащобу жизни, воображая, что тащит массивный крест на Голгофу.

— Ха-ха-ха! — хмелели от острот жениха гости.

— Бедная Россия! — весело вздыхал молодежен. — Она всегда носит старомодные, выкинутые Европой шляпки!

Когда гости разошлись и супруги остались одни, он, лежа на взбитой перине, сказал, блаженно-мечтательно прищурясь, будто нащупывая в туманной дали видимое только ему:

— Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы...

Минога с жаром прижалась к мужу, и тот понял, что научный факт причинной связи между нагреванием железного стержня и его удлинением содержит в себе чувственную фиксацию повышения температуры и увеличение размера штыря...

— Философия и изучение действительной жизни так относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь! — процитировал он как-то Маркса, когда Минога, отрезав подол своей старой юбки, латала штаны, в каких супруг ходил на охоту. Она была похожа на лисицу, которая отгрызает себе лапу, попав в капкан.

Чмокнув Миногу в щеку, Бычий Хлоп — так прозвали его сокамерники за выносливость и стойкость в тюрьме — нахлобучивал котелок и, помахивая тростью, насвистывая мотивчик из Вагнера, отправлялся к знакомым на вечеринку.

— Мне, — говорил он близким, — вообще шлянье по разным народным посиделкам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров и пассажей!

А супруга садилась к столу у окна, слушала щебет соседской шалуны:

— Дедушка! Ты видел, как воробей умирает? А я видела! Он лежал и ртом вот так делал, а изо рта кровь. Потом отполз к стене, пожил еще немножко и умер. Мы его палкой трогали — не шевелится...

Минога угрюмо вздыхала и принималась писать ответ свекрухе, спрашивающей, не намечается ли прибавление в их семействе:

— Нет, пташечки все нет. Не прилетела.



И перескакивала на другую тему:

— Скоро праздник. Муж сердится, но я все равно буду красить яйца и варить пасху!

Много воды утекло от той ссылки до того часа, когда помятые супруги вернулись из эмиграции в Россию. На перроне их встретили гудящая толпа, знамена, почетный караул, духовой оркестр, прожектора, освещающие путь от вокзала до дворца балерины Кшесинской, где им отвели временную резиденцию. Бычьего Хлопа водрузили на пыхтящий броневичок и с триумфом провезли по взвинченному городу, словно императора на слоне.

С той напряженной митинговой страды начался у него чад бессонницы, от которой теперь, после захвата власти и постоянно возникающих государственных проблем, не было никакого спасения. Если сон сжаливался над ним и приходил, то сны... сны... мучали, не давали передышки... То раздавливаешь дверью прищемленную крысу, то шлюха тебя нагишом в ванне моет!

За день до рокового события Бычий Хлоп долго ворочался под утро в постели, пытаясь сквозь тягостное полузабытые припомнить, подписал ли он декрет об обеспечении республики банями. Никак не мог вспомнить... Лез под руку чудесный грузин с осанистыми интонациями... Вставал перед закрытыми глазами скандальный второй съезд партии... Он тогда вел себя бешено, хлопал дверью, возмущил всех своим поведением. Но что же, господа проститутки, из этого следует?

— А то, что съезд как две капли воды вышел смахивающим на сборище подонков в «Бесах» не любимого вами Достоевского!

— Э, батенька, вы этим сравнением блоху ущемили, не меня!

Бычий Хлоп вспомнил, как совсем еще недавно, скрываясь от ищек Временного правительства, он с большим искусством пользовался гримом и париком. Его фотопортрет той поры сейчас мог бы висеть в примерном цехе столичной киностудии, где замоскворецкие барышни тачают накладки и шиньоны для актеров.

Опасаясь ареста, он день и ночь обмозговывал план экстренного вооруженного восстания, поглядывая из окошка подпольной квартиры на водосточную трубу, прикидывая, как в случае облавы удачно сверзиться по трубе вниз и нырнуть в дыру в ограде...

— Ничего не вижу смешного. Ведь драпал же апостол Павел из Дамаска в корзине, спущенной с городской стены!

Дал указание высадить несколько досок в заборе...

После восстания Бычий Хлоп засел в здании Института Благородных девиц, облюбовав себе кабинет за дверью с табличкой «Классная дама». Классную даму революции охраняли два усатых кавалера из Красной гвардии с трехгранными штыками на длинных винтовках...

Почему хорошо знакомый ему ссыльный задолго до революции ухлопал себя пулей из револьвера?.. Заели сплетни?.. С кем теперь консультироваться по вопросам философии?.. Ни один сколько-нибудь образованный или сколько-нибудь здоровый человек не сомневается, что земля существовала, когда на ней не могло наблюдаться никакой жизни, никакого ощущения, никакого большевика (фу, какое бессмысленное, уродливое слово), никакого члена нашей партии и самого меня!

— Шваль, пустойлайка! Жалкий прихвостень! — выпалил он вслух по адресу профессора-медика, на днях пытавшегося ему доказать обратное...

Умывшись, одевшись, Бычий Хлоп вышел в коридор, чтобы подняться на второй этаж. Было тихо. Из комнаты Миноги не доносилось ни звука.

Каменную лестницу на второй этаж мыла баба.

Здоровенная деревенская эмансипе.

Стояла задом.

Бычий Хлоп в душе был немного художник и потому не мог



А как умел он говорить,  
Как верили ему!  
Какой простор он мог открыть  
И сердцу и уму!

И люди слушали вождя  
И шли за ним вперед,  
Ни сил, ни жизни не щадя  
За правду, за народ!..

не заметить, что отклонение от золотого сечения в бабьих формах составляло всего лишь четыре тысячных доли процента.

Формы загромождали путь наверх.

— Товарищ, — прищурился Бычий Хлоп, — как теперь, по вашему, лучше при новой власти, чем при старом правительстве жить?

Уборщица выпрямилась, смахнула пот с лица рукавом. Смирла плюгавыша спокойным взглядом (она тут работала недавно, мало кого знала в лицо).

— А мне что, платили бы только!

Бычий Хлоп, сконфузясь, засеменял вперед. Потом обернулся:

— Как вас зовут?

— Олимпиада.

— А по отчеству?

— Ну, Олимпиада Никаноровна... Журавлева.

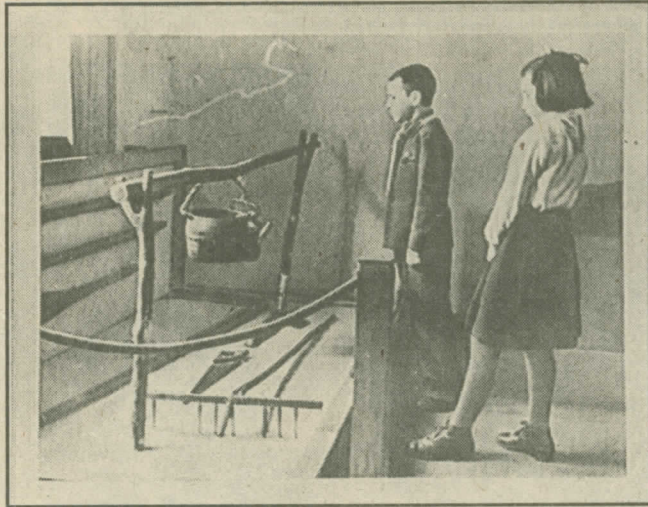
— Очень приятно. Будем знакомы.

И, назвав себя, юркнул в кабинет от огорошенной домработницы. Через минуту в кабинет явился, как таракан перед гусем, недреманный секретарь.

Бычий Хлоп радушно поздоровался с ним и сказал:

— Вы только подумайте, до чего правы древние ваятели!

Секретарь изобразил на лице почтительное внимание и подумал, что вождь говорит о бронзовой фигурке на письменном столе. То была волосатая горилла с оттопыренными ушами. Одной лапой обезьяна почесывала выпуклую лодыжку, другой держала череп человека, чуть с удивлением всматриваясь в пустые глазницы. Безделушку подарил врагу капиталистов американец-миллионер, сказав, что, по мнению африканского пролетариата, череп предка обладает магической силой



Коса, и грабли, и топор,  
И старое весло...  
Как много лет прошло с тех пор,  
Как много зим прошло!

Уж в этом чайнике нельзя,  
Должно быть, воду греть,  
Но как нам хочется, друзья,  
На чайник тот смотреть!

и дает тому, кто им владеет, власть почти над всем миром.

Но вождь, видимо, говорил о чем-то ином.

— Древние лепили из глины условно трактованные фигурки: пышный бюст, бедра, объемистый живот и — почти полное отсутствие головы! Или если она была, то едва намечалась. Давайте бумаги. Что у вас?

Быстро пробежав глазами несколько листов, глава государства уставился на секретаря в упор:

— Расстрелов мало. Я — за расстрел по такому делу! Что с этими... ну, теми, что в Екатеринбурге?

Почесывая кривым мизинцем кончик волосатого носа, секретарь вторично доложил, что вся семья, включая государя, государыню и детей, согласно постановлению провинциальных властей, пущена в расход.

Профессор-медик, к которому Бычий Хлоп обратился вчера за средством от бессонницы и с которым он чуть не до хрипоты спорил о текущем положении в стране, на прощанье, после паузы, вымолвил:

— Кант считал... убийство монарха, отрекшегося от престола, преступлением... остающимся навеки... и совершенно неизгладимым... ни на этом, ни на том свете...

— Да что вы носитесь с Кантом, этой кабинетной тундрой! — взорвался Бычий Хлоп. — Вы лучше у моей жены спросите, как бы она расправилась с ним!

Профессор знал, что пожилой узкогрудый Кант в истрепанном, однако опрятном сюртуке от такой дамы, как Минога, бежал бы с одной конспиративной квартиры на другую... Канту не давал покоя крикливый петух, которого сосед ни за какие деньги не хотел продать (в глубине души возмущаясь, что философ намеревался отправить крылатого вокалиста в суп)...

Канту мотали нервы тюремные лицемеры — уголовники, распевавшие во всю глотку псалмы в кутузке, торчавшей рядом с домом, где жил мало кем понимаемый мыслитель... Не то евреи, не то пруссаки, тающие от истомной признательности к великому современнику, поднесли землячку, кажется, к 60-летию, аляповатый брелок: на одной стороне медали — сутулый профиль сухопарого кенигсбергца, на другой — силуэт падающей Пизанской башни (весьма двусмысленный символ, учитывая старость отца «Критики чистого разума»)... Но это все же было лучше, чем перспектива попасть в руки живой супруги русского диктатора, вскользь и всего, видимо, разок что-то читавшего из сочинений Канта.

Сама Минога вряд ли когда открывала книги по трансцендентальной логике. Но инстинктивно смекнула, что опусы Платона, Канта или Шопенгауэра рядом с художеством мужа будут вне конкуренции. И мигом сделала мат пешкой (Бычий Хлоп всю жизнь до азарта любил играть в шахматы), запретив печатать в стране труды гносеологических жуликов — великих греков и немцев. Запустила в 150-тысячный тираж в качестве душеполезного чтения для народа протоколы о судебных процессах над оппозицией новому режиму, иллюстрируя нетривиальную ситуацию, когда два кота стоят друг против друга, раздумывая, как бы вцепиться в рожу противника.

От обывателя Миноге не было покоя.

Выйди она сейчас с мужем погулять, худо-бедно, а все же увидишь, как по замусоренной улице маршируют дети. У каждого в руках шест с дощечкой со словом «труд». Не «бабочки», не «Али-баба и сорок разбойников», не «одуванчик», не «брызги в лужах», а «труд». А раньше вместо такой картины — куча домохозяйек на углу, и стоит им увидеть Бычьего Хлопа с Миногой, так хлеб не корми — дай лишь поорать:

— Плешивый! Где ты взялся на нашу голову со своей пучеглазой? Из-за вас совсем жрать нечего!

Баб арестовывали. Ненадолго. Держали и выпускали.

А то был еще случай. Сидел недалеко от дворца на улице крестьянин. Бычий Хлоп цап Миногу под руку и к нему: мол, как жизнь, товарищ?

Мужик сердито сплюнул.

— Жизнь ничаво, гражданин прохожий! Новый вождь вот только... мать его так!. Не пойму я этого человека. Бестолковый какой-то! Понадобилась его жене швейная машинка, так он распорядился везде по деревням швейные машинки отобрать. У моей племянницы вон машинку отобрали. Весь Кремль, что ль, завалить машинками хочет?

А сколько приходило на имя Бычьего Хлопа анонимных писем с руганью, угрозами, карикатурами!

...Подобно тому, как в парижском изгнании Минога и Бычий Хлоп узнавали о наступлении весны не по звонкому галдежу птиц, а по тому, как в их квартире, в полутемной кухне, появлялись проворные скворцы подполья — отощавшие за зиму черные тараканы, так о провале очередной политической затее узнавали в Кремле не по захлебывающимся от директивного восторга покорным газетам, а по эпистолярному залпу, которым прошлое отстреливалось от будущего.

Нервы у Бычьего Хлопа были истрепаны в лоск, и вылечить их сонетами, посвященными ему заправилами ГОЭЛРО, не представлялось очевидным.

Накануне покушения на него, поздно вечером, страдая от бессонницы, предложил жене... поехать в гости.

— Куда?

— К студентам, во ВХУТЕМАС.

Позевывая, Минога согласилась.

Приперлись. Общага, естественно, еще не спала. Как увидели вождя, так и поднажали. Спорили до ожесточения. Забрасывали бесконечными вопросами.

Заметив на стене плакат (автор призвал выкрасить парово-

зы в голубой цвет, поскольку это-де увеличит скорость локомотива), гость задиристо расхохотался.

Физическим трудом Конторщик никогда не занимался; напротив, требуя повысить производительность труда, столь важную для победы нового общественного идеала, он — хоть ты тресни! — не догадывался, что среди грохота станков в цехе цвет машин, потолка, спецовок способен либо угнетать энергию передового класса, либо стимулировать быстроту фабричных операций.

— Удовольствие, получаемое человеком от живописи, — де-сексуализированное удовольствие от игры с калом! — вещал главе государства растрепанный юноша, поклонник Фрейда.

— Ладно, ладно, встретимся попозже, почитаю литературу — тогда и поговорим, — отбрыкивался Бычий Хлоп. — Фрейдизм! Футуризм! Вы бы лучше Некрасова изучали!

— Некрасов, как явствует из письма Чернышевского, был развратник!

Он обозлился:

— Чего по ночам не отдыхаете? Митинги разводите! Вот прикажу обрезать вам электричество, чтоб спали, а не устраивали Учредилку.

Начальник личной охраны едва уловимым жестом поправил висящий на бедре маузер в деревянной кобуре. Впивался в лицо горланящей богемы, точно пытался на глазок измерить содержание предательской влаги в ценных породах древесины, предназначенной для изготовления музыкальных инструментов. Чекист вырос в лачуге слесаря, где за ставней жил на крючке младший брат — широкий кожаный ремень.

От посула обрезать свет молодежь опешила, но тут же пришла в себя, предложив высокому гостю отведать каши из студенческого котелка. Бычий Хлоп отказался... Надулся... Мило ради приличия прожевала две ложки вареной крупы.

Провожать не стали.

Молча сели в автомобиль, молча ехали. Муж отвечал на стремление жены заговорить с ним с предельной лаконичностью: «да», «нет»...

Спали врозь.

Утром Великий Конторщик поймал комиссара просвещения (френч в пенсне) и, чуть не кукарекая, заклокотал:

— Хорошая, очень хорошая у вас молодежь! Но чему, я вас спрашиваю, вы ее учите?

Под вечер в те же сутки, после того, как Бычий Хлоп выступил на заводе с речью и направился из мазутной проходной к чистенькому «роллс-ройсу», окруженный распаренными его ораторствованием рабочими, дрыганул браунинг.

Толпа бросилась наутек, врассыпную.

«Вождь, — хрипят хрестоматии, — упал, обливаясь собственной кровью». Пальнула в него издерганная черноволосая эсерка, приговоренная при царе к двенадцати годам каторги, где обзавелась куриной слепотой. Кабы не дефект зрения, террористка всадила бы отравленные пули в «десятку».

Ночью ее несколько раз допросили. Она больше отмалчивалась, курила. На вопрос, почему стреляла в Великого Гуртовщика, коротко ответила:

— Потому, что он повел революцию не туда, куда нужно...

Через час после покушения раненый лежал у себя в комнате на железной кровати. Он не двигался, как кузнечик, парализованный укусом осы. На груди белел клочок ваты, будто оставленная ося личинка...

— Ллойд Джордж! — внезапно сказал Бычий Хлоп, перепугав склонившихся над ним врачей.

Через двадцать минут:

— Конференция!

Еще спустя полчаса:

— Невозможности!



Вот фотографии висят,  
Мы снимок узнаем, —  
На нем товарищ Ленин снят  
Со Сталиным вдвоём.

Они стоят плечом к плечу,  
У них спокойный вид,  
И Сталин что-то Ильичу  
С улыбкой говорит.

И отчаянно жестикулировал щекой и глазом, сиюсья произвести еще что-то важное.

Домработница заперлась в своей светелке и не выходила: у Олимпиады Никаноровны вспыхнула длительная истерика.

Раненый без остановки нес:

— Маркс написал «Манифест»... Изобретение хомута произвело переворот во всей деревенской жизни... Бога ему жалко! Свободь идеалистическая...

Среди прочих медиков вызвали профессора, с которым Бычий Хлоп недавно препирался насчет Канта.

— Когда левые эсеры подняли мятеж... он расправился с ними, как Наполеон... приказал бить из пушек по штабу повстанцев, — рассеянно думал профессор, щупая пульс на плотном запястье эсеровской жертвы.

Начальник личной охраны исподтишка косился на профессора. Чекист напоминал профессору хищное растение: в мгновение ока оно определяет химический состав букашки, попавшей на его лепесток; потихоньку засасывает, обволакивает насекомое своими чувствительными ресничками, трогает сперва по краю, затем, когда из жучка выпотрошены собственные соки и пущен в него яд, неосторожный пленник уничтожается дотла, без остатка...

После хирургической операции Великий Гуртовщик провалился в глубокий сон.

Кантианец остался на ночь в соседском помещении, спросил

себе книгу из библиотеки пациента, прилег на кожаный диван.

Это была книга, которую Бычий Хлоп выпустил под псевдонимом еще до переворота, лет десять назад... Автор смотрел на мир и находил любопытным, что из вещей получается материя... В голове у него от злости подгорала каша. Глотая насмешливые труды идеалистов, он признавался, что прямо-таки... «бесновался»:

— Философский идеализм есть только прикрытая, принаряженная чертовщина!

Кто-то окрестил его взгляды «метафизическим эмпиризмом».

— Метафизический эмпиризм — это материализм, господин профессор! Извольте называть черта по имени! — запальчиво потребовал он к себе уважения, как мелкий бес.

Кантианец перевернул еще страницу:

— Современная физика... идет к единственно верному методу... не прямо, а зигзагами... не видя ясно своей конечной цели, а приближается к ней ощупью, шатаясь («Как пьяная баба», — прокомментировал профессор)... иногда даже (вихляя) задом!

Медик зевнул.

«Кроме живого и жизнеспособного существа они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот. К числу этих отбросов относится весь физический идеализм...»

Шедевр выпал из рук бедного доктора. Он уснул. И спал безмятежно — так, как почивает в гамаке паутины, не боясь паука, малярийный комар.

На другой день Великий Гуртовщик очнулся... Опять в его комнате мыла полы обладающая самостоятельным движением половая клетка...

— Олимпиада!..

Сипнул и вновь потерял сознание.

Через час пришел в себя. Болело сердце. За окном вдруг отрывисто завывали. Сыч? Собака?

— Что это? — натянулся всем телом.

Встревоженная жена приникла к стеклу.

— Никого...

Стал дремать.

Неожиданно чужой голос так ясно назвал его по имени и отчеству, что он резко проснулся...

Померещились сухо блестящие стенки глинистой могилы на похоронах соратника.

Тяжело задышал без кровинки в лице.

— Ты намаялась... поди ляг, — криво улыбнулся Миноге.

А в глазах металось:

— Конец!

В полдень распластанный на постели вождь был окружен съехавшимися со всей Европы медицинскими знаменитостями. Как в революции, так и в науке посредственные личности играют существенную роль, по той причине, что вовремя оказываются в пункте, где разворачивается агония.

Кантианец, сидя в углу, созерцал суетливый, шепчущийся консилиум. Петроградский коллега приблизился к кантианцу, стал негромко выражать восхищение заревом революции, надеждой, что ее лидер...

Профессор прошипел:

— Россия нырнула в революцию, аж пятки сверкнули! Громыкает, поет, но когда очнется, будет не хуже той дамы, что в период гипнотического сеанса исполнила все мотивы из второго акта «Африканки» Мейербергера, напрочь выскочившие у нее из головы при пробуждении... Дождетесь и конституции и севрюжины с хреном!.. Читайте сочинения пациента. Там так и начертано!

Бычий Хлоп застонал... Попросил оставить его наедине с Кантианцем.

— Издали, пожалуй, не отличишь — может, он в Бога верует,



И вдруг встречаем мы ребят  
И узнаем друзей:  
То юных ленинцев отряд  
Пришел на сбор в музей.

Под знамя Ленина они  
Торжественно встают,  
И клятву Ленину они  
Торжественно дают:

а может, в коммунизм, — мелькнуло в усталом уме Конторщика. Он схватил профессора за палец и, с большим волнением заглядывая в глаза, умоляюще прокартавил:

— Говорят, вы хороший человек. Наши разногласия — чепуха. Скажите правду, не будет ли у меня паралича? Поймите, кому и зачем я нужен с параличом?.. Назвать мысль материальной — значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма и идеализма. Но куда без меня денется мое дело, мой дух?

В тот день Бычий Хлоп не умер. Протянул еще несколько лет.

А когда отошел в мир иной, у него вынули мозги, отправили в только что организованный институт; и где теперь его серое морщинистое вещество, никто, кроме кое-кого, не знает...

А в музее, где смонтировали копию кремлевского кабинета, по-прежнему восседает на столе меланхолическая лохматая горилла, с легкой иронией заглядывая в пустые глазницы голого черепа.

1985 г.

Иллюстрации из книги С. Михалкова «В Музее В.И.Ленина»

*Общество с ограниченной ответственностью*

## МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА

# "ЭМ-БИ-ТИ-СИ"

УЧРЕДИТЕЛИ: Российский концерн "Цемент", Московский домостроительный комбинат N 3, ПО "Спаскцемент", Белгородский цементный завод, Ангарский цементногорный комбинат, ТОПО "Стройтехстекло", Струнинский хлопчато-бумажный комбинат, Московская фирма "Промстройматериалы" и др.

### ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ —

цемент, стекло, асбестоцементные изделия, сборные железобетонные изделия и конструкции, сантехнические изделия, ткани, бумага, товары народного потребления.

**МЫ ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ЧАСТНЫХ ФИРМ К АКТИВНОМУ ВЗАИМОВЫГОДНОМУ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ!**

Продажа еще 20-ти брокерских мест —  
в течение только одного месяца со дня публикации

**"ЭМ-БИ-ТИ-СИ" представляет свои брокерские конторы**

N	название	телефон
Б001	Токобанк"	975-58-42, 204-09-50
Б002	Концерн "Цемент"	291-50-05, 254-72-71
Б003	П-БК "Санктус"	932-21-36
Б004	МПКП "Старт"	237-44-98
Б005	"Корн"	976-39-05, 976-34-75, 216-39-05
Б006	А/о "Асвенто"	276-29-82, 209-10-22
Б007	Общество "Ясенево"	421-3921-39-89
Б008, Б009	Фирма "Промстройматериалы"	309-14-15
Б010	"МП Курс и К"	408-57-41, 408-57-37
Б011	МФ СТ "Агропромстроитель"	202-73-07
Б012	МП "Маргарита"	484-92-51

**Наш биржевой канал 272-35-41**

Долгие годы драматург Маргарита Волина писала в стол роман «Этапы». Некоторые фрагменты из него уже увидели свет, мы же предлагаем читателю не публиковавшуюся до сих пор главу, посвященную первой жене М.Горького, о которой биографы писателя практически не упоминают.

Маргарита ВОЛИНА

# ПЕРВАЯ

Героиня рассказа Горького «О первой любви» — Ольга К. Полное имя ее Ольга Юльевна Каминская. В девичестве — баронесса Гюнтер. Впрочем, отец ее был известен и чтим в Н.Новгороде не как барон, а как доктор Гюнтер, а сама Ольга Юльевна — хотя и окончила в Белостоке институт для благородных девиц и встречалась там на балах с императором Александром II, — повзрослев, вращалась не в высшем свете, а (по словам ее дочери) в «нигилистичей среде».

В «нигилистичей среде» гражданские браки были нормой. Оставив Ф.Ф.Каминского, Ольга Юльевна жила в гражданском браке с Болеславом Петровичем Корсаком, недавно отбывшим ссылку в Якутии, а расставшись с Корсаком (в рассказе «О первой любви» Болеслав К.), стала гражданской женой А.М.Пешкова.

Спустя три десятка лет, в 1923 г. (медовые годы с М.И.Будберг), Алексей Максимович услышал от кого-то, что его «первая женщина» умерла. И, не проверив сообщения, рассказал о своей любви к ней и о ней самой со всеми интимными подробностями. Ромен Роллан восхитился рассказом, Стефан Цвейг — пленился.

Ольга Юльевна (она в ту пору умирать не собиралась), прочитав рассказ в «Красной нови» (1923 г., № 6), обиделась. И как только «прошла горечь» первых дней — решила «взяться за перо».

Она возражает Горькому по страницам, по строчкам, иногда ее протесты смешны, порой наивны, а иногда и весьма серьезны... Приведу некоторые из них.

*«Стр.214. «Любила русскую кухню: сычуг — коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом...»*

Я в рот не брала подобных кушаний, да у нас их и не готовили. Слово же «сычуг» я узнала, прочитав первый раз рассказ «О первой любви».

*«Она организовала орден «Жаденьких животиков» — десяток людей, которые, любя сытно поесть... а я интересовался тайнами иного характера, ел мало...»*

Никакого подобного «ордена» не существовало. А ел Алексей Максимович вовсе не мало, а как следует, даже обладал прекрасным аппетитом. И я следила, чтобы еда его была питательна, так как меня очень беспокоило его простреленное легкое...

*Стр.216. «...Ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де Кок...»*

До тех пор, пока не прочла рассказа «О первой любви», я понятия не имела о существовании Поля Феваля и Октава Фейлье. А книг, особых от книг А.М., у меня не было. Что он читал, то читала и я, вернее, перечитывала, когда удавалось урвать время от работы.

*Стр.217. «...Сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами...»*

Как я могла ходить раздетая, босиком, раз по повести мы жили в старой холодной бане, полной тараканов и мокриц?..

*Стр.217. «...К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно... Когда я читал ей в ночь написанный рассказ «Старуха Изергиль», она крепко уснула».*

К его рассказам никак я не могла относиться «равнодушно»! Некоторые из них мы с ним писали почти что вместе. Бывало, ночи я проводила возле него, когда он писал и прочитывал их мне... Я высказывала ему свое мнение, и он очень дорожил им. Я гордилась его рассказами, думаю, больше, чем он сам. Да, был случай, что я уснула, когда он прочитал мне на заре «Старуху Изергиль». Но написал А.М. этот рассказ не в ОДНУ НОЧЬ, а писал его довольно долго, и я его десять раз переписывала, потому что А.М. несколько раз передо мной, я знала его почти наизусть, и

он-таки мне порядком надоел. Услыла я, когда он прочитал мне его уже в последней редакции, и мне завтра предстояло еще раз переписать его — в последний!

Наш разрыв описан в рассказе, как явление, уже подготовленное заранее, как разрыв скучно-будничного «трагикомического случая первой любви».

Наши отношения оборвались после бешеной сцены ревности. А.М. был всегда остро-болезненно самолюбив. И он не мог мне простить, что я не сумела оборвать переписку с Корсаком. Корсак иногда писал мне, я читала его письма, хотя и не отвечала на них.

*«Мне кажется, будет лучше, если я уеду, — сказал я жене. Подумав, она согласилась».*

Прочитав эти строки, я только руками развела. Это была катастрофа. Я ждала со дня на день примиренья. А вместо этого он сказал, что уезжает навсегда.

«Протесты» О.Ю.Каминской до читательской публики не дошли. Горьковеды уверяют, что и в Архиве Горького данных «протестов» нет. Ладно! Пусть я одна имела возможность ознакомиться с ними. Ну а почему не издадут мемуары Каминской? Забыв обиду, нанесенную ей рассказом «О первой любви», Ольга Юльевна вспоминает о Горьком с нежностью и восхищением. Почему же ее мемуары до сих пор томятся в Архиве Горького?

В 1937 году дочь Каминской (если верить Ольге Юльевне, рожденная от Фомы Фомича Каминского, а если верить Горькому, рожденная «где-то на пути между двумя романами») («О первой любви») тоже написала об Алексее Максимовиче, и ее воспоминания тоже не увидели света. Почему? Быть может, мемуаристка оклеветала отчима? Отнюдь! Возлюбленный — муж матери дочерью не очернен, а скорее высветлен, и хотя на свет попали не те черты, кои

# ЖЕНА ГОРЬКОГО

Горький дал в своем автопортрете («О первой любви»), но молодой Ляня Пешков от этого лишь выиграл.

По какой же причине не издают воспоминания Каминской и ее дочери?

*«Мы сняли, за два рубля в месяц, особняк — старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной».*

*«Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету» («О первой любви»).*

Ну, разумеется, жизнь на вилле в Сорренто была богаче, чем в домике на Полевой (ныне ул. Горького). Но о какой «проклятой нищете» речь?

Алексей Пешков (М. Горький) с перебоями, но уже печатался, а кроме того, служил письмоводителем у адвоката Н. И. Ланина. Ольга Юльевна — акушерка по специальности, художница по призванию — принимала роды, а кроме того, чертила карты и планы, рисовала и ретушировала, зарабатывая до ста рублей в месяц, что по тем временам было совсем не плохо.

Супруги держали кухарку — расторопную, заботливую Аннушку. С ней жил сынишка — сверстник Лели (дочери Каминской). Муж Аннушки — «лучший повар Н. Новгорода», по воспоминаниям дочери Каминской, иногда запивал, на какое-то время его выгоняли из ресторана, и он тоже находил пристанище в «домике с террасой» («старой бане»).

Живя у Пешковых, «лучший повар Нижнего» готовил сам, Аннушке даже плиту растапливать не разрешая. Ибо (как говаривал повар) «каждому кушанью нужен свой жар!».

В рассказе «О первой любви» есть «мокрицы», есть «пауки», есть «запах гнили, мыла и пареных веников», есть «угарно дымящиеся печи», а вот — КУХАРКИ и ПОВАРА — нет!

И. Бунин в своих злых заметках

увверял, что Максим Горький и свое «нищенское» детство сочинил, и свои университеты выдумал, дабы могли о нем сказать: «Горький поднялся с самого дна».

Издать воспоминания Каминской и ее дочери — значит в какой-то степени поддержать версию Бунина, значит в какой-то степени опровергнуть легенду о «босьяке» Горьком. Поэтому лучше «О первой любви» не вспоминать и об Ольге Юльевне помалкивать. Хотя именно Каминской мир обязан рождением писателя Горького. Писателя, как к нему ни относись, в мировой литературе заметного.

Каким образом «магнитная женщина», «маленькая дама», «конфета», «неугомонно веселая, остроумная, гибкая», «...любящая встряхивать ближних мужского пола и возбуждать в них эмоции не очень высокого качества» могла способствовать этому?

В рассказе по первому требованию «возбужденного» Пешкова Каминская не согласилась соединить с ним свою судьбу. В жизни — Корсак уехал в Париж, Каминская осталась с Пешковым, но через некоторое время, жалея беднягу Корсака, отправилась за ним.

*«Вскоре, полубольной, в состоянии, близком к безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекасти-поле».*

*Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее» («О первой любви»).*

Кроме преувеличенного срока шатанья (А. Пешков покинул Н. Новгород 29 апреля 1891 г., а прибыл в Тифлис — конец скитанья — 1 ноября того же года), здесь все правда.

Неразделенная любовь гнала

Горького по дорогам России. А на этих дорогах (запомним это) он встретил и романтизировал «Макара Чудру», «Челкаша», «Старуху Изергиль» и всех тех своих героев, что взметнули его с «самого дна» на вершины славы.

В Тифлисе (газета «Кавказ») напечатан первый рассказ А. Пешкова за подписью М. Горький.

В Тифлисе написана (опубликована позже) валашская сказка «О маленькой фее и молодом чабане».

В Тифлисе Горький пишет (печатает много позже) сказку в стихах «Девушка и смерть».

Много причин было у Пешкова назваться Горьким. И тяжкое детство, может быть, и не совсем нищее, но сначала полусиротское, а затем сиротское, и полубосьяцкая юность, и простреленное легкое, но все же назвал он себя Горьким, изведав горечь неутоленной любви. А не упорно «маленькая фея» Каминская из «могучих рук» Марко-Пешкова, а начни с ним сразу семейную жизнь — кто знает, как сложилась бы дальше его судьба. Разумеется, писателем «нижегородский меццанин» стал бы, но вот назвался ли бы счастливый муж Горьким? Вопрос! И уж во всяком случае в 1891 г. во «второе скитанье по Руси» Алексей Пешков не кинулся бы.

В супружестве с Каминской А. М. Пешков (М. Горький) прожил два года с небольшим — его любовь к ней длилась более пяти лет. Он знакомится с Ольгой Юльевной в июне 1889 г., 29 апреля 1891 г. «полубольной» от любви уходит из Нижнего. 1 ноября того же года приходит в Тифлис. Оставив Корсака в июне 1892 г., в Тифлисе появляется Каминская. Неутоленная любовь вспыхивает с новой силой.

*«...Мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, обрадовалась, — я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в*

обморок» («О первой любви»).

В июне (дата не установлена) Каменская и Пешков встречаются. В августе он пишет ей стихотворное послание.

«Сударыня!

За ласку, за нежный взгляд  
Отдается в рабство повкий  
фокусник...» и т.д.

В октябре 1892 г. А.Пешков уезжает в Н.Новгород. Вновь устраивается на работу к адвокату Н.И.Ланину, przygotowывает к приезду Каминской жильё, и в декабре 1892 г. вместе с дочкой она к нему приезжает.

Вот что вспоминала Ольга Фоминична Лошакова-Ивина, дочь О.Ю.Каминской, об их жизни в Нижнем: «Поставит меня между коленок, я вырываюсь, а Леня... Алексей Максимович смеется: «Друг души — не спеши!» В дни гонорара без игрушки или бонбоньерки не возвращается... На лихаче меня катает, в цирк со мной ходит!

Конечно, денег иногда не хватало, потому что ни мама, ни Леня экономить не умели. Но про баню Леня наврал... Разве он маму в баню поселил бы? Мы жили в особнячке с террасой, заросшем бузиной и малиной. Мебель, правда, была простая: кресла и диван обиты синей грубой материей — «кретоновой», но все говорили, что у нас очень уютно. Как войдешь из садика — передняя, а слева кухня, огромная, светлая. Аннушка — кухарка, ее муж — повар и сын их Сашенька — он в гимназию готовился, очень красивый мальчик, вся семья была очень красивая — в кухне размещались... Столовая тоже довольно большая, а наша спальня с мамой — маленькая. И кабинет Лени... Алексея Максимовича — небольшой... А он-то, Леня, длинный! Тахта вдоль стены помещалась, а ноги его в дверь упирались... Мы дверь сняли и занавесочку повесили... Но ее редко задвигали... И я перед тем, как уснуть, все бывало, на его босые ступни смотрю. Так что до сих пор выражение каждого пальца знаю...

Мы недалеко от Волги жили — возле дома купца Рукавишников... громадный домина с кариатидами... А на откосе у Лени с мамой была любимая скамейка. Леня завернет маму в полы своего пальто широкого и на руках к Волге несет... И сидят они там, обнявшись, и смотрят на зарницы».

Во время долгих бесед Ольга Фоминична отдала мне тетрадь, где описала свой разговор с матерью о

ее разрыве с Горьким.

Старуха писала вслепую (почти как Н.Островский), буквы, словно сдутые ветром козявки, сбивались в кучки и расплывались по страницам. Расшифровал, я построила их в строчки, и они уместились на листе с четвертью.

«Однажды я сказала матери: «Мама, мы обе с тобой уже не молоды. Но дружны по-прежнему. Расскажи, как вы расстались с Ленией?» И мама рассказала:

«Я прибиралась в столовой после вчерашних гостей и, страшивая скатерть, увидела нераспечатанное письмо от Болеслава. Отставила веник, принялась читать. И вдруг чувствую, Леня здесь. Я подняла голову. Он вырвал письмо, разорвал. Схватил кресло, бросил мне в голову. Не попал. Я вылетела в переднюю, оттуда в сад и на улицу. Удар был силен. Дверная рама покривилась. Ты тогда спрашивала: «Что с дверью?» Я молчала. А сейчас знай: не увернулась бы я, Леня меня бы убил. Я прибежала за тобой в гимназию, и мы три дня не ночевали дома. А через три дня — ты была в гимназии — я решила вернуться домой. Меня встретила Аннушка в слезах: «Ольга Юльевна! Спасите его! Он не ест уже три дня. И все лежит на кушетке лицом к стене и молчит». Я вошла в комнату Лени. Он не повернул головы. Я встала на колени, опустила руки на его плечи. Обняла за шею. Он молчал. Вскоре прибежала ты. Аннушка подала обед. Мы сели за стол. Он тоже пришел в столовую, но ни слова не произнес. И целый месяц он молчал. И наконец сказал: «Я много раз просил тебя заставить Болеслава Петровича перестать писать тебе жалобные письма. Они мешают мне работать. Я в брак с тобой принял твою дочь, ты приняла, как родное дитя, мою литературу. Больше в нашу семью нам никто не нужен». И еще Леня сказал: «Я хочу быть наступающим писателем, а из-за этих дурацких писем я не могу работать. Если Болеслав будет тебе писать, я так и останусь только газетным писакой, а в обществе — только твоим безумным любовником».

Болеслав продолжал писать. Я рвала его письма не читая, но Леня продолжал ревновать меня. Тут он получил приглашение из Самары. И сказал мне: «Я уезжаю». Но он не уехал. А все писал на клочках бумаги в Самару: «Не еду!» Перечеркивал «не», оставлял «еду» и вновь писал: «Не еду!» И опять «еду» и снова «не

еду!». И рвал бумажки и выбрасывал. Но несколько листов я подобрала и сохранила. Наконец, он решился. Пришел в столовую, поставил перед собой свою корзину и сказал: «Не приходи ко мне. И прощай! Прощай навсегда!»

Москва. Пансионат для престарелых. 1973 год.

О.Ф.Ивина (Лошакова)».

...Судьбы трех горьковских жен, после разлуки с ним, были, в общем-то, благополучны. Екатерина Пешкова жила в почете и уважении. Мария Андреева тоже. Будберг при Герберте Уэллсе, надо думать, нужды не знала. Оставленная Горьким Каминская, сохранив до глубокой старости общительный характер и веселый нрав, мыкалась вместе с дочерью по дорогам России без почета и уважения. Назвавшись Ольменской, она стала актрисой, но, в отличие от Андреевой, пределом ее успеха был бенефис в Кинешме в роли Хамки-Настасьюшки.

...На Малой Никитской О.Ю.Каминская была один раз. Разговор происходил за закрытой дверью. О чем беседовали Алексей Максимович и Ольга Юльевна — осталось тайной.

Но вот что спустя годы рассказали мне сотрудники музея Горького. К приезду Каминской А.М. велел приготовить для нее комнату на втором этаже. Она пришла. Но наверх не поднялась. Он проводил ее в свой кабинет. Беседовали они более двух часов. Каминская ушла (жила она в Москве, в коммунальной квартире, на мизерную пенсию). Горький заперся. А когда вышел, то был ужасно мрачен. «На него напустили внучек, играя с девочками, Алексей Максимович рассеялся».

Горький был мрачен, проведив Каминскую, — она вернулась домой в глубокой печали.

«Алеша думал, я за милостыней пришла, — сказала она дочери, — и вдогонку крикнул: «Ольга Юльевна! Может быть, вам деньги нужны? Я вам деньги вышлю!» Я ответила: «Не надо». Посмотрела на него и сказала: «А глаза, все те же... синие-синие».

Через некоторое время Каминская, поразмыслив, написала Горькому, прося помочь. Просьбу ее удовлетворили. И при жизни Горького, и после его смерти мать и дочь получали некоторые крохи сначала от Алексея Максимовича, а потом от государства. Но от имени Горького об их напрочь отторгали и даже на его похоронах оттерли от гроба.



Александр ДЮМА (отец)

# «ЕГО СЕРДЦЕ БЫЛО КРОХОТНЫМ И СОВСЕМ ДРЯБЛЫМ»

— ТАК БЫЛО ЗАПИСАНО В ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ  
О СМЕРТИ ПЕТРА III

В 1858—1859 годах Александр ДЮМА совершил путешествие по нашей стране. Результатом поездки стала объемистая книга путевых очерков «Из Парижа в Астрахань». Увлекательная, авантюрная, как и положено произведению, вышедшему из-под пера автора «Трех мушкетеров», эта книга до сих пор не публиковалась на русском языке. Предлагаем читателям отрывок, повествующий о том, как в 1762 году Екатерина II взошла на российский императорский престол.



Заговорщики решили, что пора действовать. Момент был подходящий: император готовился к отъезду, он отправлялся сражаться с датчанами. Для достижения результатов, нужных Екатерине, было два средства: убийство, низложение. Убийство представлялось средством легким и надежным; но Екатерина — вполне разумная, впечатлительная, чувственная натура — испытывала к этому отвращение. Один гвардейский капитан по имени Пассек, по шею увязнувший в заговоре, человек действия, прежде всего, бросился на колени перед императрицей и просил ее согласия, чтобы поразить кинжалом Петра III, и брался совершить это во главе со своими гвардейцами среди бела дня. Императрица это ему формально запретила; но он не помышлял отказываться от замысла и дважды, в сопровождении одного из друзей по имени Barchekakoff (Баршекаков?), поддался искушению его исполнить во время одной из прогулок, какие Петр III имел обыкновение совершать к уединенному месту тогдашнего Санкт-Петербурга. ...

С другой стороны, инженеры нового типа во главе с графом Паниным вели рекогносцировку в апартаментах императора, в его спальне, в его кровати и более тайных службах.

Первым проектом было проникнуть ночью к нему, как сделали позже в отношении Павла I, и убить кинжалом, если он откажется подписать отречение от престола; если же он отречется по доброй воле, то спасет свою жизнь, по крайней мере, в тот момент.

Пока же император находился в том самом Петергофе, что мы попытались описать. Императрица, которая, оставаясь в Санкт-Петербурге, могла возбудить к себе подозрения, последовала за ним в резиденцию; только она поселилась в отдельном павильоне, с выходом на канал, соединенный с Финским заливом, и по этому каналу она могла бежать хоть в Швецию.

Заговор должен был вспыхнуть, когда Петр III первый раз возвращался во дворец в Санкт-Петербурге; но вечно запальчивый, торопливый, нетерпеливый Пассек имел неосторожность говорить о заговоре в присутствии солдата; солдат доложил об этом своему командиру, и Пассек был арестован. Осмотрительность пьемонтца Одара спасла дело, когда могли испугаться, что все пропало. Человек столь глубокого ума, как он, держал шпиона в свите каждого заговорщика. Тут же он был поставлен в известность об аресте Пассека. Того арестовали 8 июля 1762 года в девять часов вечера. В девять тридцать Одар уже знал об аресте; без четверти десять об этом была извещена княгиня Дашкова; в десять часов у нее был Панин. Княгиня, ни в чем не знающая сомнений женщина, предложила действовать немедленно: поднять гарнизон Санкт-Петербурга и бросить его маршем на Петергоф. Но Панин, более робкий, возражая, привел два довода; первое: поспешный взрыв приведет к неудаче, а если удастся поднять Санкт-Петербург, то это станет лишь началом гражданской войны ввиду того, что у императора под рукой военный город Кронштадт и три тысячи его личных войск из Голштинии, не считая других частей, что движутся, чтобы присоединиться к армии; второе: хотя императрица и отдала заговор все свои силы, совершенно необходимо ее присутствие, чтобы поднять гарнизон, а она отсутствует. Итак, последовал совет подождать и вести себя сообразно событиям следующего дня. И, высказав это, он отправился спать. Была полночь.

Княгиня Дашкова — ей было 18 лет — оделась в мужское платье, одна выехала из дому и поспешила ту-

да, где, как она знала, состоится обычная встреча заговорщиков. Там находился Орлов с четырьмя братьями. Она объявила об аресте Пассека и предложила им действовать немедленно. Все с восторгом согласилось. Алексей Орлов, простой солдат по кличке Рубец (из-за шрама посередине лица), физически сильный, человек необычайной решительности и проворства, выехал посланником к императрице с запиской, которую в случае чего должен был проглотить; значились в записке эти вот слова: «Приезжайте, время торопит!».

Другим же предстояло подготовить взрыв возмущения и, на случай неуспеха, подготовить бегство императрицы. ...

Императрица, как мы сказали, находилась в Петергофе. Она обосновалась в отдельном павильоне, поставленном на канале. Этот павильон, как мы заметили, благодаря каналу имел прямой выход на Балтику. Под окнами шлюпка на якоре ждала лишь сигнала, чтобы выйти в море.

Что касается императора, то он был в Ораниенбауме.

Длительное время в ночные визиты к императрице Григорий Орлов брал с собой в сопровождающие брата Алексея. Брал с двойкой целью: Алексей бодрствовал во имя безопасности брата и заодно осваивал императорский парк вдоль и поперек.

Итак, он прибыл к императрице, называя те самые слова пароля, какие называл его брат, чтобы попадать сюда самому, и добрался до самой спальни. Екатерина сразу проснулась и вместо Григория увидела Алексея. ...

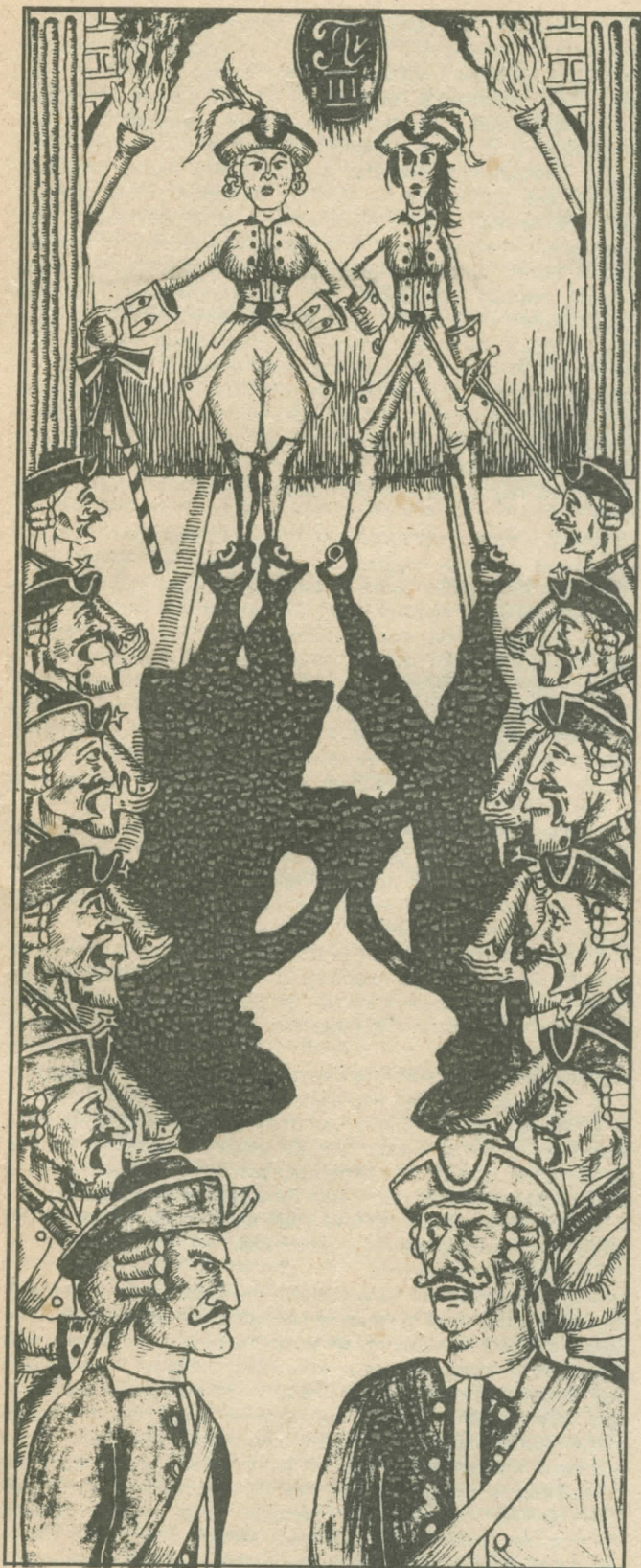
Н абрасывая эти строки, мы держим перед глазами письмо Екатерины Понятовскому. В письме она сама рассказывает о своем побеге. Предоставим ей слово. Письмо любопытное и совсем неизвестное. Мы дополним рассказ тем, что она, между прочим, желала бы опустить.

«В Петергофе я находилась почти одна среди женщин, которые мне служили, по-видимому, всеми забытая. Дни мои были очень беспокойны, потому что я была осведомлена, что затевается за и против меня. В 6 часов утра 28 июня в мою спальню входит Алексей Орлов, будит меня, дает мне записку и просит подняться, так как все готово. Я спрашиваю его о подробностях. А он исчез.

Я не колеблюсь. Как можно скоро, одеваюсь, не делаю туалета. Выхожу, сажусь в карету; следом садится он. Второй офицер скрывается под видом слуги на запятках. Третий встречал меня в нескольких верстах от Санкт-Петербурга.

В пяти верстах от города я встретила со старшим из Орловых и князем Бяратинским-младшим. Тот уступил мне свое место в карете, потому что мои лошади были измучены, и мы поехали высаживаться в расположении казарм Измайловского полка. Там поджидали только 12 человек и барабан, который тут же ударил тревогу. Сбегаются солдаты — целуют мои ноги, ловят мои руки и платье, величая спасительницей. Двое под руки приводят священника с крестом, и полк приводится к присяге. После этого меня просят подняться в карету. Священник с крестом идет впереди нас. Мы двинулись к Семеновскому полку; тот вышел навстречу к нам с раскатым «Виват!»... Мы отправились к Казанскому собору, где я вышла из кареты. Прибыл и Преображенский полк с тем же громогласным «Виват!»...»

Я вышла из дворца и совершила обход войск; было их более 14 тысяч: гвардии и полевых полков. При виде



Рисовал А. Заяц

меня раздался общий несмолкаемый радостный клик бесчисленного народа. Я направилась в старый Зимний дворец, чтобы предпринять необходимые меры и завершить начатое. Там мы посоветались, и было решено, что во главе войск я иду на Петергоф, где Петр III должен был обедать: на всех дорогах были выставлены посты, и время от времени мне приводили языков. Я послала адмирала Табезина в Кронштадт. Является канцлер Воронцов, чтобы высказать мне упреки по поводу моего отъезда из Петергофа; его отвели в церковь — принести мне присягу: это было моим ответом. Наконец, прибыли князь Трубецкой и граф Александр Шувалов, также приехавшие из Петергофа, чтобы взять в свои руки полки и убить меня; их тоже отвели принять присягу, причем без всякого насилия.

Разослала всех наших курьеров, приняла все меры предосторожности, и после этого, около 10 часов вечера, я облачилась в гвардейскую униформу, объявив себя полковником под непередаваемые возгласы одобрения, и села на коня; лишь немного людей от каждого полка мы оставили для охраны моего сына, который находился в городе.

Таким образом, я выехала во главе войск, и всю ночь мы двигались к Петергофу. Когда вошли в небольшой монастырь, тут же вице-канцлер Голицын доставил мне очень лестное письмо от Петра III. ...»

А после первого письма Петра III от него ко мне прибыло второе, доставленное генералом Михаилом Измайловым, который бросился в ноги ко мне и сказал:

— Считаете ли вы меня честным человеком?

— Да, — ответила я.

— Хорошо, — сказал он, — одно удовольствие иметь дело с умными людьми. Император предлагает свою покорность; я вам его привезу после его совершенно добровольного сложения с себя полномочий: не допуску гражданской войны на моей родине.

Без труда я наделила генерала таким поручением, и он отбыл его выполнять.

Петр III отказался от империи в Ораниенбауме, по доброй воле, в окружении 15 сотен голштинцев, и приехал в Петергоф с Елизаветой Воронцовой, Годовцом (Godovietz) и Михаилом Измайловым, куда для охраны его персоны я выделила пять офицеров и несколько солдат; это произошло 29 июня, в день св. Петра, в полдень. ...»

Алексею Орлову с четырьмя отобранными офицерами и отрядом милосердных и благоразумных людей я поручила отвезти низложенного императора в место под названием Ропша, что в 20 верстах от Петергофа, очень уединенное, но очень приятное — это на время, чтобы приготовить ему надлежащую и почтенную комнату в Шлиссельбурге и позаботиться о сменных лошадях для него. Но милосердный бог распорядился иначе. Страх вызвал у Петра III утробное кровотечение, расстройство желудка, которое мучило его три дня и на четвертый прекратилось. В тот день он пил сверх всякой меры; ведь у него было все, чего бы он ни желал, кроме свободы. Между тем он просил у меня только свою любовницу, свою собаку, своего негра и свою скрипку. Но, из боязни скандала и вспышки брожения в умах, я послала ему лишь три последние вещи. У него возобновилась геморроидальная колика с бредом. В таком состоянии он провел двое суток, в результате чего последовал глубокий обморок и, несмотря на вмеша-

тельство врачей, попросив позвать лютеранского священника, он отдал богу душу. Я боялась, что его отравили офицеры, настолько он был ненавистен. Велела произвести вскрытие; конечно, в теле не нашли ни малейшего следа отравления. Желудок у него был в полном порядке, но кишечник воспален, и его хватил апоплексический удар. Его сердце было крохотным и совсем дряблым».

Вот официальная версия, письменно изложить которую для своего любовника и своей империи — для Понятовского и России — взяла на себя труд сама великая Екатерина. Вот то, что позволено было говорить и думать в ее правление и даже до конца царствования императора Николая.

А теперь то, что случилось. Сопоставим рассказ истории и версию великой коронованной актрисы, сумевшей моментально набросить повязку на глаза XVIII века, которую, лоскут за лоскутом, сорвал с глаз следующий век.

Екатерину, как она об этом говорит, помчала полевым галопом восьмерка лошадей. «...» Между 7 и 8 часами утра она пересекла линию ворот своей будущей столицы.

Здесь рассказ императрицы довольно близко подходит к правде, и нет нужды нам править его.

Революция совершилась, и никто не подумал сообщить об этом императору. По рассказу Екатерины, каждый спешил присоединиться к ней. Человек по имени Брессан, цирюльник Петра III, единственный подумал о своем хозяине. Он выбрал слугу, на которого можно было положиться, нарядил его крестьянином, посадил на тележку зеленщика и отправил в Ораниенбаум с запиской, что тот должен был отдать только самому императору. Тем временем, по приказу императрицы, один офицер с многочисленным эскортом бежал за юным великим князем, почивающим в другом дворце. Ребенок проснулся так же, как проснулся младенец Иван, — в окружении солдат. Он испытал глубокое потрясение, и губернатор Панин, бессильный успокоить дрожь, что была молодого князя, привез его, в ночном одеянии, к матери. Она взяла тогда ребенка на руки. Только что свергнув императора, Екатерина испытывала еще потребность к защите законного наследника короны. Она взяла его на руки и вынесла на балкон. При ее появлении загремело многократное «ура», в воздух взлетели шапки, послышались крики «Да здравствует император Павел II!». И тут же теснящая толпа, стихнув, расступилась. Вперед выступил погребальный кортеж. Зашептались: «Император! Император!» Происходили торжественные и мрачные похороны. Кортеж уже прошел по главным улицам Санкт-Петербурга; в глубокой тишине он пересек Дворцовую площадь и удалился. По обе стороны каталфалка солдаты, одетые казаками в трауре, несли факелы. И пока кортеж, завладевший общим вниманием, скрывался из виду на стороне, противоположной той, с которой он ступил на площадь, с балкона убрали молодого великого князя, и никто больше о нем не вспоминал.

Чье же тело предавали земле с такими почестями? Этого никто никогда не узнает, а когда спросили об этом у княгини Дашковой, она расхохоталась и сказала:

— Признайте, что мы предприняли действительные меры предосторожности.

Эпизод с кортежем позволил получить два важных результата: отвлечь народ от молодого великого князя и подготовать его к восприятию смерти императора. «...»

К полудню прибыло русское духовенство. Что такое русское духовенство, известно — коррупция, развращающая человека, но коррупция с гордо поднятой головой, при почтенной бороде и в роскошных одеждах. Церковь пришла освятить узурпацию, ожидая освятить и убийство. Она не однажды брала на себя подобную роль. Священнослужители, за которыми несли все, что нужно для коронации — корону, императорскую державу и античные книги, неспешно и величественно прошествовали через все это почтительно затихшее при виде их воинство и вошли к императрице. Четверть часа спустя народу объявили, что императрица коронована под именем Екатерины II. В разгар приветственного рева, который вызвала эта весть, Екатерина выехала на коне в прежней гвардейской униформе. И был уже не взрыв энтузиазма, наружу прорвалось и разлилось неистовство; она заранее заказала все по своей фигуре: и униформу, и оружие. Лишь одной детали не доставало ее шпаге — темляка.

— Кто поднесет мне в подарок темляк? — спросила она.

Пятеро офицеров подались к ней, чтобы снять темляк со своей сабли и отдать его императрице; один молодой лейтенант, более проворный, чем другие, бросился вперед и презентовал Екатерине то, что она просила. Затем, отсалютовав императрице своей шпагой, он сделал попытку отъехать. Но он не учел повадок своего коня; то ли из-за упрямства, то ли по эскадронной привычке животное постаралось прижаться боком к коню императрицы. Екатерина наблюдала бесплодные усилия, что предпринимал кавалерист; она смотрела на него, отмечая про себя, что он молод и красив, она прочла в его взгляде любовь, порыв и преданность.

— Ваш конь разумней вас, — сказала она, — он старается добыть счастье своему хозяину. Как вас зовут?

— Потемкин, ваше величество.

— Ну хорошо, Потемкин, оставайтесь возле меня; сегодня вы будете служить мне адъютантом.

Потемкин отсалютовал и больше не пытался побудить своего коня отойти в сторону. Это был тот самый Потемкин, который восемнадцатью годами позднее стал всемогущим министром и фаворитом Екатерины II.

Теперь позволим императрице выступить в поход и устремим взгляд на замок в Ораниенбауме.

Известно было, что император жил в Ораниенбауме. Только когда наступило 29 июня — день св. Петра, император решил, что отпразднует этот торжественный день в замке Петергофа. Для большей безопасности.

Ему доложили об аресте Пассека, но на известие об аресте он соизволил лишь ответить:

— Это сумасшедший!

Утром, выполняя задуманное, он выехал из Ораниенбаума в большом открытом экипаже со своей любовницей, своим неразлучным компаньоном — министром Пруссии и набором самых красивых женщин своего двора. Тогда как они весело ехали к Петергофу, в Петергофе все было глубоко опечалены. Днем обнаружился побег императрицы. Ее тщательно повсюду искали, пока часовой не заявил, что в 4 часа утра он видел, как две дамы вошли в парк. К тому же те, кто прибыл из Санкт-Петербурга, покинув его раньше, чем туда приехала Екатерина и вспыхнул военный мятеж, говорили, что в столице все совершенно спокойно. Однако передать Петру III новость о бегстве императрицы представлялось делом серьезным. В Ораниенбаум отправился ка-

мергер. В двух-трех верстах от замка он встретил адъютанта императора, по имени Гудович, который опережал того в пути, выполняя роль курьера. Камергер передал Гудовичу известие, с каким он ехал, рассудив, что лучше пусть император услышит это не из его, а из других уст. Адъютант, натянув повод, повернул обратно своего коня и погнался на весь опор. Он вернулся к императору и почти силой остановил экипаж. А поскольку император приказал своим кучерам продолжать путь, адъютант наклонился и на ухо прошептал:

— Sire, императрица бежала этой ночью из Петергофа; полагают, что она в Санкт-Петербурге.

— О! Какое сумасбродство! — отреагировал император.

Но адъютант еще тише добавил несколько слов, которых никто не расслышал. Император побледнел. <...>

По прибытии он побежал прямо в спальню императрицы, словно все, что ему сказали, его несколько не убедило, заглядывая под кровать, открывал шкафы и тыкал своей тростью в потолок и деревянные панели стен. В разгар этих занятий он увидел, как вбегают его любовница и молоденькие женщины, которые служили ему каким-то подобием двора.

— Ах! Я это вам всегда говорил, — вскричал он в запальчивости, смешанной с ужасом, — я вам всегда говорил, что она способна на все!

Все сохраняли глубокое молчание, потому что сомневались, что еще непонятная, еще покрытая мраком ситуация была из самых серьезных. <...> Объявили, что молодой лакей-француз, прибывший из Санкт-Петербурга, может сообщить новости об императрице.

— Пусть войдет! — живо сказал Петр III.

Молодого человека впустили.

— О! — весело сказал он, полагая, что принес превосходную новость. — Императрица не пропала, она в Санкт-Петербурге, и праздник св. Петра там будет великолепен.

— Это почему же? — спросил император.

— Потому что ее величество велела выдать оружие всем солдатам.

Новость была ужасная и вдвое усугубила общее подавленное состояние. Тем временем, крестясь, с земным поклоном, вошел крестьянин.

— Подойди, подойди, — выкрикнул император. — И скажи, что тебя привело!

Крестьянин повиновался; не говоря ни слова, извлек из-за пазухи записку и отдал ее императору. Этим крестьянином был переодетый слуга, которого мы видели уезжающим из Санкт-Петербурга с приказом передать записку только самому императору. Записка гласила:

«Подняты гвардейские полки, во главе их — императрица. Ровно девять часов; она входит в Казанский собор; народ, похоже, вовлечен в это движение, а подданные вашего величества никак не проявляют себя».

— Отлично, господа! — вскрикнул император. — Вы видите, что я был прав! <...>

Вдруг Петр III услышал крики, радостные, как ему показалось; он выбежал в дверь; к нему вели старого Миниха, который, будучи вызволенным из Сибири его помилованием, в знак признательности или, может быть, движимый амбицией, только что примкнул к нему. Эта помощь была такой неожиданной, что император бросился в объятия старого капитана с криком:

— Спасите меня, Миних! Полагаюсь только на вас.

Но Миних не был энтузиастом; он смотрел на вещи холодно.

— Sire, — сказал он, — через несколько часов императрица будет здесь с двадцатью тысячами войск и громадной артиллерией. Ни Петергоф, ни Ораниенбаум не способны сдержать натиска; всякое сопротивление там, где еще жив солдатский энтузиазм, поможет только устроить бойню для вашего величества и тех, кто его окружает. Спасение и победа — в Кронштадте. <...>

Это предложение придало мужества и самым перепуганным; генерал был послан в Кронштадт и немедленно отправил своего адъютанта с донесением, что гарнизон жил сознанием долга и решил умереть за императора, если император придет под его защиту. И тогда бедный коронованный идиот от панического страха перешел к безграничной вере в спасение. Когда прибыли его голштинцы, провел их осмотр и, восхищенный их прекрасным видом, воскликнул:

— Не надо бежать, не видя врага!

Миних, который возвращался немедленно, велел двум яхтам подойти к берегу и тщетно старался зазвать на борт императора, теряющего время на фанфаронство, занятого изучением, с каких высоток, доминирующих над дорогой, можно было бы вести огонь. К несчастью для всех этих прекрасных воинственных настроений, в тот самый момент, когда пробило восемь часов, на скаку во весь опор прибыл адъютант с донесением, что императрица во главе двадцатитысячных сил маршем идет на Петергоф и находится от него не более чем в нескольких верстах. При этом известии больше не было речи о том, чтобы увидеть врага; император в сопровождении своего двора устремился к берегу, все бросились в лодки с криком: «На яхты! На яхты!» <...>

**Н**о еще утром в Кронштадт выехал вице-адмирал Талицын, один в баркасе, запретивший под страхом смерти своим гребцам говорить, откуда идут. По прибытии в Кронштадт он обязан был ждать разрешения губернатора, чтобы ступить на землю. Зная его звание и учитывая, что он — один, губернатор вышел к нему навстречу, разрешил высадиться и спросил его о новостях.

— Ничем достоверным не располагаю, — ответил вице-адмирал; я находился в загородном доме и, когда услышал разговоры о чем-то происходящем в Санкт-Петербурге, поспешил сюда, потому что мое место на флоте.

Командант верит ему и возвращается.

Талицын дожидается, когда тот уйдет, и предлагает нескольким солдатам, которых собирает, арестовать коменданта: император лишен трона, коронована императрица, и тех, кто сплотится вокруг нее, ожидает вознаграждение. Если они отдадут Кронштадт в руки императрицы, то богатство им обеспечено. И все идет за ним; берут под арест коменданта, созывают гарнизон и части военно-морских сил. Талицын обращается к ним с краткой речью и склоняет их присягнуть на верность императрице.

В это время показываются две яхты. Присутствие императора может все поставить под вопрос. Талицын бьет в колокол боевой тревоги. Гарнизон занимает места вдоль стен укреплений; две сотни канониров с зажженными фитилями вытягиваются возле двух сотен орудий.

В 10 часов вечера подходит яхта императора и готовится высадить на берег своего знаменитого пассажира.

— Кто идет? — громко раздается с крепостного вала.

— Император! — отвечают с яхты.

— Императора больше нет! — кричит Талицын. — И если яхты хоть на шаг приблизятся к порту, то я прикажу открыть огонь. ...»

За пределами досягаемости пушечного обстрела яхты остановились и несли вахту между крепостью и сушей. Так прошла ночь...

Около 6 часов утра император велел позвать Миниха.

— Фельдмаршал, — сказал он, — я мог бы последовать вашим советам и раскаиваюсь, что им не внял. Но вы, кто познал столько крайностей, скажите, что мне делать?

— Еще ничего не потеряно, sire, — ответил Миних, — если только меня захотят выслушать.

— Говорите.

— Ладно; нам нужно, не теряя ни минуты, под парусами и на веслах форсировать уход от крепости и направиться в Ревель, взять там военный корабль и уйти в Пруссию, где находится ваша армия, вернуться в ваши пределы с 80 тысячами войск; через шесть недель, гарантирую вашему величеству, эта армия станет могучей.

За Минихом вошли придворные, чтобы услышать, что им осталось — надеяться или бояться.

— Но, — раздался голос, который, казалось, выражал общее мнение, — силы гребцов будет недостаточно, чтобы добраться до Ревеля.

— Пусть так, — сказал Миних, — когда они устанут, грести будем мы.

Предложение не имело никакого успеха у этой раздраженной молодежи. Императору доказывали, что положение далеко не безнадежное и чтобы он, такой могущественный монарх, не соглашался покидать свои пределы как беглец. Что невозможно, чтобы вся Россия восстала против него, и что все эти мятежи не могли иметь другой цели, кроме как примирить его с женой. Император остановился на этой идее, решил на примирение и сошел на берег в Ораниенбауме как побежденный муж, который намерен извиниться и ничего другого не предпринимать. На берегу он увидел всех своих домашних слуг заплаканными; их горестное изумление пробудило все его страхи. ...»

Император написал Екатерине первое письмо, в котором предлагал ей примирение и разделение власти; но императрица даже не ответила на это письмо. Тогда он написал ей второе, в котором просил у нее прощения, обеспечения пансионом и разрешения уехать в Голштинию. После этого, по свидетельству генерала Измайлова, императрица прислала ему акт отречения от престола. ...»

Курьеру с текстом этого отречения было поручено передать на словах Петру III, что императрица окружена настолько ожесточенными против него людьми, что не отвечает за его жизнь, если он откажется поставить свою подпись.

Измайлов прошел к императору в сопровождении лишь одного преданного слуги дома; и так как император колебался, сказал:

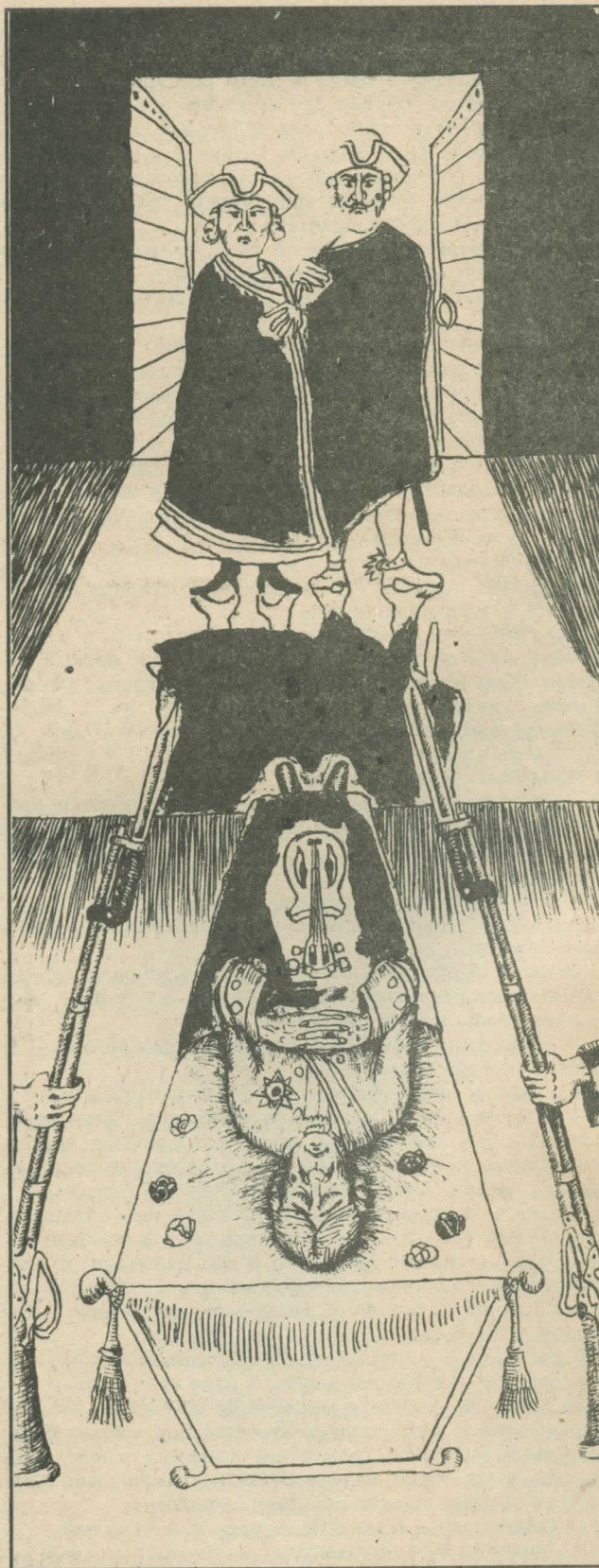
— Sire, я арестовываю вас именем императрицы.

— Но я сейчас подпишу, — торопливо сказал император.

— Речь не только о том, чтобы подписать, но — переписать акт, весь целиком, вашей рукой.

Император вздохнул, взял перо, снял копию с акта и подписал его. Только добавил на отдельном листе:

«Желаю, чтобы мне прислали мою собаку Мопра, моего негра Нарцисса, мою скрипку, романы и мою немецкую Библию».



На этом дело не кончилось, экс-император был еще недостаточно унижен. Измайлов снял с него орденскую ленту, надетую через плечо. Затем велел ему вместе с любовницей и фаворитом подняться в экипаж и повез его в Петергоф. Пришлось ехать сквозь ряды солдат, которые приветствовали его дружным: «Да здравствует Екатерина!» ...»

**Н**а следующий день императрица отправила императора в Ропшу под конвоем Алексея Орлова с четырьмя отобранными офицерами и отрядом, как писала она, милосердных и благо-разумных людей. Среди этих отобранных офицеров, милосердных и благо-разумных людей были Теплов, младший из князей Бярятинских и лейтенант Потемкин, известный по эпизоду с темляком.

Через 5—6 дней после доставки императора в Ропшу, 19 июля, Теплов и Алексей Орлов, оставив в передней Потемкина и Бярятинского, вошли в спальню императора, которому только что накрыли стол, и заявили, что хотели бы позавтракать вместе с ним.

По обычаю, заведенному в России, на стол сначала поставили водку и соленья.

Орлов предложил императору отравленный стакан. Петр III доверчиво выпил содержимое, через несколько минут у него началась нестерпимая боль. Тогда Алексей из той же бутылки налил ему второй стакан и хотел заставить его выпить. Но император отбивался и звал на помощь. Алексей Орлов, который, как мы уже сказали, обладал недюжинной силой, бросился на него, опрокинул на кровать и, удерживая коленом, сдавил его горло своими руками, а Теплов, утверждая, насаживал императора, как на кол, на красный от огня ружейный багет. Крики, что были слышны, слабели и прекратились.

Петр III, вверенный четверем отобранным офицерам и эскорту милосердных и благо-разумных людей, умер. От геморроидального обострения, при котором желудок не пострадал, но воспалился кишечник, как заявила нам Екатерина.

В тот же день, когда императрица приступила к обеду, ей доставили очередное письмо; курьер, усматривая большую заинтересованность в этом письме, извинился за вторжение во время трапезы. Действительно, как это сейчас увидим, письмо было очень важным. Оно было от Алексея Орлова. И гласило:

«Как рассказать тебе, матушка наша императрица, о том, что мы наделали? Это, по правде, какой-то рок! Мы пошли проведать твоего супруга и выпили с ним вина. Не знаю, как — опьянели, но, слово за слово, и мы были так тяжко оскорблены, что пришлось дать волю рукам. Вдруг, видим, он падает замертво; — что делать? Возьми наши головы, если хочешь, или, матушка милосердная, пойми, что то, что произошло, не поправить, и прости нам наше злодеяние!

Алексей Орлов».

Матушка милосердная не только простила преступление, но еще сделала Алексея Орлова графом империи.

В ночь с воскресенья на понедельник по приказу императрицы тело Петра III было доставлено в Санкт-Петербург и выставлено на траурном ложе в Александрово-Невской лавре. Лицо было черным, шея — разодранной. Но заботило не то, что догадываются, каким способом был умерщвлен император; вопрос ставился так, чтобы не сомневались в его смерти. Боялись лже-Дмитриев; увидели Пугачева. Потом императора погребли без помпы в том же монастыре.

Перевод и публикация Владимира ИШЕЧКИНА

## ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

# «БЕРИНГИЯ»

Это Ваш надежный партнер в любой коммерческой сделке

\* Товары народного потребления \* Видео- и аудиотехника \* Оргтехника и средства связи \* Сырье и стройматериалы \* Продовольственные товары и... \* многое другое \*

для ВАС по согласованным с ВАМИ ценам!!!

*Все виды посреднической деятельности!*

Тесная связь с Российской товарно-сырьевой, Московской центральной фондовой и другими биржами.

Телефоны в Москве: (095) 208-21-54 208-32-36. Факс: (095) 208-32-36

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, д. 7, строение 3

Наш закон — максимальное выполнение пожеланий наших клиентов.

**Компания «Берингия» ждет Вас!!!**

# Секс-палач ВЫХОДИТ ИЗ ПОДПОЛЬЯ



Петля  
и камень  
в зеленой  
траве



Братья Вайнеры всегда были матерыми детективщиками с поистине всенародной популярностью. Если юлиансеменовский Штирлиц сегодня прочно занял свое место лишь в анекдотах, то о вайнеровских сыщиках — Жеглове и Шарпове народ нынче слагает песни, которые задорно и хрипло рычит популярная группа «Любэ».

А недавно появилась совсем новая дилогия Вайнеров («Петля и камень в зеленой траве» и «Евангелие от палача», СП ИКПА и СП «Квадрат», 1991 г.), которая была написана ими

аж в конце 70-х. В предисловии авторы так объясняют столь долгое ее отсутствие: «Роман, судя по всему, был заранее обречен. Он и лежал «в столе» до поры, доступный лишь самым близким людям. С учетом печального опыта гроссмановской «Жизни и судьбы», сохранившейся просто чудом, авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили ее дома, а фотоленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей, — это уже горький урок Синявского и Даниэля. Но рукописи не горят. И приходит однажды их пора».

Посмотрите, какой ряд выстраивается — Гроссман, Синявский, Даниэль, правда, зашифрованная в фотоленку, лакомые предложения западных издателей и братья Вайнеры. Ну неужели бы вы пожалели тридцатку? Вот и я не пожалел.

Действительно, круто пишут о чекистских злодействах — убийстве Михозса, деле кремлевских врачей, психушках, в которые упрятывают инакомыслящих, половом терроре подручных Берия... Стоп. Что-то уж очень знакомое, особенно в последней теме. Где-то я уже это читал.

«О-о, я больше не могу! Не могу! Какая боль, какая радость! Судорога наслаждения, пик восторженной муки, вот оно, счастье соития!»

«О! Сильнее, не бойся, три изо всех сил, три, три... Ох! Я умираю...»

«А я уже расстегнул на ней юбку, стащил блузку, куртка давно упала на пол, рывком раздернул крючки на поясе, и чулки заструились вниз, и

трясущаяся рука скользнула по шелковой замше ее бедра в проем трусиков и вобрала в ладонь горячий бутон ее лона, ощутила влажную щель естества ее, и я понял, что схожу с ума, что не могу больше ждать ни секунды, что нет больше сил угоривать, объяснять, заставляя. До хруста прижимая ее к себе каждым сладостным мягким изгибом, я присел немного, а ее на себя вздернул. Она вскрикнула и обмякла, повисла на мне, словно я ее ножом пырнул. Может, и была она без сознания — не помню. Так и гнал — стоя».

«Я схватил ее за ворот блузки и с силой рванул его в сторону. Блузка с треском разорвалась надвое, оголив ее чудесную, нежную грудь... Воспользовавшись благоприятным моментом, я, как тигр, бросился на нее и на мгновение раздвинул ее ноги, упал ей на грудь. Она крикнула и забилась подо мной, пытаюсь освободиться, но было уже поздно. Не обращая внимания на град ударов по моей голове, я раздвинул губки ее цветка и с размаху воткнул в венчик свой член. Она сразу обмякла и опустила свои руки мне на плечи. Глаза ее закрылись».

Каюсь, год назад, из чисто нездорового любопытства, приобрел у метро (правда, вдвое дешевле, чем Вайнеров), одну книжонку. Ну, знаете, из тех, над которыми пускают слюни озабоченные подростки и пенсионеры. «Дьявольские секс-карты» называется, хотя вполне могла бы называться и, скажем, «Евангелие от секс-палача» (угадайте, что в этих цитатах от Вайнеров, а что от порноброшюры?). И отпечатана она была в типографии ЦК КП Латвии. Автор не указан, но, очевидно, он тоже творил и прятал сей «диссидентский шедевр» в годы застоя. Теперь не бойся, безвестный сподвижник Бунина и Набокова (не забудь упомянуть об этом в предисловии), выходи из подполья, ибо, как там у Вайнеров, «пришла пора». И что это за тираж для «порнушки» — жалкие 1000 экземпляров?! «Секс-карты», как и Вайнеры, сейчас на все полмиллиона потянут.

...А жаль все же, что некоторые рукописи не горят. Или хотя бы не редактируются авторами перед тем, как нести их в издательство. Ей-богу, это пошло бы на пользу не только читателям, но и самим Вайнерам.

Петр СМЕРНОВ



# «СУМАСШЕДШИЕ ПРОЕКТЫ» И «ЗНАКОМАЯ КОМНАТА» ДМИТРИЯ КРЫМОВА

Увидев в Париже на выставке рисунки одного московского художника, Мария Васильевна Розанова сказала ему: «Я хочу издать вашу книжку. Она будет безгнорарной. Если вы согласны, приезжайте, посмотрим мой печатный станок». Он, конечно же, поехал, и их дальнейший диалог обязательно вызовет судорожный глоток набравшей слюны у любого советского графика, имеющего дело с издательствами. А сказала она следующее, собственноручно пересняв одну из картинок и сделав с нее клише: «На какой бумаге будем печатать?» «Как — на какой?» — удивился он. Тогда они пошли на склад, весь заваленный разными сортами бумаги, и она стала выдергивать из папок листы: «На этой? Или на этой?» И он, войдя в азарт, спросил: «А можно попробовать на всех?» И она не задыхаясь от его наглости, а весело ответила: «Можно, давайте». Они попробовали на всех, выбрали бумагу с красивым названием «андорра» и — получилась книжка: «Дмитрий Крымов. Россия. 1946. Синтаксис, Париж, 1990». Тираж — 100 пронумерованных экземпляров, то есть эта книга по замыслу и исполнению — раритет. В ней только картинка и маленькие подписи.

— Дима, это можно назвать коллажем?

— Нет, нет. Это сложная техника: фотография, доведенная до степени графики, а потом по фотобумаге — рисунок. Главное, чтобы не было видно, где кончается одно и начинается другое...

Потом эта удивительная женщина увидела другие его работы, благо-

даря которым года четыре назад я познакомилась с Димой. Я работала в издательстве, и на моих глазах эти изящные рисунки пером и тушью с нежными цветовыми пятнами и бликами не раз клеймились как «нетехнологичные». С досады их засовывали куда-то за шкаф и однажды даже потеряли. Мария Васильевна, по видимому, слово «технология» понимает несколько иначе, чем ее коллеги в Союзе, потому что для воспроизведения некоторых из них она не поленилась сделать 15—17 краскопрогонов. Те, кого эти цифры не впечатляют, просто не знают, что это такое. Книжка эта называется «Дмитрий Крымов. Балаган. Синтаксис, Париж». И вновь — 100 эк-



земпляров, и вновь — «раритет».

— А разве в Союзе у вас книжек не выходило?

— Были, конечно, но на них смотреть, в общем-то, нельзя. Я их даже не помню. Просто надо же было деньги зарабатывать... Правда, сейчас я делаю хорошую книжку — «Английские сказки». Может быть, напечатают хорошо.

Интонация при этом у него несколько вопросительная. Может, хорошо напечатают. Получилась же хорошая книга пьес Нины Садур «Чудная баба». Дима даже сам говорит, что ее бы он положил рядом с «синтаксическими» изданиями, среди которых надо упомянуть еще и третье: «Дмитрий Крымов. Гоголь. Рим. Синтаксис» и т.д.

— Может, все-таки вспомните хотя бы последнюю работу?

— Да, был заказ для издательства «Радуга». Я сделал огромное количество рисунков, штук четыреста. И несколько дней назад пошел посмотреть, что из этого вышло. Боже мой... Лучше не вспоминать.

— Все четыреста рисунков в нее вошли?

— Да. Они были большие — их уменьшили и разбросали вперемешку с текстом по газетной бумаге.

— Заранее предупреждаю, что у нас тоже газетная бумага.

— Ну, у вас же журнал. Это совсем другое. А книжки...

И он мне показывает, что такое — книжки. Не знаю, правильно ли описывать их словами: ведь эти работы обезоруживающе доказывают, что художник может снять обертку даже с самых привычных слов и отк-



«Петя» из книги «Россия. 1946».

рыть за ними зазеркалье новых смыслов и образов. «Избиение младенцев» («Бумажная серия») производит в первый момент впечатление груды рваных бумажек. И даже после того, как мозаика разноцветных клочков сложится в картинку, этот первый образ остается очень точным — и словесно, и зрительно. А «Положение во гроб» («Мазки») сначала видится как длинная-длинная изогнутая полоса светлой масляной краски — тело, плоть сюжета в буквальном смысле слова, — к которой тонким пером дорисован сам сюжет, едва проступающий на бумаге. И все это — на листах размером с крышку стола.

— Это вещи настолько монументальные, что книжка выступает как понятие весьма условное?

— Да, конечно. Это сделано для издательства «Даблус» Леонида Тишкова. Он сам — превосходный рисовальщик-иллюстратор и принадлежит к особой породе людей, которые занимаются авторскими книгами, т.е. сумасшедшими проектами, вроде бы имеющими отношение к книге, но при этом рассчитанными на нечто большее. Читать их нельзя, их выставляют. Например, нарезанный или порванный машинописный текст, разложенный по целлофановым мешочкам — в одном покрупнее клочки, в другом помельче, — и все это висит на бельевой веревке на прищепках. Или надувные книги

— бывают и такие. Мои рядом с ними смотрятся просто как академические издания.

— Это игра в книгу?

— Точнее, книга как повод для игры теми параметрами, которые есть у всякой книги: обложка, текст, картинки...

Ну вот, скажет кто-нибудь, конец света пришел — рвут книгу в клочья и называют это игрой. На всякий случай уточню: называют это книгой. Причем традиция такая возникла вовсе не в наше «безнравственное» время. Книги, интерпретируемые как художественно-эстетический факт, известны хотя бы по издательской деятельности начала века. Новым в



«Светлана, Шурочка и Александр» из книги «Россия. 1946».

наши дни можно считать движение этого искусства в сторону чистой визуальности, когда в качестве содержания, замещая текст, выступает сама структура книги-объекта.

— Но ведь вы по профессии — сценограф?

— Да, я окончил Школу-студию МХАТ. Поступил туда, в сущности, не умея рисовать, там этого не требовалось: это была какая-то странная смесь театра, чертежей и полета. Но рисунок и живопись преподавались все же странно и плохо. Главное — надо было уметь придумывать.

— Ну, этому не научишься: либо есть, либо нет.

— Придумывать я умел всегда. Но

в какой-то момент меня стало раздражать, что я не могу сделать то, что придумал: например, нарисовать бегущего человека. Тогда я стал — в довольно уже зрелом возрасте, когда в газетах публиковались рецензии на оформленные мною спектакли, — заниматься с педагогом. Это был Федор Федорович Волошко из Строгановского училища.

— А в театре вы больше не работаете?

— Для меня это в последнее время потеряло вкус и смысл — загадка исчезла. Там я уже знаю, что я могу сделать и что из этого выйдет. В своем стиле, конечно. И в графике — тоже знаю. Сейчас мне хочется заниматься только живописью — это пока для меня темная комната, где я раньше не был. Очень интересно, когда не знаешь, что ты сумеешь сделать с белым холстом.

— Так ведь и живопись когда-нибудь станет знакомой комнатой.

— Боюсь этого.

— А что же дальше?

— А что загадывать?

— Абажуры можно начать делать.

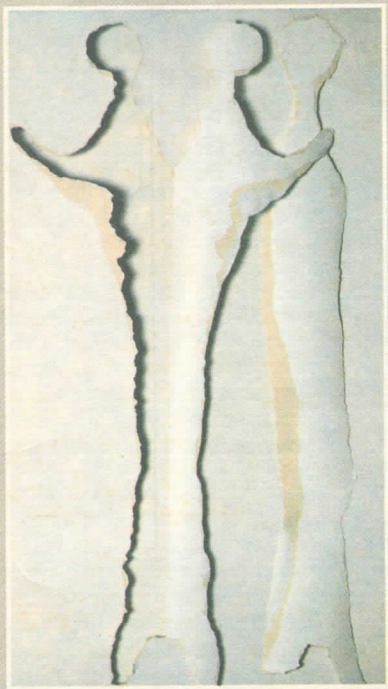
— А я уже один сделал...

Разговаривать с Димой — одно удовольствие: легко и просто. И когда смотришь на его рисунки, кажется, что это все очень легко и просто: берешь тушь, перо, бумагу и... ничего не получается. Эта комната тебе не знакома.

Ирина ЛЮБАРСКАЯ



Из книги «Гоголь. Рим».



«Поцелуй Иуды»

Д. Крылов



Мистерия



«Избиение младенцев»

